



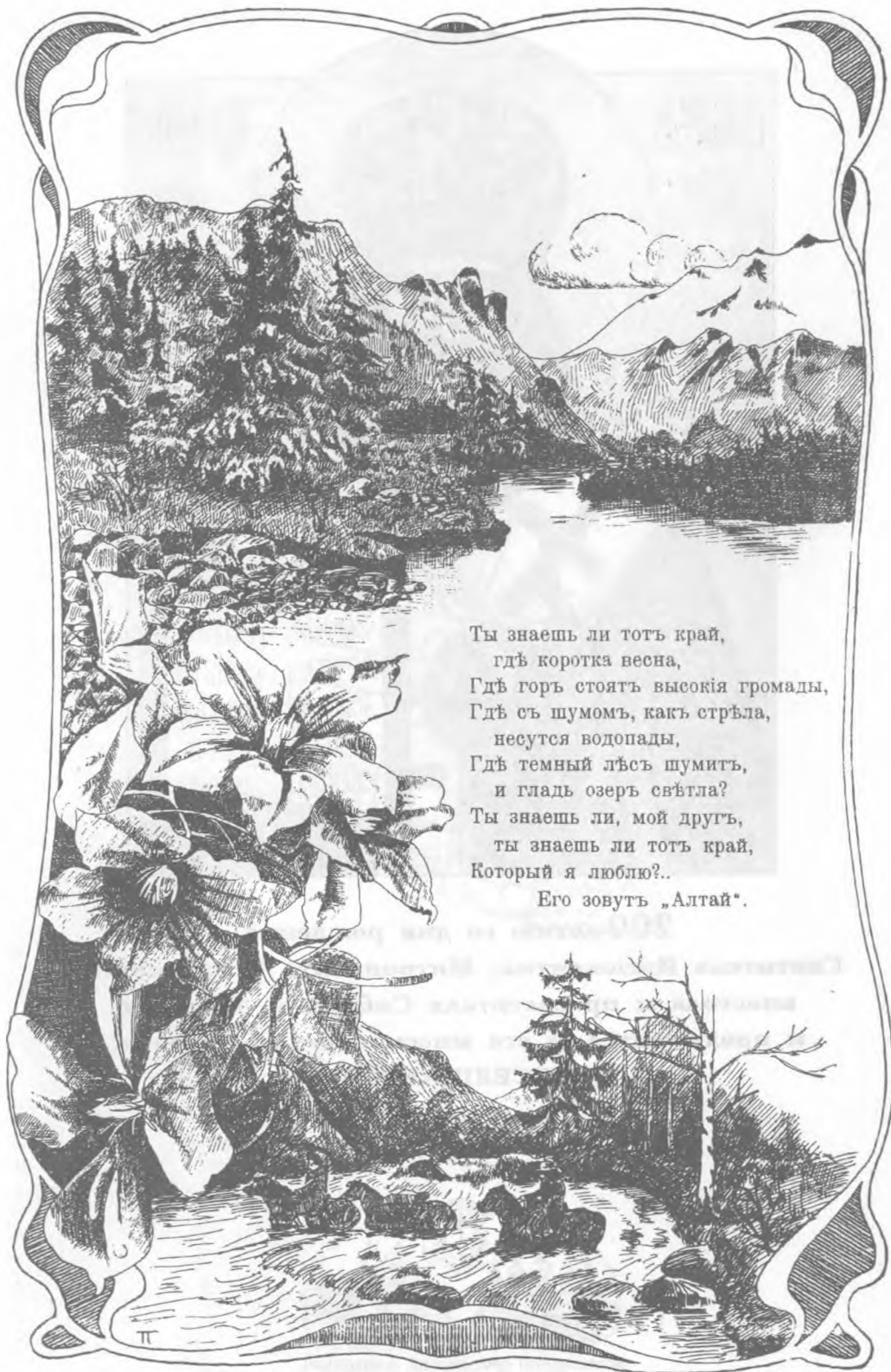
АПОСТОЛЫ АЛТАЯ



**200-летию со дня рождения
Святителя Иннокентия, Митрополита Московского,
апостола и просветителя Сибири и Америки
и продолжателям его миссионерского подвига
ПОСВЯЩАЕТСЯ**



МОСКОВСКИЙ СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ



Ты знаешь ли тотъ край,
гдѣ коротка весна,
Гдѣ горь стоятъ высокія громады,
Гдѣ съ шумомъ, какъ стрѣла,
несутся водопады,
Гдѣ темный лѣсъ шумить,
и гладь озеръ свѣтла?
Ты знаешь ли, мой другъ,
ты знаешь ли тотъ край,
Который я люблю..
Его зовутъ „Алтай“.

А Макарова-Мирская.

Апостолы



АЛТАЯ

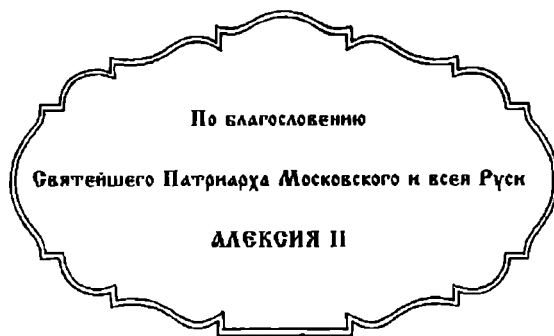


Сборникъ разсказовъ изъ жизни алтайскихъ миссіонеровъ

(Съ 39 портретами, 72 видами Алтая и виньетками)



МОСКВА • 1997



И приблизившись, Иисус, сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мф. 28, 18-19

Апостолы Алтай... Чудное создание Божие Алтай, прекрасная жемчужина в венце Его творений, дана была им в жребий, и они свято исполнили свое предназначение: призванные Господом к проповеди Слова Божия на новой ниве, они всю свою любовь и силы отдали просвещению народов дальних окраин отечества, пребывающих во "тьме и сени смертной".

Книга А. И. Макаровой-Мирской "Апостолы Алтай" повествует о жизни и трудах священнослужителей Алтайской духовной миссии, учрежденной в 1830 году для проповеди Евангелия среди инородческого населения Алтайской возвышенности в Сибири. Первое издание ее было осуществлено в 1909 году в память 25-летия епископского служения святителя Макария (Невского, 1835-1926). О нем и его сподвижниках рассказывается в этой с любовью созданной книге. Рассказы и стихи сборника дышат достоверностью собственных воспоминаний автора и высокой поэтичностью в изображении чудной природы дикого Алтая. Книга увлекательно повествует о жизни и обычаях алтайцев и о чудесной помощи Божией в трудах их просветителей, в простоте и смирении совершающих великий подвиг самоотвержения во имя Божие.

Проникнутая высоким настроением радости стояния в вере, книга поможет нам утвердиться на спасительном христианском пути.

Родители, желающие воспитывать своих детей в духе Православной Церкви, найдут в сборнике "Апостолы Алтай" лучшие примеры христианской добродетели.

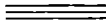
Я. И. Макарова-Мирская.



Апостолы Алтая.

Сборникъ разсказовъ изъ жизни алтайскихъ миссіонеровъ.



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, 
исправленное и дополненное.

(Съ 39 портретами, 72 видами Алтая и виньетками).



ХАРЬКОВЪ.

Типографія „МИРНЫЙ ТРУДЪ“, Дѣвичья ул., № 14.

1914.

Содержаніе книги.

□ □ □

- | | |
|--|------|
| 1. Оглавленіе разсказовъ и стихотвореній | VII |
| 2. Предисловіе | IX—X |
| 3. Выдержки изъ отзывовъ печати о первомъ изданіи
книги А. И. Макаровой-Мирской „Апостолы Алтая“ XII—XIII | |
| 4. Алтайскія слова и ихъ переводъ | 299 |
| 5. Перечень портретовъ и рисунковъ | 300 |





ОГЛАВЛЕНІЕ

РАЗСКАЗОВЪ И СТИХОТВОРЕНІЙ:

1. Алтайскіе миссіонеры (стих.), (съ 6 рис.)	1—9	Въ былые годы (съ 2 рис.)	148—158
Изъ алтайскихъ воспо- минаній (съ 4 рис.)	10—16	Въ мертвомъ аялѣ (съ 3 рис.)	159—164
Смиранный (съ 3 рис.)	17—23	На Телецкомъ озерѣ (съ 3 рис.)	165—169
Миссіонеры (съ 3 рис.)	24—34	Памяти архіепископа Владимира (съ 3 рис.)	170—189
5. Божій слуга (съ 3 рис.)	35—44	20. Весенній гимнъ (стих.) (съ 2 рис.)	190—192
Изъ записей о жизни былой (съ 2 рис.) . .	45—53	Чудо (съ 4 рис.) . . .	193—200
Подарокъ Кудая (съ 4 рис.)	54—63	По аргутской тропѣ (съ 4 рис.)	201—209
Въ далекіе годы (съ 7 рис.)	64—82	Лѣстница (съ 3 рис.)	210—220
Съ Алтая (съ 2 рис.)	83—88	Въ Алтаѣ (съ 5 рис.)	221—229
10. Христосъ Ельгѣннѣнг, (стих.) (съ 3 рис.)	89—93	25. Милосердный (съ 5 рис.)	230—235
Первый миссіонеръ на Алтаѣ въ Сибири (съ 5 рис.)	94—105	Миссіонеръ (съ 2 рис.)	236—243
Отецъ Макарій (съ 2 рис.)	106—112	Изъ воспоминаній о быломъ (съ 2 рис.)	244—256
Спаситель (съ 3 рис.)	113—122	Изъ жизни новыхъ мис- сіонеровъ (съ 9 рис.)	257—271
Страница жизни (съ 5 рис.)	123—145	Незамѣтная подвиж- ница (съ 3 рис.) . .	272—279
15. Миньона Сѣвера (стих.) (съ 3 рис.)	146—147	30. Владыка про Вашъ юбилей (съ 2 рис.)	280—281
		Изъпрошлаго (съ 2 рис.)	282—293
		32. Post scriptum (съ 3 рис.)	294—297

Мой Бог! мой царь-О-
тец! Счастиею Твоею!
Прими немощны
дети! Ряду перед Тобой!
Еще я живу! Но
дух твой преисполнит!
Зрю! слышу! слышу
глаголю! Зрю безмерность
блженства.

Старый артист. Мадригаль. написанный имъ задолго до смерти.



ПРЕДИСЛОВІЕ.



Въ извѣстномъ, весьма симпатичномъ очеркѣ „Алтайскіе Подвижники“ А. Гено, между прочимъ, пишетъ... „вотъ уже около ста лѣтъ, среди дикаго населенія Сибири, работали и работаютъ безвѣстные, но самоотверженные и доблестные работники на нивѣ Христовой, имена которыхъ, благодаря ихъ скромности, почти невѣдомы толпѣ, но зато записаны у Господа Бога на небесахъ. Такъ, въ далекой, холодной странѣ, среди тысячи опасностей и всевозможныхъ лишеній суровой обстановки, часто рискуя своей жизнью, терпя холодъ и голодъ, работаютъ священнослужители Алтайской духовной миссіи, проповѣдуя имя Христова людямъ, не знавшимъ дотолѣ своего Создателя, внося свѣтъ христіанской любви и милосердія въ непроглядную тьму язычества, часто не получая на землѣ другой награды за свой великій и святой подвигъ, кромѣ предвкушенія обѣщанной награды на небесахъ: **„аще кто сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ наречется въ Царствіи Небесномъ“** (Матѣ. V, 19).

Въ настоящей книгѣ „Апостолы Алтая“ я и хочу познакомить читателей съ нѣкоторыми изъ этихъ смиренныхъ и незамѣтныхъ подвижниковъ, во главѣ съ Высокопочтимымъ Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, Митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ, которыхъ я, какъ жившая много лѣтъ на Алтаѣ, лично хорошо знала и о трудахъ и подвигахъ которыхъ слышала отъ очевидцевъ, достойныхъ полного довѣрія.

Это второе изданіе, какъ и первое, я посвящаю Высоко-преосвященнѣйшему Макарію, единственному такъ много и съ пользою потрудившемуся на миссіонерскомъ поприщѣ Алтая.





Макарий, Митрополитъ Московскій

Выдержки из отзывов печати о первом издании книги А.И. Макаровой-Мирской АПОСТОЛЫ АЛТАЯ

I

“Симпатичный по идее и назначению труд известной сибирской писательницы А. И. Макаровой-Мирской — “Апостолы Алтая” достоин глубокого всестороннего внимания и широкой популяризации. Сколько чувств святых, сколько благородных мыслей, сколько энергии к подражанию будит в читателе эта краткая Алтайская библия — “Апостолы Алтая”. Она является светлым огоньком, возле которого холодные сердца могут согреться; огоньком, возле которого заблудившиеся могут найти себе покой и пристанище... Смело могу сказать, что если бы Катунские ледниковые столбы были людьми и прочли бы “Апостолы Алтая”, уверяю, растаяли бы. С каким захватывающим интересом и упоительным умилением читается эта книга одним, но еще большее впечатление, еще большее душевное наслаждение дает эта книга, когда читаешь ее народу вслух. Лучшим доказательством этого может служить опыт.

Опытом установлено, что “Апостолы Алтая”, в руках хорошего лектора на народных праздничных чтениях производят неотразимое действие на слушателей...

Остается одного пожелать, чтобы добрый труд доброй труженицы А. И. Макаровой-Мирской читался народу на воскресных и праздничных чтениях. Дай Бог, чтобы ее святые семена сеялись в сердцах доброго русского простого народа. Простой народ мало видит доброго, мало чувствует теплого. А эта книга, “Апостолы Алтая”, вдохнет в сердце народное добро, доброту любви и теплоту сердечной веры и приучит к самоотверженному труду”.

Павлин Алтайский.
“Томские Епархиальные Ведомости”.

II

“Прекрасно составленная и прекрасно изданная сия книга достойна общего внимания и особенно внимания миссионеров. Здесь во множестве отдельных этюдов изображена святая и великая деятельность алтайских миссионеров... Большая часть книги написана составительницей в одном духе и стиле живого и поэтически возвышенного описания чудной природы Алтая и удивительной деятельности алтайских миссионеров...

К дивным словам прекрасных описаний присоединяются столь же прекрасные картинки природы и изображения лиц, притом не только главных, но и второстепенных, и даже персонажей, по-видимому, совершенно не важных, но необходимых для обрисовки всей картины жизни и общего состояния алтайского миссионерства. Невольно, посему, думается: вот бы какие книги должно читать воспитанникам духовных семинарий, а равно и будущим миссионерам, а не Майн-Рида и Купера!

Поэтическая проза нередко переходит здесь и в лирически-стихотворные излияния о лицах и событиях”.

А.А.
“Казанские Епархиальные Ведомости”. 1910 г.

III

“Новая книга “Апостолы Алтая” — юбилейное издание, дар глубокого почтения Апостолу Алтая, Высокопреосвященнейшему Томскому Архиепископу Макарию. Точно живыми в рассказах Мирской, дочери алтайского миссионера о. Ландышева, встают перед вами алтайские миссионеры-подвижники... Автор, плоть от плоти и кость от кости миссионерской, дивно хорошо воспроизвела в своих рассказах настроение души миссионеров, их горячую любовь к алтайцам, детям природы, их полную веры и чувства проповедь Христа, замечательно художественно и трогательно до слез изобразила труды и подвиги Апостолов Алтая, не жалевших ни сил, ни жизни для служения спасению людей...”

Художественное изображение природы Алтая с его горами, оврагами, водопадами и реками, вместе с иллюстрациями красивых местностей Алтая, его храмов, выстроенных на вершинах гор, святых обителей с сияющими крестами на главах церквей, уносит мысль читателей в отдаленный край, где так еще много людей, не знающих Христа. Так и хочется улететь туда, отдать себя на святой подвиг проповеди христианства: едва-ли найдется такой сухой сердцем человек, который, прочитав книгу, состоящую из нескольких рассказов и стихотворений, полную прекрасных иллюстраций, не благословит сердцем труженников-миссионеров, не почувствует всей высоты их дела, не проникнется к ним уважением”.

*Иеромонах Никон.
“Троицкое Слово”.*

IV

“В минувшем 1909 году, когда исполнилось 25-летие служения в святительском сане Архиепископа Томского и Алтайского Макария, увидела свет прекрасная книжка А. И. Макаровой-Мирской “Апостолы Алтая”... Книга эта является благоухающей пальмовой ветвью на тернистом жизненном пути архипастыря, одного из числа тех работников на ниве Христовой, имена которых не пользуются громкой известностью, не окружены дымкой легендарных подвигов, но свято чтутся теми детьми природы, среди которых прошла их многотрудная жизнь, в чьих сердцах затеплилась, благодаря им, вера в учение Божественного Страдальца”.

“Русский Паломник”. 1910 г. №8.

V

“Рассказы и письмо это (Архиепископа Казанского Владимира) — не вымышлены. Это факты из жизни, сравнительно не очень давней, небольшой кучки миссионеров на Алтае. В книге названы имена действующих лиц, большею частью уже умерших.

Называется книга “Апостолы Алтая”... Так вот где они — люди трогательной доброты! Думалось при чтении книги, вот куда они унесли доброту, уйдя из духовной школы! Так немного этих людей: и горячность и ласковость христианской души они унесли почти первобытным народам!...”

“Московский Еженедельник”. 10 июля 1910 г.

VI

“Книгу А. Макаровой-Мирской “Апостолы Алтая” — сборник рассказов из жизни алтайских миссионеров, в память 25-летнего служения в святительском сане Высокопреосвященного Макария, Архиепископа Томского и Алтайского, — Харьков, 1909 г. — одобрить для приобретения в библиотеки духовно-учебных заведений”.

*“Журнал Учебного Комитета”, утвержденный Св. Синодом.
“Церковные Ведомости”. 18 сентября 1910 г. №38.*



1) Архимандритъ Владимиръ (умершій архієпископъ Казанскій); 2) Прот. Стефанъ Ландышевъ (умерш.); 3) Игуменъ Макарій (нынѣ Митрополитъ Московскій и Коломенскій); 4) Прот. Василій Вербицкій (ум.); 5) Іеромонахъ Иннокентій (Солотчинъ, нынѣ епископъ); 6) Іеромонахъ Антоній (ум. архимандр.); 7) іеромонахъ Дометіанъ (ум.); 8) свящ. А. Гусевъ (ум.); 9) свящ. Филаретъ Синьковскій (нынѣ архієпископъ Донской); 10) свящ. Вас. Постниковъ (ум. протоіерей); 11) іеромонахъ Тихонъ (ум.); 12) свящ. В. Россовъ (нынѣ протоіерей); 13) свящ. М. Чевалковъ (ум. протоіерей); 14) свящ. К. Соколовъ (нынѣ епископъ Бійскій); 15) свящ. І. Смольянниковъ (ум.); 16) учит. М. В. Турбинъ (нынѣ протоіерей); 17) діаконъ В. Ландышевъ (ум. свящ.); 18) діаконъ Никита Михайловъ (ум. свящ.); 19) діаконъ Суслоновъ (ум.).

АЛТАЙСКІЕ МИССИОНЕРЫ.

Я знаю васъ, Апостолы Алтая,
Я съ дѣтства знаю васъ,
Съ восторгомъ васъ всегда благословляю
И пѣснь сію съ любовью начинаю
И пѣть не въ первый разъ.

* * *

Не славу вамъ пѣвецъ родной слагаетъ,
Нѣтъ,—пѣснь его чиста...
Вамъ слава не нужна онъ это знаетъ;
Но, славой вашею, онъ прославляетъ
Спасителя—Христа.

* * *

Владыко мой! Тебя Отцомъ не смѣю
Назвать... Благослови
Воспѣть Тебя, какъ смѣю, какъ умѣю;
Воспѣть слова, которыя лелѣю
Въ душѣ,—слова любви.

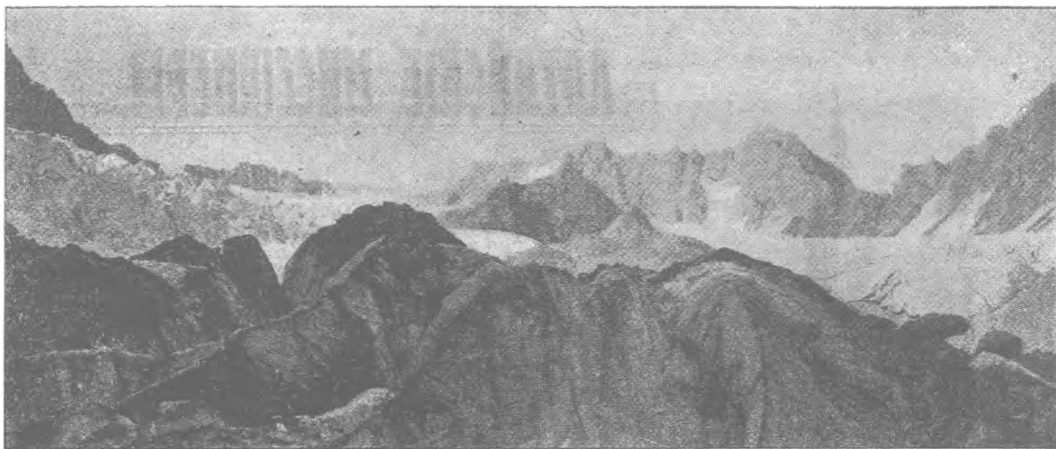
* * *

Прости меня! Отеческой любовью
Миссіонеровъ сихъ
Ты осѣнилъ. А я—родной имъ кровью,
Любовью, вѣрою... Я славословлю
Тебя, Господь, для нихъ...



* * *

Спаси ихъ, Господи! Они достойны
 Любви Твоей святой.
 За подвигъ ихъ тяжелый, безпокойный,
 За вѣру ихъ, терпѣнье, трудъ ихъ знойный—
 Спасенья удостой!..



Вотъ, на горахъ столы благовѣстника, возвѣщающаго миръ.
 (Наум. I, 15. Исаи 52, 7 Римл. 10, 15, 18. П. С. 18, 5).

I.

На дальней окраинѣ русской земли,
 Въ странѣ, гдѣ—громады Алтая,
 Гдѣ къ своду небесному льды подошли,
 Гдѣ всюду лѣса вѣковые росли,
 Руки человѣка не зная,

* * *

Въ странѣ, гдѣ съ созданія міра царилъ
 Князь тьмы и врагъ вѣры Христовой,—
 Тамъ люди не знали, кто ихъ сотворилъ,—
 Кто солнце, луну и тьму звѣздъ засвѣтилъ,
 Кто создалъ Алтай сто-головый.

* * *

Они поклонялись богамъ изъ камней,
 Изъ дерева, мѣди и кожи,

А въ жертвы—живыхъ раздирали коней...
И жизнью и правомъ—на дикихъ звѣрей,
Сосѣдей ихъ, были похожи...

* * *

Не знали они, что Спаситель-Христосъ
Явился, отъ Дѣвы рожденный;
Что съ неба на землю любовь Онъ принесъ
Всѣмъ людямъ; что эту любовь Онъ вознесъ
Съ Собою, на крестъ пригвожденный...

* * *

И вотъ, черезъ много вѣковъ, наконецъ,
Любовію Божьей водимый,
Въ Алтаѣ явился предивный пришлецъ,—
По дебрямъ искать горохищныхъ овецъ...
И съ нимъ былъ Спаситель, незримый...

* * *

Бѣду и нужду, и труды безъ конца
Принявши какъ счастье, какъ благо,
Крестить сталъ алтайцевъ, во славу Творца,
Пришлецъ сей священный, во имя Отца,
И Сына и Духа Святаго.

* * *

Сей вѣрный рабъ Господа жизнью своей
Былъ дивенъ, какъ ангелъ во плоти...
Смиреньемъ сердечнымъ плѣнивъ дикарей,
Онъ кроткими сдѣлалъ невѣрныхъ людей,
У демона бывшихъ въ работѣ...

* * *

Ни силъ, ни здоровья своихъ не жалѣлъ
Отецъ архимандритъ Макарій... ¹⁾

¹⁾ Глухаревъ, † 18 мая 1847 года.

Онъ душу свою положить захотѣлъ
За други... ¹⁾ За кровный же трудъ пріобрѣлъ
Отъ Домовладыки динарій... ²⁾.

* * *

То было давно: три и осмьдесятъ лѣтъ
Съ тѣхъ поръ протекло... ³⁾ И пустыня
Какъ кринъ процвѣла... Въ мірѣ семъ уже нѣтъ
Макарія,—въ небѣ онъ... Только привѣтъ
Алтай ему шлетъ и понынѣ...

II.

Преемникъ Макарія былъ ученикъ
Сего преподобнаго. Свято
Учителю слѣдовалъ онъ. И проникъ
Съ Господнимъ крестомъ въ глубь Алтая старикъ,
Любя инородца—какъ брата...

* * *

То—многострадальный Стефанъ ⁴⁾.—Онъ просилъ
У Бога, для жатвы богатой,
Дать дѣлателей, ибо не было силъ
Успѣть одному... ⁵⁾ И сей рабъ получилъ
Динарій отъ Господа въ плату... ⁶⁾

III.

И скоро на проповѣдь вѣры Христа,
Собрались отцы отовсюду,
И скоро въ Алтаѣ, на лучшихъ мѣстахъ,
Воздвигнули знамя святого Креста,
Воздвигнули храмы повсюду.

¹⁾ Іоан. 15, 31.

²⁾ Матѣ. 20, 1—9.

³⁾ Осенью 1830 года.

⁴⁾ Протоіерей С. В. Ландышевъ, † 25 декабря 1882 года.

⁵⁾ Матѣ. 9, 37.

⁶⁾ Матѣ. 20, 3—9.

* *

Гдѣ идоложертвенный огонь еще тлѣлъ,
 Тамъ слышалось слово:—спасайтесь,—
 Спасайтесь, друзья, такъ Господь восхотѣлъ...
 Пронесся въ Алтаѣ, вездѣ загремѣлъ
 Евангельскій голосъ:—покайтесь... ¹⁾

* *

Господь возлюбилъ сихъ отцовъ... Благодать
 Господня на нихъ обитала:
 Крестомъ они стали бѣсовъ отгонять,
 Душою и тѣломъ больныхъ исцѣлять ²⁾,
 Чтобъ слава Христа возсіяла...

* *

Но демонъ, духъ злобы, не разъ возставалъ
 На сихъ проповѣдниковъ Слова.
 Не разъ противъ нихъ онъ войну воздвигалъ,
 И въ людяхъ не разъ онъ вражду возбуждалъ
 И ненависть къ слугамъ Христовымъ... ³⁾

* * *

И много они, отъ бѣсовской вражды,
 Терпѣли несчастій и горя...
 И ждали они постоянно: бѣды, ⁴⁾,
 Болѣзни, опасности, скорби, нужды,
 Напастей житейскаго моря...

* * *

То—въ пропасть съ обрыва летить, то—съ горы,
 Усердный Господень служитель,
 То—горныхъ, холодныхъ рѣкъ бурный порывъ
 Съ конями уносить, то—снѣгъ, то—жары...
 Но всюду хранилъ ихъ Спаситель...

¹⁾ Марк. 1, 2—4.

²⁾ Матѣ. 10, 8.

³⁾ Иоан. 15, 19.

⁴⁾ Коринф. 11, 16.

IV.

И нынѣ намъ чудный является видъ:

Въ Алтаѣ—крещеномъ, въ горахъ,
Въ лѣсахъ православная церковь стоитъ,
На ней, выше лѣса, сіяетъ-горитъ
Святой Крестъ,—для демоновъ страхъ...



Камъ.

* * *

И тамъ, гдѣ недавно жрецъ демоновъ, камъ,
Бѣсовъ призывалъ заклинаньемъ,
Гдѣ демонскій хохотъ гудѣлъ по лѣсамъ,
Гдѣ идольской жертвы былъ стонъ,—нынѣ тамъ
Все дышетъ Христовымъ сіяньемъ...

* * *

И тамъ, гдѣ гудѣлъ только бубенъ шаманскій,
Въ пустынномъ ущельѣ глубокомъ,

Гдѣ крики и стонъ были шайки шайтанской,—
Звонъ колокола, слышимъ мы, христіанскій
Несется далеко-далеко...

* *
*

Несется и—въ домъ, и въ аилъ по доламъ
И ласково-нѣжно поетъ...
Зоветъ христіанъ онъ къ Спасителю въ храмъ.
Собралъ онъ отцовъ проповѣдниковъ тамъ
И—юныхъ по вѣрѣ зоветъ...



Епископъ бійскій Макарій, нынѣ митроп. Московскій.

* *
*

И въ храмѣ убогомъ съ народомъ стоитъ
Епископъ Алтая смиренный,
Алтайскимъ, роднымъ языкомъ говоритъ
Онъ слово алтайцамъ: „да благословить
Васъ, дѣти, Спаситель вселенной“...

* *
*

Съ своимъ архипастыремъ, въ ризахъ, соборъ
Отцевъ-іереевъ. Межъ ними

Алтайцы природные есть. Съ ними—хоръ
Алтайцевъ-пѣвцовъ.—Полонъ храмъ и притворъ,
Алтайцами полонъ одними.

* * *

И радостно тихо несется волной
Торжественно-чудное пѣнье:
Сегодня собралъ насъ Святой Духъ Своей
Святой благодатью...¹⁾—Невольной слезой
У всѣхъ говоритъ умиленье...

V.

Не бойся, малое стадо, ибо Отецъ вашъ
благоволи дать вамъ царство. (Лук. 12, 32).

Макарій—посѣяль, Стефанъ—поливалъ,
Христосъ возрастилъ эту ниву,²⁾
И новыхъ Онъ сѣятелей посылалъ,
И жатву обильную имъ подавалъ
Вездѣ, гдѣ трудились,—на диво.

* * *

Такъ тихо заря христіанства зажглась
На дальнемъ Алтаѣ суровомъ,
Зажглась, разгорѣлась и въ высь поднялась...
Холодная мгла духа тьмы улеглась,
Гонимая свѣтомъ Христовымъ...

* * *

Такъ многія тысячи дикихъ людей
Узнали на небо дорогу;
И правами нынѣ, и жизнью своей—
Уже не похожи на дикихъ звѣрей,
А сдѣлались чадами Бога...

* * *

Возрадуйте же, проповѣдники Слова:
Динарій отъ Домовладыки,
За трудъ вашъ,—всѣмъ равная плата готова,
Готовы объятія Отчи, Христовы,
Принять васъ въ небесные лики.

¹⁾ Днесь благодать Святаго Духа насъ собра.

²⁾ Коринѣ. 3, 6.

* * *

Ликуйте епископы—миссіонеры,
Трудившіеся на Алтаѣ
Полжизни своей, ибо радостной вѣры
Никто не отниметь у васъ ¹⁾ и, безъ мѣры,—
Подвижникамъ радости рая...

VI.

О, родина-мать! Православные люди!
Молитесь и жарко и много:
Да пламенные не изноютъ ихъ груди
Подъ ношею крестной... Да съ ними пребудетъ
Любовь Вседержителя—Бога.

* * *

Молитесь о тѣхъ, что для Бога рѣшились
До смерти своей потрудиться,
Чтобъ всѣ инородцы въ Алтаѣ крестились... ²⁾
Чтобъ Господа славить они научились,
Чтобы научились молиться.

* * *

Подвижниковъ этихъ Господь призываетъ
На проповѣдь вѣры святую;
Своими Онъ братьями ихъ называетъ... ³⁾
А тѣмъ, кто ихъ любить, Господь помогаетъ
И радость даетъ неземную.

* * *

Придите-жъ на помощь имъ, братья и други!
Хоть слово скажите въ отраду,
Хоть лепту имъ дайте, хоть—ваши досуги,
Хоть—чашу студеной воды для услуги,—
И Богъ не лишитъ васъ награды... ⁴⁾

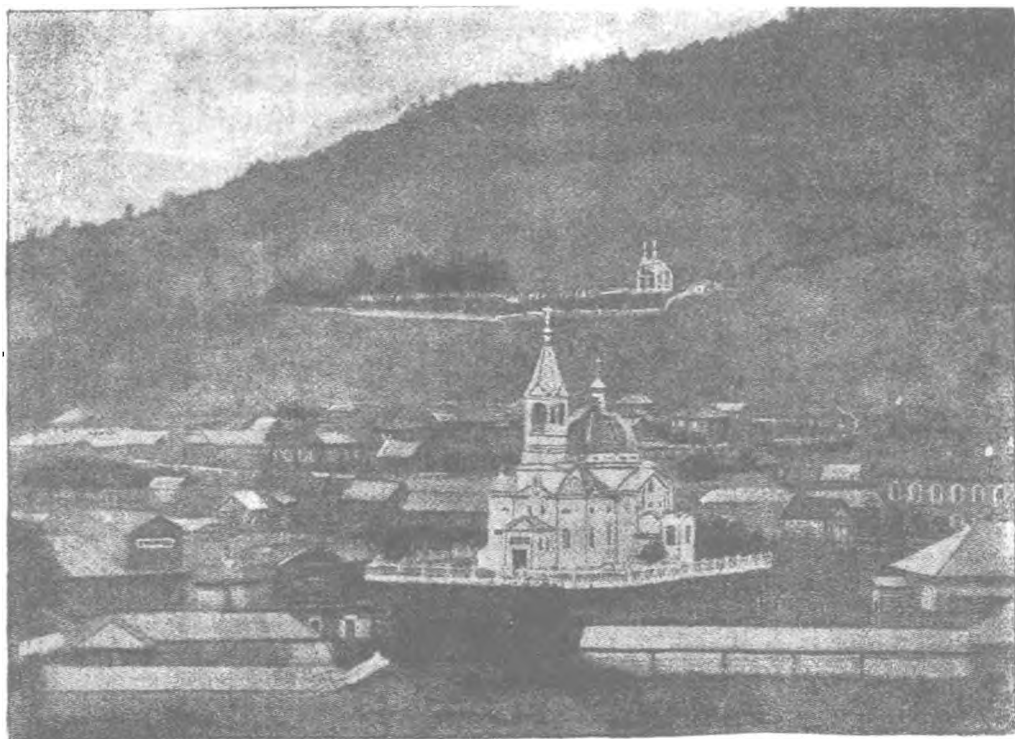


¹⁾ Іоан. 16, 22.

²⁾ Матѣ. 24, 14.

³⁾ Матѣ. 12, 49.

⁴⁾ Матѣ. 10, 42.



Село Улала Бійскаго уѣзда, Томской губерніи—главный станъ Алтайской Миссіи
(снимокъ 90-хъ годовъ).

Изъ алтайскихъ воспоминаній.

*(Посвящается Высокопреосвященнѣйшему Макарію, Митрополиту
Московскому и Коломенскому.)*

I.

У просфорни Евдокіи были глаза ребенка,—большіе, чистые, свѣтлые. Вся ея кроткая душа, глядѣла изъ нихъ, и матушка Агрипина Іоновна, которой она помогала проводить многотрудную жизнь, не разъ повторяла своему миссіонеру мужу:

— Святая она, о. Стефанъ! Сколько въ ней этого незлобія—Боже мой! никогда ни слова ропота... вся—любовь.

И въ шутку говорила смущавшейся сотрудницѣ:

— Ну моя любовь ходячая, иди-ка: новое дѣло есть... потрудися.

Умѣлыми руками пекла сестра Евдокія просфоры, обмывала и обшивала новокрещенныхъ, учила читать дѣтей, и единственной мечтой ея была мечта жить въ обители, о которой мечтали



Протоіерей Стефанъ Васильевичъ Ландышевъ.

всѣ въ маленькой миссіи, начинавшей уже разрастаться. Мечтала сестра Евдокія о строгой жизни, о подвигѣ, не сознавая, что совершаетъ его, бредила схимой и, слушая шелестъ лѣса и шумъ рѣки въ тихіе вечера, когда засыпало многочисленное потомство о. Стефана, она говорила Агрипинѣ Іоновнѣ, выходившей къ ней на крыльцо подѣ деревьями:

— Схиму вижу... въ гробу себя... поютъ надо мною, а колокола-то звонятъ... около Маймы рѣки, гдѣ заводъ... тамъ—монастырь будетъ.

Матушка улыбалась, но сдержанно: она тоже начинала вѣрить, что мечты просфорни Евдокіи сбудутся, потому что и о. Стефанъ мечталъ о томъ же, и суждено, значитъ, было раздаться колокольному звону подѣ синимъ алтайскимъ небомъ въ долинѣ, у быстрой рѣчки Маймы.

— Кто знаетъ,—разсуждала она съ мужемъ,—можетъ будетъ она схимницей за кротость свою... душа ея подвига желаетъ.

И матушка вглядывалась въ темную синеву вечерняго неба, на которомъ мерцали звѣзды.

II.

Рѣдко миссіонерскій станъ посѣщали гости; еще рѣже являлись сотрудники; туго шли въ миссію священники: пугала

необезпеченность, трудъ непосильный, ѣзда по трущобамъ тайги и переваламъ, пугала борьба со стихіями. О незамѣтныхъ труженникахъ стали говорить, какъ о смѣльчакахъ; говорить, удивляясь ихъ терпѣнію, о томъ, съ какимъ трудомъ достаются имъ души алтайскихъ людей, которыя они пришли спасать, а имя умершаго уже святого архимандрита, основателя Макарія, произносили съ благоговѣніемъ, его память чтили и, когда о. Стефанъ впервые увидалъ молодого студента Михаила Андреевича Невскаго, пришедшаго къ нему съ горячей просьбой о работѣ въ миссіи, онъ пристально взглянулъ въ горѣвшіе пламенемъ вѣры ясные глаза своими умными зоркими глазами и сказалъ:

— Ну, и будь ты вторымъ Макаріемъ, золото мое, Михаилъ Андреевичъ.

III.

Въ маленькомъ домикѣ, гдѣ просфорня монахиня Евдокія учила дѣвочекъ и пекла просфоры, была чистота ослѣпительная. Матушка Агрипина Іоновна часто приходила къ ней помогать въ пѣніи, а инородческія дѣвочки, пока въ количествѣ четырехъ, охотно слушали мечты Евдокіи о монастырѣ и монашествѣ, особенно одна маленькая Чевалкова, дочь толмача инородца, была внимательна къ ея словамъ. Приходили и молодые тетки Чевалковой и ея сестренокъ, и матушка съ дѣтьми на убогое крылечко, и тихія Улалинскія горы слушали молодые голоса, пѣвшіе слова стиховъ, сложенные для нихъ Макаріемъ основателемъ.

Сестра Евдокія учила просто, ласково, любовно, и всѣ дивились добротѣ и терпѣнію этой блѣднолицей дѣвушки съ ясными глазами, умѣвшей такъ любить всѣхъ и такъ же неутомимо работать, какъ и матушка, сильная тѣломъ и духомъ, а дѣвочки Чевалковы, первыя ея ученицы, вмѣстѣ съ дочками матушки считали ее за вторую мать. Здѣсь, въ этой тихой комнатѣ, коротала она краткія минуты досуга, очень рѣдкія, здѣсь думала свои думы, здѣсь въ странномъ экстазѣ послѣ молитвъ ей видѣлось будущее, и она улыбалась ему, являвшемуся къ ней миражемъ съ рядами монахинь, несущихъ ей схиму подъ звонъ монастырскихъ колоколовъ.



Матушка Агрипина Іоновна Ландышева.

IV.

Былъ тихій жаркій лѣтній день... парило... бѣловатое ма-рево тянулося къ небу, и Павелъ Тюндековъ, пріѣхавшій изъ Чергачака, говорилъ, что Бобырганъ (гора по лѣвую сторону Катуні) закурился, предвѣщая ненастье. Въ домѣ о. Стефана усердно мыли и безъ того чистые полы, а матушка хлопотливо и торопливо бѣгала по комнатамъ: черезъ того же Тюндекова она получила записочку отъ мужа, что онъ къ вечеру пріѣдетъ съ сотоварищемъ миссіонеромъ, всегда дорогимъ гостемъ въ семьѣ о. Стефана, и привезетъ еще новаго сотрудника и помощника послѣднему. Сестра Евдокія и двѣ ино-родческія дѣвочки усердно помогали ей, а дѣтки о. Стефана играли на большомъ дворѣ, гдѣ природныя деревья густо разраслися, пышныя и незапыленные среди зеленой поляны, за которой шумѣла Майма.

— Что ты задумалась, сестра Евдокія? не хвораешь-ли? —спрашивала между дѣломъ матушка.—Что-то и лицо не-веселое стало!

— Ничего я это, родная!—встрепенулася та.—Нашло на меня что-то... вотъ, точно жду кого.

— Ну, и сказала же!—усмѣхнулась матушка.—Конечно, —ждемъ: о. Стефанъ давно уже уѣхалъ, долго не видали, соскучились... и гостей везетъ. А знаешь? Чевалковъ былъ у насъ по-утру, говорить, что люди насмѣхаются, что онъ поетъ съ дѣтьми, и надъ нами съ тобою. Вотъ и Павелъ Тюндековъ, что сейчасъ былъ здѣсь, тоже смѣется:

— „Воете, какъ волки!“—говорить... Они, вѣдь, не стѣсняются... богатый онъ... при мнѣ обидѣлъ Чевалкова. Дикіе... отъ свѣта сторонятся... Не жалѣю я, сестра, что пошла сюда... вовсе нѣтъ: люблю ихъ; знаю, и ты любишь... только трудно, милая, приучить ихъ къ себѣ, къ хорошему, къ доброму; а Чевалковъ—лучше: онъ понимаетъ и помогаетъ намъ... Побольше бы такихъ! Вотъ, сейчасъ ѣдетъ новый, издалека... убѣжить, пожалуй: скучно молодому въ горахъ нашихъ будетъ.

— Если для дѣла пришелъ, то ихъ полюбить!—сказала раздумчиво сестра Евдокія.—Ахъ, матушка, почему это мнѣ все кажется: шумитъ рѣка, звонятъ колокола, не наши улалинскіе, а другіе... и вижу я икону Божіей Матери, и хоръ поетъ. а въ хорѣ томъ—Матрешинъ голосокъ ясный и мой грѣшный голосъ слышатся, и что-то точно сердце толкаетъ: „скоро, говоритъ, скоро!“

— Провидица. Про свое все... о монастырѣ грезить!—улыбнулась матушка, умывъ руки и оправивъ рукава.

V.

— Мама, ѣдутъ, ѣдутъ!—закричали дѣти.

И обѣ женщины кинулись къ воротамъ, за которыми виднѣлись вдоль улицы нѣсколько всадниковъ. Матушка шла быстро, почти бѣжала, а за ней въ отдаленіи, слегка прихрамывая, шла сестра Евдокія, и ея глаза неотступно и зорко впились въ приближавшихся, полные страннаго и восторженнаго изумленія. Вотъ, они спѣшились. Вотъ, она различила ясно небольшую фигурку о. Стефана и священника миссіонера... —„Но кто же этотъ?“ Мелькаютъ черты... Не простой молодой человѣкъ видится ей, нѣтъ: темную рясу она видитъ... видитъ клобукъ... Опять точно застилаетъ ясные глаза... вотъ, онъ въ омофорѣ и саккосѣ съ митрою на головѣ и съ посохомъ въ рукѣ подъ сводами огромнаго храма... вотъ, онъ въ бѣломъ клобукѣ съ бѣлымъ же крестомъ, этотъ новый

человѣкъ... и блеситъ, горитъ бѣлый крестъ; горитъ и переливается этотъ знакъ высшей духовной власти...

Съ страшно забившимся сердцемъ, сестра Евдокія сдѣлала нѣсколько шаговъ навстрѣчу идущимъ къ ней путникамъ и передъ всѣми, изумленно глядѣвшими на нее, упала въ ноги скромному красивому студенту, съ невольнымъ испугомъ взглянувшему на эту блѣдную монахиню, поклонившуюся ему до земли.

— Сестра Евдокія, что съ тобой?—воскликнулъ миссіонеръ гость въ глубокомъ недоумѣніи.

А матушка испуганно старалась приподнять склоненную въ поклонѣ голову:

-- Милая моя, что съ тобою?

Одинъ только о. Стефанъ, раздумчиво качая головою, махнулъ всѣмъ рукою по направленію къ дому, и, когда они, повинувась, отошли, положилъ руку на все еще склоненную голову монахини и молвилъ просто, задумчиво, мягко:

— Что тебѣ привидѣлось, Евдокія? никого нѣтъ, ушли... не смущайся.

Она, наконецъ, подняла голову и глазами, полными слезъ, взглянула на о. Стефана, котораго чтитъ и любила; ея губы затрепетали, и она сказала, съ трудомъ произнося слова:

— Сану его великому, будущему поклонилась я... въ омофоръ и митръ его увидала... и крестъ бѣлый на клубукъ... можетъ быть это знаменіе... можетъ быть это отъ лукаваго... прости меня, о. Стефанъ!

Онъ тихо усмѣхнулся мягкой и ласковой усмѣшкой и промолвилъ, кладя палецъ на уста, серьезно и властно:

— Молчи! никому ни слова... Душа твоя, какъ у ребенка чистая, многое такое видитъ, что инымъ не вѣдомо: но рано говорить объ этомъ до поры, сестра Евдокія.

И она долго никому объ этомъ не говорила.

VI.

Шли времена. Надъ Маймой зазвонили колокола тихой обители; скромная труженица черезъ много лѣтъ приняла схиму; приняла ее тогда, когда уже не стало Агрипины Іоновны и о. Стефана. Имъ не суждено было увидѣть омофоръ и сакось на плечахъ Михаила Андреевича: они умерли, оставивъ

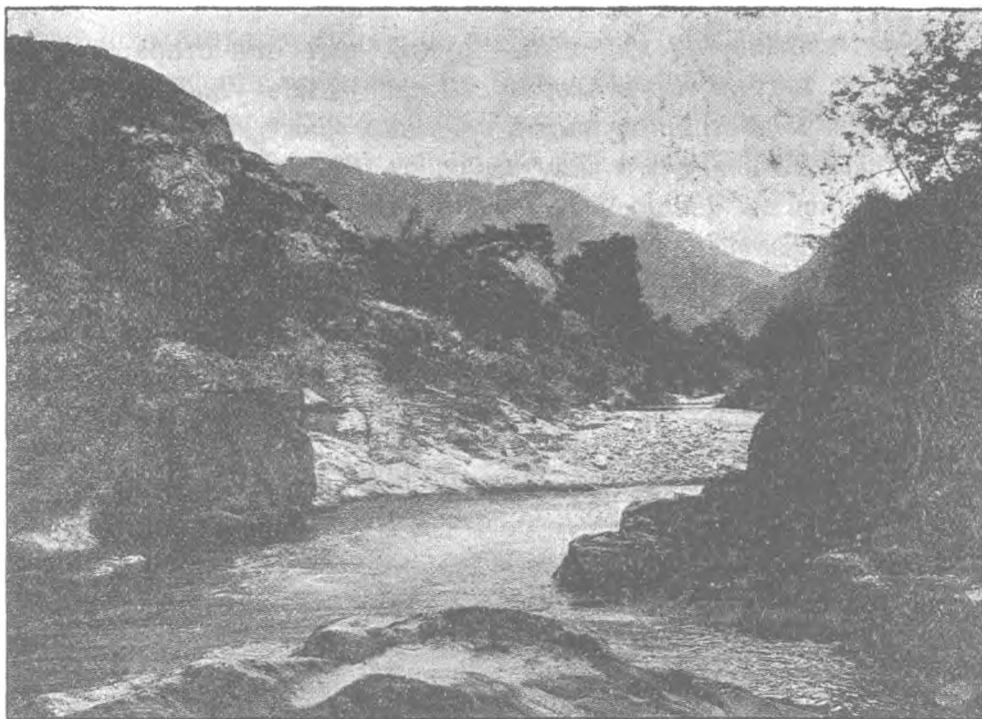


Схимонахиня Евдокія.

его *архимандритомъ* Макаріемъ... Все уносящее время унесло и схимницу: она ушла въ горнія селенія уже при *епископѣ* Макаріи; но изъ горняго міра всѣ они, много потрудившіеся въ горахъ Алтая, видятъ *митрополита* Макарія, печальника алтайскаго, чью будущность прозрѣли чистые глаза скромной монахини, положившей жизнь на благо родного сердцу Алтая...

Не многимъ говорила она о своемъ видѣніи, но въ сердцахъ любящемъ добрыхъ и чистыхъ сложились и запомнились ея сбывшіяся слова, и теперь, во дни служенія въ великомъ санѣ митрополита Макарія, они рѣшились рассказать то, что было, потому что свѣтильники должны быть возжены, чтобы освѣтить чистое прошлое свѣтлыхъ людей для исторіи и будущихъ поколѣній.





...Тихая долина, окруженная горами, поросшими лѣсомъ у быстрой рѣки...

Смирный.

Тихіе, невозмутимые, безучастные ко всему люди.

Иногда Михаилу Андреевичу казалось, что ихъ нельзя тронуть, что для нихъ имя Бога Живого не понятно, и что ихъ лѣнивому уму не постичь тѣхъ словъ, которыя рвались изъ его сердца и трепетали на устахъ... они и за своихъ идоловъ держались потому, что эти божки не требовали ни особыхъ молитвъ, ни особыхъ приношеній, всѣ молитвы у нихъ исполнялись камами, и рѣдкіе интересовались своей религіей. Онъ не разъ высказывалъ о. Стефану свои мысли.

— Не хотятъ слушать! плохой выйдетъ изъ меня миссіонеръ.

И столько искренней печали звучало въ молодомъ голосѣ, что о. Стефану становилось его жаль.

— Учись языку!—говорилъ онъ ласково.—Женѣ и мнѣ тоже тяжело было, тоже и надежды теряли съ ними, и о. Макарій не разъ, можетъ быть, сомнѣвался въ силахъ своихъ...

народъ кроткій, но лѣнивый, трудно имъ отъ стараго отрѣшаться... погоди, не все сразу... наше дѣло уловленіе душъ терпѣніемъ дается... лукавый тутъ на стражѣ, ему тошно, что эти простые сердцемъ запутались въ цѣпяхъ его... Вотъ, говорю, учись съ Чевалковымъ языку: убѣжденный онъ человѣкъ, ученикъ Незабвеннаго... да ты уже много успѣха сдѣлалъ... слышалъ я тебя, понимаешь алтайскій уже хорошо!.. Вотъ весна настанетъ, поѣдемъ съ проповѣдью въ даль, въ глушь; они, вѣдь, гостепріимны и добродушны... а ты можешь говорить, золото мое, потому что пришелъ съ любовью въ сердца сюда, не изъ-за корысти какой.

И уходилъ справляться съ отчетами и многими письменными работами, въ неутомимомъ трудѣ проводя жизнь, а дома говорилъ женѣ, отрывавшейся отъ вѣчныхъ заботъ и хлопотъ для краткихъ минутъ досуга:

— Будетъ изъ него толкъ, изъ помощника моего новаго; смотрю на него и Незабвеннаго вспоминаю... бывало, также горѣлъ, на дѣло рвался, и все ему казалось мало. И этому хочется проповѣди и боится за силы свои, очень ужъ его пугаютъ алтайцы, боится, что души ихъ лѣнивыя тронуть не сможетъ, и ни помысла о мірѣ, о семьѣ... будущій инокъ... помани меня, преемникъ будетъ незабвенному архимандриту, первому Алтая апостолу.

Жена внимательно слушала его рѣчь, она привыкла вдумываться въ каждое слово мужа и знала, что онъ не скажетъ необдуманныхъ словъ. Умными темными глазами она приглядывалась къ новому помощнику мужа и стала замѣчать, что онъ дѣйствительно горитъ на работѣ, она дивилась его готовности отдаться дѣлу, его неутомимымъ занятіямъ алтайскимъ языкомъ и ставила въ примѣръ своимъ малышамъ этого ушедшаго изъ міра юношу, полюбившаго ихъ родину, задумчивый и прекрасный Алтай.

II.

Къ веснѣ Михаилъ Андреевичъ чудесно усвоилъ алтайскій языкъ; въ семьѣ толмача Чевалкова къ нему привязались всѣ, какъ и въ семьѣ о. Стефана; и какъ дивились самъ Чевалковъ и его семья тому, что скоро научился онъ понимать языкъ ихъ родины.

— Матерь Божія помогла!—говорилъ Михаилъ Андре-

евичъ, и сталъ заниматься вмѣстѣ съ толмачемъ переложениемъ священныхъ книгъ на языкъ Алтая.

Слушая восторженные отзывы толмача Чевалкова о своемъ помощникѣ, о. Стефанъ улыбался рѣдкой улыбкой и говорилъ своей Агрипинѣ Іоновнѣ:

— Золото онъ мое. Сердце радуется, смотрѣть на него люблю я: весь онъ — пламя чистое, будетъ свѣтильникъ Алтаю.



...готовясь ѣхать на проповѣдь съ о. Стефаномъ въ глубь пробуждавшагося Алтая, который загремѣлъ ручьями, зарокоталъ шумными рѣчками, сбросившими ледяные оковы.

А весна наступила чудная, теплая и ровная въ этотъ годъ, осыпая кой-чечеками проталины горъ.

Изъ дальнихъ аиловъ потянулись въ Улалу больные; матушка любила лѣчить, она не гнушалась грязныхъ ранъ и больныхъ глазъ. не гнушалась паршами и молочницей, неизбѣжной болѣзню алтайскихъ дѣтей, поражавшей даже восьми-лѣтнихъ, и лѣчила, обмывала и перевязывала ихъ вмѣстѣ съ сестрой Евдокіей, а Михаилъ Андреевичъ дивился этимъ дѣятельнымъ любящимъ женщинамъ, и въ его кроткой душѣ опять рождалась мысль, смиренная и скорбная, о томъ, что самъ онъ еще такъ мало сдѣлалъ для Алтая.

Семья о. Стефана почитала основателя миссіи, его имя было святымъ тутъ, и рассказы о его подвигахъ, о его тру-

дахъ трогали Невскаго, возбуждая пламенное желаніе подвига. Онъ сталъ помогать Агрипинѣ Іоновнѣ въ ея трудахъ, не оставляя переводовъ, занимаясь пѣніемъ и готовясь ѣхать на проповѣдь съ о. Стефаномъ въ глубь пробуждавшагося Алтая, который загремѣлъ ручьями, зарокоталъ шумными рѣчками, сбросившими ледяные оковы.

— Погоди, пройдутъ рѣки!—удерживалъ его о. Стефанъ. —Я, милый, не разъ тонулъ; успѣемъ, не рвися!..

И когда береза развернула чуть-чуть клейкіе душистые листочки, о. Стефанъ сказалъ ему ласково:

— Ну, вотъ, и пора пришла: Алтай ждетъ... я въ одну сторону, а тебя дальше отправлю съ проповѣдью.

Сердце Михаила Андреевича трепетно забилося: „вотъ, онажданая, желанная проповѣдь!“

А о. Стефанъ продолжалъ:

— Я тамъ давно не былъ, силы не хватало, а къ о. Макарію часто оттуда люди прѣзжали; многихъ крестилъ онъ тамошнихъ, слышали они проповѣдь его вдохновенную... охъ, и умѣлъ онъ говорить просто, проникновенно, ясно и любилъ алтайцевъ, какъ дѣтей... такъ и звалъ: „дѣтки“, а какой талантливый былъ; и такъ же душа горѣла на подвигъ, какъ у тебя.

— О. Стефанъ!—скорбно, весь вспыхивая, сказалъ Михаилъ Андреевичъ.—Боюсь я проповѣди первой тамъ, не сѹмѣю.

— Сѹмѣй! проси, чтобы научилъ тебя архимандритъ, у Бога онъ теперь... праведникъ былъ незабвенный мой... молись, проси о вразумленіи, онъ поможетъ, зови его на помощь.

И Михаилъ Андреевичъ въ этотъ вечеръ, наканунѣ поѣздки, страстно молился безмолвной молитвой глядя на темносинее небо, туда, гдѣ зажигались звѣзды, въ бездонную глубь; молился, прося архимандрита Макарія помочь ему, ободрить, наставить.

— „Ты любилъ Алтай, ты дошелъ до сердца его дѣтей, ты мнѣ поможешь!“—шепталъ онъ съ упованіемъ. А въ окно, открытое на просторъ полей, неся, какъ благовоніе, запахъ зацвѣтшей черемухи, а вѣтеркомъ теплымъ и нѣжнымъ изъ за грохочущей Маймы рѣки неся ароматъ хвои: то пихты и сосны струили изъ пихтача смолистый запахъ, мѣшавшійся съ ароматомъ черемухи. Гдѣ-то пѣли заунывную алтайскую

пѣсню, безнадежно грустную, такъ не вязавшуюся съ красотой душистой весенней ночи, и строгіе ясные силуеты горъ прислушивались къ ней:

„Боім торогон туштаза
Эзень салам айдып-бар!“

.

— „А встрѣтятся гдѣ родные мои, имъ миръ и поклонъ скажи отъ меня!“—невольно перевелъ онъ самъ себѣ, оторвавшись отъ молитвы.

— „Да миръ и поклонъ тѣмъ, что остались тамъ, въ далекомъ мірѣ, полномъ суеты... всю жизнь отдать на служеніе этому краю, спокойному и прекрасному... его народу... пробудить его, поднять, научить“...

И опять сжалъ руки, а губы шептали съ глубокимъ упованіемъ:

— Помоги, не оставь... ты былъ праведникъ, ты меня слышишь, ты видишь мое открытое сердце, вложи въ уста мои твои слова, вложи въ сердце мое любовь твою святую...

И поздно, поздно уснулъ онъ на бѣдномъ ложѣ, когда уже стали тухнуть звѣзды, и яркая заря занялась, окрашивая въ розовые тоны вершины горъ.

И снилось ему, что онъ не спитъ, что онъ видитъ чье-то лицо неодолимо симпатичное, кроткое лицо, сѣдѣющую голову, покрытую монашеской скуфьей, добрые дѣтскіе чистые глаза и вьющіеся волосы до плечъ... оно выплывало передъ нимъ, какъ изъ тумана, и становилось яснымъ... Вотъ, онъ весь этотъ небольшой старецъ въ иноческой рясѣ, съ очками на глазахъ... вотъ, онъ глядитъ поверхъ нихъ на него съ мягкой улыбкой и привѣтомъ во взглядѣ, и вдругъ его сердце затрепетало восторженно:

— Архимандритъ Незабвенный пришелъ, услышалъ дорогой, добрый!..

Ему захотѣлось пасть на колѣна передъ нимъ, схватить его руки и цѣловать ихъ и облить слезами чистой свѣтлой радости, но онъ не могъ этого сдѣлать и только глядѣлъ въ глаза своему гостю восторженнымъ взглядомъ, а тотъ, все продолжая улыбаться, склонился къ нему и сказалъ голосомъ проникновеннымъ, дошедшимъ до души Михаила Андреевича:

— „Ты послѣ меня здѣсь обучайся!“

Эти слова заставили Невскаго залиться слезами счастья, онъ опять сдѣлалъ движеніе съ мыслью кинуться къ ногамъ архимандрита, обнять ихъ съ трепещущими на устахъ словами обѣта, и широко раскрылъ глаза.

Бѣдная комнатка, вся залитая солнечными лучами, иконы, и ни признака того, кого онъ видѣлъ сейчасъ такъ ясно, чей голосъ слышалъ, чьи слова, какъ приказаніе, запечатлѣлись въ его умѣ, онъ не удерживалъ слезъ, онѣ лилися свѣтлыя, и съ каждой облегчалась его душа, расла увѣренность, что тотъ, кого онъ чтилъ, не зная, будетъ помогать ему невидимо и не оставить его никогда.

III.

О. Стефанъ, выѣзжая, зорко взглянулъ въ просвѣтленное лицо помощника, онъ ни о чемъ не спросилъ его, не любилъ онъ много говорить и не былъ любопытнымъ, но рѣдкая на его лицѣ улыбка освѣтила на минуту это лицо съ лбомъ, на которомъ прежде времени тяжелая жизнь, полная труда, наложила раннія морщины, и, разставаясь, сказалъ съ любовью:

— Христосъ съ тобою! О. Макарій поможетъ тебѣ.

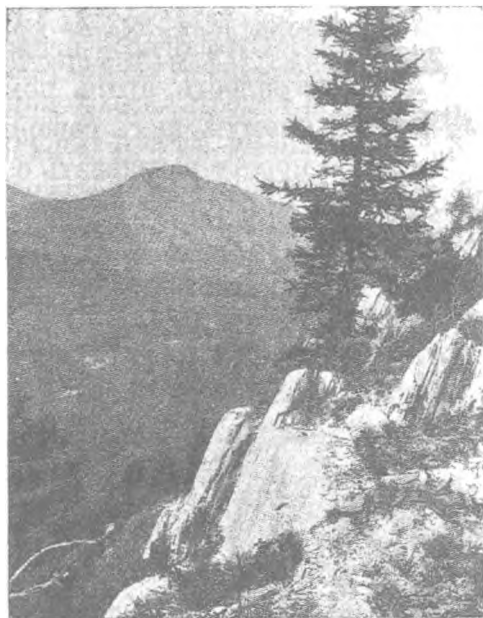
Тихая долина, окруженная горами, поросшими лѣсомъ, и быстрая рѣка... юрты... немудрая, простая обстановка аила, спокойныя лица алтайцевъ, теперь сосредоточенныя и небольшая стройная юношеская фигура среди нихъ.

Тихо догорала заря, въ черемуховой пышной заборѣ начали посвистывать соловьи, дымъ отъ разведеннаго костра, точно оиміамъ, поднимался къ небу, и слова проникновенныя, полныя любви, на странномъ алтайскомъ языкѣ, лились убѣдительныя, властныя, чарующія и правдивыя... Какія это были слова! молодая душа, горѣвшая любовью, влагалась въ нихъ, они звучали невыразимымъ убѣжденіемъ, они трепетали безконечною вѣрою, они покоряли и звали за собой къ Тому, проповѣдь о Комъ говорили.

Старикъ алтаецъ бросилъ трубку, и она давно потухла, его молодые сыновья и подростокъ дочь слушали, не спуская глазъ, а другіе, сидѣвшіе поодаль, тихо придвинулись ближе, а по лицу Чевалкова текли слезы, которыхъ онъ не замѣчалъ.

— „Правду сказалъ о. Стефанъ!“—неслось въ его умѣ, —„да онъ будетъ намъ на радость, этотъ помощникъ будетъ ему преемникомъ, Незабвенному... какъ говоритъ, слова какія! И я не умѣю, не умѣю по просту рассказать себѣ... какъ сладко сердцу моему слушать слова его, точно опять Незабвеннаго Макарія слушаю, архимандрита, моего отца... точно опять онъ говоритъ сегодня передо мною!“





Миссіонеры.

— Жизнь наша должна вся безъ остатка идти для пользы этихъ людей простыхъ, другъ мой!—сказалъ высокій, красивый священникъ.—Какіе труды не вершится ради любви у насъ? Примѣръ—о. Макарій, основатель... „Незабвенный“, какъ зоветъ о. Стефанъ; вотъ—жизнь! А я, напримѣръ, что же? Сибаритствую, читаю, на библіотеку трачу сколько! Гоголемъ брежу, пишу много и только часъ времени отдаю инородцамъ нашимъ. Нѣтъ голубчикъ мой, похвала ваша мнѣ не прилежитъ; и въ ѣдѣ себѣ не отказываю, и садъ люблю до страсти: для меня каждый кустикъ существо живое. Напрасно послали васъ со мною, если хотѣли подвигу учить; ну, да ничего; отдохните, будемъ ѣздить по аиламъ причащать больныхъ крещеныхъ и проповѣдывать тамъ. Однако, братъ Михаилъ ¹⁾,—оглядѣлъ онъ молодого собесѣдника,—и юны же вы, погляжу я! двадцать лѣтъ!.. Дай Богъ вамъ потрудиться на пользу Алтаю... а я, вотъ, думаю немного побыть тутъ: хочется въ тайгу Кузнецкую, станъ тамъ основать: тутъ дѣлатели есть,

¹⁾ Нынѣ митроп. Московскій Макарій.

а тамъ—никого; вотъ и нужно мнѣ идти туда. Для меня алтайцы наши—дѣти большія, а я дѣтей люблю чрезвычайно.

И онъ задумался на минуту, вспомнивъ милое дѣтское личико тамъ, далеко въ прошломъ, и теперь личико племянника Вани, трехлѣтняго сына отца Стефана, напоминаетъ ему то первое личико ушедшаго изъ міра ребенка.

— Жаль и оставить васъ тутъ, братъ!—указалъ онъ на виднѣвшееся на фонѣ снѣга у темной полосы лѣса селеніе.— Сѣрый день... Въ такіе дни особенно чувствуется одиночество, а мнѣ торопиться надо. На недѣлю придется одному оставаться вамъ. По аиламъ проберитесь, крещеныхъ подготовите, еще покойный архимандритъ печалился о такихъ, не разъ о Стефану говорилъ:

— „Не печальные ли виды представляетъ состояніе тѣхъ, которые многія уже лѣта не вкушали, можетъ-быть, отъ Источника Безсмертія единственно за домашними нуждами и по отдаленности приходской церкви. Когда бы церковь являлась среди домовъ ихъ, они были бы ей рады, съ благодарностью бы принимали врачество своихъ недуговъ, отъ сей Врачебницы и, укрѣпившіеся, привлекали бы къ ней немощнѣйшихъ своимъ примѣромъ и совѣтами, и, такимъ образомъ, въ душахъ ихъ открывалась бы спасительная алчба къ Хлѣбу жизни“.

— Да, нескоро еще исполнятся его святыя мечты, пока нѣтъ силъ у юной миссіи нашей... зато вы, будущіе наши преемники, можетъ-быть, увидите храмы по Алтаю вездѣ. Итакъ, черезъ недѣлю! Христосъ съ вами, братъ Михаилъ... я—прямо, а вы—вправо. Помогите вамъ Богъ!

Они, оба ѣхавшіе на крѣпкихъ алтайскихъ лошадяхъ съ двумя алтайскими проводниками, разѣхались и потонули въ начинавшихся сумеркахъ мартовскаго хмураго дня, съ небомъ, затуманеннымъ тучами.

— Намъ направо!—сказалъ тотъ изъ двухъ проводниковъ, что остался съ Михаиломъ Андреевичемъ.—Ой, ой, ровно и не Курюк-ай! а старые люди говорятъ, что въ него годъ переваливается, какъ съ наклонной лѣсины, и снѣгъ подтаянный спадаетъ... какіе тутъ бурундуки выйдутъ изъ норъ? Того гляди—падера завернетъ! давно не было такого года: холодище и день изъ-за тучъ короткій... не то, што на шесть арка-

новъ прибыть долженъ, а и на два-то, кажется, не хватитъ. Годъ на годъ, видно, не приходитъ. Ты озябъ однако?

— Нѣтъ!—ласково улыбнувшись, сказалъ Михаилъ Андреевичъ и невольно вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ забъ въ родномъ селѣ, и даже старая кацавейка старшей сестры не могла согрѣть его худенькое тѣло. Съ юныхъ лѣтъ онъ зналъ нужду, видѣлъ ее, и она его не пугала, да и не удобства земныя пришелъ онъ искать сюда.

— Ой, ой, скоту плохо!—говорилъ медленно и съ разстановками его спутникъ.—Таяло, а теперь застыло, и снѣгъ напалъ. Гдѣ добратся коню до корма или рогатому скоту? ладно, на гривахъ обдуло, да и то плохо: высоко и скользко... теперь на гору и забратся-то коню силы нѣтъ. Кудай осердился... Надо, по нашему, мало-мало камлатъ, тогда ладно будетъ.

— Не поможетъ ваше камланье!—нахмурился Михаилъ Андреевичъ.—Лжецы ваши камы, обманываютъ васъ. Кудай такой добрый, что не терпитъ чужихъ мученій, а вы лошадей какъ мучаете! Бѣсы только развѣ любятъ камланье. Богъ—Отецъ человѣку, Онъ Самъ сотворилъ и умножилъ всякое свое созданіе и неужели захочетъ Онъ, чтобъ мучили животныхъ и пріятной жертвой Себѣ это сочтетъ? Да, Онъ отвертывается отъ васъ всегда за ваше камланье. У насъ ученики Божіи учили: „блаженъ, кто и скоты милуетъ“, а вы ихъ губите. Какъ нехорошо это! У васъ точно сердца нѣтъ. И у насъ убиваютъ скотину на пищу, но развѣ такъ, какъ вы? А какой, кажется, мягкій и кроткій народъ!

Онъ задумался, а хмурый день гасъ, и сумерки все сильнѣе густѣли, хмурились тучи и ползли по горамъ, скрывая ихъ чистыя линіи. Холодало.

— Однако снѣгъ пойдетъ!—опять заворчалъ проводникъ.—Говорю, что нынче весна не хочетъ придти на Алтай. Бывало ужъ кой-чечеки зацвѣтають, а теперь плохо, совсѣмъ плохо,—качалъ онъ головою.—Вотъ скоро и избы. Замерзъ ты, продуло?

И, дѣйствительно, въ избахъ и юртахъ верхняго Карагужа привѣтно начали зажигаться огни, и скоро собаки громкимъ лаемъ встрѣтили путниковъ, несясь за ними по улицѣ и хватая за стремяна.

II.

Недѣля пролетѣла незамѣтно для Михаила Андреевича. Молодой сотрудникъ старыхъ миссіонеровъ объѣздитъ айлы съ словомъ любви, общественной молитвой и поученіемъ, приготовляя инородцевъ къ таинству Причащенія, потомъ о. Василій причастилъ это собранное стадо, и они уже вмѣстѣ побывали въ Таштѣ и Кабыжакѣ, гдѣ крестили кумандинца Илькэ съ женою и сыномъ. Крестили, учили и проповѣдывали, и старшій замѣчалъ съ любовью, что братъ Михаилъ разгорается на дѣло; спокойному ученому нравилась эта пылкая жажда труда и подвига въ немъ, такомъ еще юномъ.



...и ленточка бома узкая — узкая, точно карнизъ...

— Усталъ?—говорилъ онъ, внимательно глядя на молодое поблѣднѣвшее лицо.—Ну, теперь скоро кончимъ; вотъ еще завтра причастимъ остальныхъ, окрестимъ двухъ младенцевъ и двинемся до домовъ, а то Алтай, который теперь хмурится и снѣгъ сулитъ, пожалуй, не пуститъ насъ долго, если замедлимъ, посмотрите-ка, какъ загремитъ разомъ! Всегда такъ бываетъ, когда зима выдерживаетъ; въ два дня мѣстъ не узнаешь. Ноютъ ноги и тѣло у васъ, навѣрное, братъ Михаилъ? У меня, вотъ болитъ голова, мучаютъ меня эти го-

ловныя боли страшно передъ ненастьемъ. Что, не болятъ, говоришь? Ну, значитъ, молодецъ, а у меня болѣли ноги часто и сейчасъ болятъ: сойдешь съ лошади и распрямить ихъ не можешь; у всѣхъ миссіонеровъ болятъ онѣ. Я иногда самъ себя утѣшаю: все-таки на лошади, молъ, а апостолы-то по Палестинѣ, да и вездѣ пѣшкомъ. Здѣсь бы долго не пробиться пѣшему. Другой разъ закроешь глаза и отдашь коню, а подъ ногами пропасть, и ленточка бома узкая-узкая, точно карнизъ, а надъ нею—стѣна. Лошадь идетъ полубокомъ, потому что животъ и ноги сѣдока въ стѣну эту природную упираются... ну-ка, пройди тутъ пѣшкомъ? а на лошади—ничего. Вотъ все будетъ узвано вами: и бомá, и перевалы, и грозы, и мятели... да и сегодня, однако, хватить насъ буранъ: вы смотрите, тучи совсѣмъ снѣговья, и вѣтеръ какой крутитъ пыль дорожную, точно выдрать ее хочетъ на голыхъ мѣстахъ. Надо двигаться завтра будетъ до Улалы, гдѣ уже ждутъ насъ, а пока усните, другъ мой!

— Не хочется... Вы вѣдь не ложитесь?

— Я тутъ записываю то, что услыхалъ сегодня... преданья алтайскія. У нихъ есть своеобразныя. Краю нашему будущность огромная предстоитъ; нельзя не заглянуть въ будущее, увидятъ же въ немъ люди жемчужину родины нашей, тогда и мои скромныя записи о прошлыхъ вѣрованіяхъ и легендахъ читателей найдутъ, другъ мой, Михаилъ Андреевичъ... а вы все еще плохо съ языкомъ справляетесь, или уразумѣли?

— Немного,—оживился тотъ.—Послѣ того видѣнія,—помните, какъ ясно мнѣ представилось лицо архимандрита тонкое съ глазами глубокими и добрыми? И послѣ того, послѣ его ободренія мнѣ сталъ казаться понятнымъ и яснымъ алтайскій языкъ, говорить порядочно уже начинаю.

Они проговорили еще долго, а на утро встали для дѣла, ждавшаго ихъ, которое совершили съ обычнымъ рвеніемъ и благоговѣніемъ; только къ полдню, управившись съ требамы, наконецъ могли они двинуться домой. Вѣтеръ дулъ опять рѣзкими порывами, все усиливаясь и сдувая съ горъ тучи снѣгу. Онѣ летѣли имъ навстрѣчу и слѣпили глаза. Лошади, сперва бѣжавшія рысью, замедлили шагъ и пошли тихо, мотая головами и наклоняя ихъ къ землѣ.

— Долго же мы будемъ такъ пробираться!—сказалъ о. Василій и нахмурился.

А буря крѣпчала, и послѣ ужаснаго порыва вѣтра въ долину, загудѣло, какъ въ котлѣ; тучи словно разомъ открылись, и снѣгъ посыпался густой и крупный. Буря ревѣла, и свѣтъ затмился, скрывъ путь. Кони брели, сбиваясь съ дороги, отъ которой не осталось ни малѣйшаго слѣда, снѣгъ засыпалъ его, и цѣлые бугры быстро образовались на пути, въ котловинахъ дороги лошади тонули.

— Ой, ой!—сказалъ проводникъ.—Ой, ой, шибко худо, однако не добраться до Ташты, однако погибнемъ! Ой, ой, какъ худо, шибко, шибко худо!!.

— Богъ съ нами!—заговорилъ о. Василій, погоняя лошадь.

— Вы тутъ, братъ Михаилъ?

Буря достигла апогея, и громкаго голоса даже не слышно было въ шагъ разстоянія, слѣпило глаза, и лошади съ трудомъ вытягивали ноги, вытягивали и брели, увязая опять, а время шло, проходили минуты, часы. Уже прошло часа четыре съ ихъ выѣзда изъ селенія, мгла бури не позволяла различать мѣстности, люди мерещились другъ другу черезъ сѣтку снѣга, продолжавшаго обильно падать туманными пятнами.

— Тутъ ли, братъ Михаилъ?—кричалъ отъ времени до времени о. Василій.—Иванъ! Максимъ!.

Ему откликались, а лошади брели, обезсилѣвъ отъ уброта. Темнѣло... Они не знали всѣ четверо, куда лежитъ ихъ путь, иногда натыкаясь на деревья или скалы, они давно отдались на волю лошадей. Вдругъ младшій, тоже окликавшій спутниковъ, увидѣлъ, что чья-то лошадь сунулась на колѣни. Торопливо слѣзая съ своей, онъ очутился въ рыхломъ снѣгу чуть не до пояса и побрелъ, держа за поводъ свою лошадь, немного назадъ крича:

— Пойдите, упалъ кто-то! Пойдите, развѣ можно бросить кого-нибудь?

И самъ ощупью, одною рукою ища впереди себя, наткнулся на упавшую лошадь.

— Нога въ стремени... не ожидалъ, что упадетъ лошадь! —своимъ спокойнымъ голосомъ, немного повышеннымъ, что-бы достигнуть слуха среди хаоса бури, откликнулся упавшій

о. Василій на вопросы Михаила Андреевича.—Лошадь жалъ. изнемогла она. Ну-ка вмѣстѣ не подыmemъ ли ее, а то занесетъ и, чего добраго, заморозить!

Онъ самъ еще не высвободился изъ-подъ лошади, а уже хлопоталъ о ней. А инородцы точно сгинули за снѣжной завѣсой.

— Вотъ такъ. Не надсадитесь, братъ Михаилъ.

— Ничего!

— Нѣтъ, не ничего: юны, вѣдь, и силъ мало. Теперь я самъ... хорошо... ну, такъ... цѣлы кости—слава Богу! Съ отцомъ Стефаномъ въ позапрошломъ году хуже было... расскажу послѣ, если Господь сохранить. Теперь лошадь потянемъ.

И тянули, поднимали изъ всѣхъ силъ, стараясь поставить ее на ноги, чего и достигли съ великимъ трудомъ.

— Не сяду я; устала она. Побредемъ, братъ Михаилъ... Залѣзайте на свою лошадь, и впередъ.

— Вамъ сѣсть нужно: ногу вамъ отдала лошадь, а я пойду; вы старше и измучились болѣе моего!—сказалъ твердо младшій.

— Не послушалъ бы, возропталъ, да правда ваша: не могу ступить, неловкость какая-то... Я о сѣдло обопрусь, разомнусь, можетъ-быть.

— И не думайте,—съ энергіей взялъ его младшій.—Обопритесь на меня, пожалуйста; я посажу васъ.

И молчаливо посадивъ на сѣдло старшаго, побрелъ, ведя за собою лошадей,—свою и хромавшаго коня о. Василія.

Буря слѣпила глаза, гудѣла, металась и вертѣла снѣжные столбы, а вой ея печальной нотою звучалъ въ ушахъ миссіонеровъ:

— У-у-у-у-у-у.

Михаилъ Андреевичъ спотыкался, падалъ, опять вставалъ и шелъ, шелъ, таща за поводъ лошадей, тоже оступавшихся, измученныхъ, а впереди не было свѣту, точно въ гигантскомъ котлѣ гудѣла одна буря, проглотившая ихъ спутниковъ-инородцевъ.

— Братъ Михаилъ, трудно?—спрашивалъ о. Василій.—Промокъ ты!

— Ничего, ничего! Вы точно застонали?

— Такъ я; лошадь меня придавила бокомъ... ногу задѣ-

ла. Сшибъ я ее, должно быть, да это пустяки! Темнота какая наступила! Жаль, если погибнемъ... жизни твоей молодой жаль, Михаилъ Андреевичъ... моя почти отжита.

— Господь сохранить!—холодѣющими губами, совсѣмъ сморенный усталостью, сказалъ младшій.—Вотъ тѣ гдѣ? А если они погибли тутъ же гдѣ-нибудь?

— Они—горныя птицы: лучше нашего въ дорогѣ разберутся и среди этого ужаса... они уже, навѣрное, въ Таштѣ.

— Это хорошо!—радостно сказалъ Михаилъ Андреевичъ.—Дѣти у нихъ.

И опять, послѣ этихъ словъ, брели въ молчаніи измученные кони, и юный сотрудникъ, и старшій, едва сдерживавшій боль, ломившую ногу, стараясь не стонать, заледенѣвшими руками хватаясь за нее.

— Точно колокола, о. Василій?!—Опять среди жуткаго воя бури сказалъ молодой голосъ.—Слышите?

— Это буря!—повышая голосъ отвѣчалъ ему изъ мглы старшій.—Это буря, другъ мой. Жаль мнѣ васъ, такого молодого! Моя жизнь была одна печаль: я всѣхъ схоронилъ, что было мнѣ дорого: а все-таки жаль жизни... Ваню жаль, племянника, любимаго сына о. Стефана... Но я уже жилъ, а вы?...

— А я?.. Господи, ну что же?—ясно и безъ страха отвѣтилъ молодой.—Кто знаетъ, что жизнь дастъ? Мы на посту, на дѣлѣ погибаемъ, Господь видитъ.

И свѣтлое выраженіе ложится на лицо старшаго.

— Да правъ братъ Михаилъ. „Небо и земля прейдутъ, но слова Господа не прейдутъ“, а Онъ сказалъ: „Если кто душу положить за други своя“...

И сталъ молиться громко, ясно, безъ страха:

— Господи, пріими нашъ трудъ малый и насъ самихъ, наши души, открытыя Тебѣ... прими насъ!

И младшій съ невыразимымъ упованіемъ повторилъ:

— Прими насъ!

Лошадь остановилась: она дрожала мелкою дрожью и готова была пасть, а кругомъ была мгла жуткая, мрачная, густой завѣсой закрывшая все, и буря гудѣла, мечта колющій свѣтъ въ лица путниковъ, чьи руки обледѣнѣли, и застывали тѣла.

— Въ руцѣ Твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю духъ мой!—сказалъ старшій съ твердою вѣрою слабѣющимъ голосомъ, а младшій, припавшій къ его рукамъ и ставшійся согрѣть ихъ своимъ дыханіемъ, повторилъ нѣсколько разъ послѣднія слова: „предаю духъ мой“, чувствуя, что цѣпенѣтъ.

И вдругъ среди тьмы и хаоса бури слышался собачій лай, совсѣмъ близко, сбоку, и этотъ лай заставилъ лошадей дрогнуть и встрепунуться, а сердца двухъ людей, покорившихся своей участи, забиться надеждою.

— Неужели тамъ жилье?—вспыхнула энергія у старшаго.—Братъ Михайлъ, иди: у тебя еще есть силы... иди туда налѣво, а меня оставь, не движется лошадь, и мнѣ не дойти... чувствую я.

— Вмѣстѣ!—сказалъ тотъ въ отвѣтъ, и непреклонной рѣшимостью зазвучалъ его голосъ.—Погибнемъ,—такъ оба. Дойдемъ: можетъ-быть, лошадь всѣ силы соберетъ, а другую я отпущу... она не отстанетъ.

И, дѣйствительно, животное почувствовало инстинктомъ, что спасеніе близко, напрягло силы; шагъ-два... Тихо брели они во мглѣ, пока лай не раздался совсѣмъ близко, тутъ и сквозь бурю мелькнулъ спасительный огонекъ.

— Ташта!—оба разомъ перекрестились они.—Ташта! Да, да!

И черезъ нѣсколько минутъ очутились уже во дворѣ убогой избушки, точно снова рожденные, вырвашіеся отъ смерти въ алтайской долины и отъ холодной поденѣжной могилы.

III.

Слабо мигалъ огонь въ очагѣ, освѣщая вспыхивающимъ пламенемъ убогія стѣны бѣднаго жилища. О. Василій, вытянувшись, лежалъ на ложѣ; его нога ныла, но на сердцѣ было хорошо и тепло. Ему вспомнились пережитые часы, долгіе и страшные, его ухо ловило шумъ бури, бушевавшей за стѣнами жилища, и онъ долгимъ взглядомъ глядѣлъ на брата Михаила, стомленного усталостью и спавшаго на полу, прикрывшись шубой. Онъ думалъ о тѣхъ минутахъ, когда холодющія уста юнаго сотрудника старались согрѣть его руки, и слезы набѣгали на его красивые, умные глаза, туманя ихъ.

Да, гибель заглянула имъ въ глаза, и они оцѣнили

другъ друга и узнали въ тѣ страшныя минуты; а ихъ спутники-инородцы храпѣли во-всю, тоже прибрѣдшіе въ Ташту гораздо ранѣе ихъ. Они встрѣтились съ ними случайно въ избѣ гостепріимнаго крещенаго инородца.

Буранъ утихъ, оставивъ слѣды свои въ деревнѣ и на полѣ, утихла и нога о. Василія, и рано, чуть забрезжилъ день, онъ и его спутникъ уже собрались въ отъѣздъ. Имъ запрягли гусемъ сани, такъ какъ старшій миссіонеръ не могъ ѣхать верхомъ, и оба путника вышли на улицу. День разъяснѣлъ, но вся Ташта тонула въ снѣгу, точно зимою, такая маленькая и ничтожная, темнѣя юртами и рѣдкими избами. казавшимися особенно крохотными среди большихъ горъ. Три плохія заморенныя лошади, запряженныя одна за другой, едва въ состояніи были идти, и Михаилъ Андреевичъ попросилъ себѣ лыжи.

— Погоди, и я смогу взойти на гору,—сказалъ о. Василій.—Да, смогу; буду двигать ногами, не разгибая колѣна лѣваго, ушибленнаго.

И они направились на гору, взбираясь на которую, лошади падали и скользили.

— Ну какъ и мы такъ же заскользимъ?—говорилъ о. Василій.—Такъ, братъ Михаилъ... назадъ поѣхали... Ну, что же, опять?

И, взбираясь, скользя, скатываясь, они пробились съ подъемомъ часа два.

— Придется на салазкахъ!—съ сокрушеніемъ сказалъ о. Василій.—А жаль коней, да что же дѣлать? Опять нога заныла. Садись, братъ Михаилъ.

Кони едва шли, и миссіонеры переговаривались съ проводниками.

— Ёдемъ такъ же, какъ изъ Кобыжака вчера,—шутилъ о. Василій и серьезно сказалъ:—Ну, и буря была, я и въ Алтаѣ рѣдко видалъ такія. Помню, какъ разъ о. Стефанъ изувѣчился: ѣхалъ, ѣхалъ ночью послѣ бури, и ухнула лошадь у него въ сугробъ; онъ ногу выдернулъ изъ стремени, она сверху сугроба и задержалась, а сугробъ былъ такой, что отъ сотрясенія внезапно задранной ноги лопнула кожа въ паху, и сдѣлалась у него грыжа. Да, буря шутить нехорошія шутки на Алтаѣ. А сегодня день какой!

И оба они, забывъ о смерти, глядѣвшей имъ въ глаза прошлымъ днемъ, пѣли, коротая досугъ, духовныя вещи по просьбѣ провожавшихъ ихъ людей и вздохнули радостно, когда изъ-за кустовъ сталъ показываться верхній Карагушъ, пріютившій ихъ, усталыхъ и измученныхъ; они съ грустью подумали, что нужно разѣхаться тутъ, чтобы отправиться по мѣстамъ. Ночь захватила ихъ на пути, гдѣ они должны были разстаться. Она была, въ противоположность прошлой, теплая, снѣгъ таялъ, и небо было чисто отъ тучъ. Звѣзды осыпали это весеннее небо, синее, прекрасное и смотрѣли на двухъ людей, чьи дороги расходились.

— Поклонъ Стефану Васильевичу, матушкѣ, дѣтямъ,— говорилъ старшій.— Въ гости ко мнѣ на досугъ въ Майму... вотъ на Пасхѣ. Пріѣдете, другъ мой?

— Пріѣду!—съ охотою откликнулся младшій.— Храни васъ Богъ, о. Василій.

И они разстались и исчезли изъ глазъ другъ друга среди величавыхъ оснѣженныхъ горъ, такіе маленькіе, въ сравненіи съ ними, тѣломъ и такіе великіе въ невѣдомомъ міру смиренномъ трудѣ, о которомъ забывали, свершивъ его.

Звѣзды сіяли надъ Алтаемъ, звѣзды свѣтили имъ, мѣсяцъ Курюк-ай бралъ верхъ надъ зимою и морозомъ, вчера старавшимся натѣшиться вволю, теплый мѣсяцъ Курюк-ай, въ который расцвѣтаютъ на алтайскихъ горахъ бѣлыя койчечки.





...у насъ говорливая рѣка, абызъ, такая быстрая...



Божій слуга.

(Изъ записокъ сотрудника Алтайской миссіи, священника Василя Вербицкаго).

Зимою 1857 года пришли они ко мнѣ—оба изъ айла Ужлэпа, оба юные, не старше девятнадцати лѣтъ, и ихъ взглядъ, полный мысли, задумчивый и кроткій поразилъ меня.

Было очень холодно. Стоялъ январь, и я привелъ ихъ къ огню, пылавшему въ печи, только что затопленной мною, и спросилъ по-алтайски, зачѣмъ они пришли ко мнѣ.

— Мы пришли креститься, абызъ,—сказалъ по-русски одинъ изъ нихъ, высокій юноша.—Меня зовутъ Дэнишкэ, и я могу говорить на твоёмъ языкѣ, а онъ хотя гово-

рить мало,—указалъ онъ на товарища,—но все понимаетъ. Мы изъ Ужлэпа... Ты знаешь нашъ айлъ?..

— Въ Алтаѣ много айловъ,—сказалъ я,—и мнѣ приходилось бывать въ нихъ, но вашего я не помню... Кто-нибудь говорилъ вамъ о Господѣ Богѣ, если вы пришли искать крещенія?

У нихъ заблестали глаза, и ихъ лица стали красивыми, освѣтившись свѣтомъ вѣры.

— Мы знаемъ о Богѣ,—скромно, но убѣдительно сказалъ старшій.—Вѣдь онъ приходилъ къ намъ лѣтомъ, тотъ, кто научилъ насъ Его любить... такой молодой, добрый. У него было лицо, какъ лицо свѣтлаго духа, и говорилъ онъ... ахъ, какъ говорилъ намъ съ Кобрахомъ о томъ, какъ любить Господъ крещенныхъ людей, потому что Онъ имъ Отецъ, и какъ хорошо быть дѣтьми такого Отца!.. Онъ говорилъ, что только Ему принадлежитъ Алтай и вся земля, небо, звѣзды и солнце, что Онъ все знаетъ и не любитъ злыхъ, что некрещенные не будутъ Его дѣтьми... Когда померкнуть очи людей,—говорилъ онъ намъ,—и смерть возьметъ ихъ, то для Своихъ дѣтей Онъ готовитъ жизнь свѣтлую и прекрасную у Себя, а некрещенные не придутъ въ ту страну, гдѣ не будутъ они жить никогда: ихъ возьметъ діаволъ, который будетъ ихъ мучить и самъ мучиться съ ними... Какъ онъ говорилъ, отецъ!.. Мы бросили охоту и приходили къ нему, но онъ ушелъ, потому что не могъ быть всегда съ нами: онъ послалъ насъ къ абызамъ, и мы болѣе не дождались его. Тогда мы захотѣли найти другого, чтобы, какъ онъ говорилъ, насъ крестили, и нашли тебя, абызъ.

Я видѣлъ, что ихъ души открылись для вѣры, и спросилъ ласково:

— Почему онъ не пришелъ къ вамъ опять?

— Не знаю,—сказалъ съ грустью Дѣнишкэ.—Онъ сказалъ намъ молитвы, и мы учили ихъ тайкомъ, ходя къ крещенымъ, жившимъ отъ насъ за двумя горами.

И онъ прочиталъ нѣкоторыя краткія молитвы, а другой повторилъ ихъ толково и ясно.

Въ миссіи у насъ было немного народа: я зналъ всѣхъ и, перебравъ ихъ въ умѣ, спросилъ у него:

— У него,—того, кто училъ васъ, были темные глаза и волосы вились на головѣ?.. У него молодое лицо и кроткій голосъ?..

Они оба быстро отвѣтили, глядя на меня съ мольбою:

— Ты его знаешь, абызъ?

— Не знаю,—сказалъ я,—а можетъ быть и знаю. Сначала я васъ накормлю, а потомъ вы расскажете мнѣ, какъ вы увидали его.

Они торопливо поѣли, очевидно, не желая обидѣть меня отказомъ, и, пока мой сотрудникъ грѣлъ намъ чай, Дэнишкэ живо заговорилъ:

— У насъ говорливая рѣка, абызъ, такая быстрая: падаетъ съ камней и журчитъ, журчитъ, убѣгая по долинѣ... Я и Кобрахъ всегда отдыхали около нея, подъ кустами, какъ воротились съ охоты... мы—звѣроловы, и птицъ бьемъ, и ловимъ въ силки... нашъ отецъ тоже звѣроловъ... Лежимъ такъ въ одинъ день и слушаемъ рѣку: я Кобраха по-русски учу... онъ всегда въ аилѣ, а я далеко съ отцомъ ѣздилъ съ пушниною (шкуры убитыхъ звѣрей) и научился болтать, какъ сорока по русски. Онъ мнѣ и говоритъ: „у нихъ все не такъ, какъ у насъ“.— „Не такъ,—говорю,—у нихъ есть дома, съ которыхъ звонъ летитъ, въ которыхъ они Кудаю молятся“, а онъ говоритъ: „зато у нихъ богатырей такихъ нѣтъ, какъ у насъ, и наши Ульгень и Эрликъ лучше ихъ Бога... у насъ много боговъ—говоритъ... у насъ каждый родъ еще и своего бога имѣетъ и каждая семья Баштут-хана... Хорошо у насъ“. Такъ все и говоримъ—о жертвахъ, о камланѣ, и договорились, что у насъ боги жадные... это—я, а онъ заступается и грозитъ... „Ой, однако тебя Кара-немэ услышатъ“... И тутъ мы, абызъ, въ первый разъ его голосъ услышали, не видя его самого.

— „Не бойся ихъ!“—сказалъ онъ мнѣ.

— И изъ-за кустовъ появился передъ нами свѣтлый и добрый, въ такой же одеждѣ, какъ у тебя, съ широкимъ поясомъ, такой же тонкій, какъ Кобрахъ, и молодой, какъ мы. Мы подумали сперва, что Ульгень послалъ къ намъ Ак-немэ, но онъ, сѣвъ около насъ, сказалъ:

— „Я человѣкъ такой же, какъ и вы; я сынъ моего Небснаго Отца и хожу по землѣ для того, чтобы спасти моихъ братьевъ отъ Курюмеса“.

— Онъ говорилъ по-алтайски такъ же, какъ и мы, и Кобрахъ придвинулся къ нему, глядя на него и забывъ о нашемъ спорѣ, а онъ, смотря на горы, залитыя солнцемъ, сталъ намъ говорить своимъ яснымъ голосомъ о великомъ

Кудаѣ, Который сдѣлалъ изъ ничего большой огромный Алтай, всю землю за нимъ, засвѣтилъ солнце на небѣ и мѣсяцъ, о Кудаѣ, Чьи руки затеплили звѣзды и сдѣлали человѣка... О, абызъ, какъ онъ говорилъ!

— Ночь спустила свои тѣни, потухла вечерняя заря, заблестѣли звѣзды, а онъ все еще рассказывалъ намъ о великомъ народѣ, о потопѣ, и дошелъ до того, какъ люди ждали на землю Бога. Мы умоляли его пойти съ нами, но онъ, спросивъ, откуда мы, сказалъ, что въ нашемъ айлѣ его утромъ приняли враждебно, и общалъ на завтра опять ждать насъ у рѣки... У насъ глухо, абызъ... у насъ и медвѣди и рысь ходятъ по лѣсамъ, а волки скалятъ свои зубы изъ-за кустовъ даже и днемъ. У него не было съ собою ни лука, ни ружья, даже ножика не имѣлъ онъ. Намъ тяжело было уходить отъ него, и мы плохо спали въ айлѣ, гдѣ отецъ ворчалъ на насъ за то, что мы ничего не принесли изъ лѣса и не осмотрѣли силки. Ему мы ничего не сказали о томъ, съ кѣмъ были день, и въ заботѣ провели ночь... По утру намъ не удалось рано уйти изъ аила, хотя насъ тянуло къ нему, а отецъ сердился и ворчалъ, о чемъ-то шепчась съ дядей Кобраха и его матерью... Моя мать сказала мнѣ, когда я сталъ собираться, что дѣла много и въ айлѣ, и оставила меня, но Кобрахъ ушелъ...—Ты понимаешь нашъ языкъ, абызъ?.. Вотъ Кобрахъ скажетъ, что было.

— Я нашелъ его у рѣки—быстро продолжалъ Кобрахъ.— Онъ грустно посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— „Ты одинъ?“

— Но сейчасъ же улыбнулся, когда я объяснилъ, что Дэнишкэ не пустили, и что ему хотѣлось итти. Онъ сталъ со мною опять говорить, абызъ, и рассказалъ, какъ Богъ, жалѣя людей, уходящихъ въ тѣму, послѣ того, какъ Улюмъ приходила къ нимъ, послалъ на землю Своего Сына.

— Это былъ Христосъ, абызъ!—затрепетавшими губами быстро сказалъ Дэнишкэ.

— Да, это былъ Христосъ!—подтвердилъ Кобрахъ съ благоговѣніемъ.—Онъ рассказалъ мнѣ, какъ Христосъ родился отъ чистой Дѣвы и росъ въ бѣдности, онъ рассказалъ, какъ надъ Его пещерой горѣла звѣзда, и мудрые изъ далекой страны шли Ему поклониться... о свѣтлыхъ духахъ, слугахъ

Бога, пѣвшихъ на небѣ, о всемъ, и я тогда вскричалъ:—почему тебя не слышитъ Дэнишкэ?

— Его лицо отуманилось и онъ сталъ передо мною.

— „Пойдемъ къ нему“,—сказалъ онъ.—„Если Дэнишкэ хочетъ меня слушать и не можетъ притти сюда, я пойду къ нему!“...

— И запѣлъ, какъ поютъ на зарѣ птицы, что-то свѣтлое и красивое на вашемъ языкѣ... Угрюмо встрѣтили насъ въ айлѣ, залаяли науськанныя собаки, но я отогналъ ихъ. Дэнишкэ не было видно, но его отецъ и мой дядя—все наши угрюмые и злые—подошли къ намъ.

— „Чего тебѣ надо?“—закричалъ на него отецъ Дэнишкэ, —показалъ на товарища Кобрахъ.

— Тогда онъ печально улыбнулся.

— „Въ Алтаѣ есть хорошіе обычаи!“—сказалъ онъ.—„Но въ вашемъ айлѣ, видно, не знаютъ ихъ: гость, который переступилъ за черту аила, уже не гость здѣсь... можетъ быть, здѣсь не алтайцы живутъ? Вчера на меня натравили собакъ, а сегодня, когда этотъ юноша угналъ ихъ, вы хотите встрѣтить меня побоями, но я не уйду пока, потому что нашелъ желающихъ послушать меня, которыхъ не было вчера“.

— Отцу Дэнишкэ стало стыдно: они отошли все и оставили его въ айлѣ, но дядя погрозился мнѣ... Тогда онъ посмотрѣлъ на меня печально и сказалъ:

— „Иди къ твоему товарищу, скажи ему, что черезъ семь дней я опять приду къ вамъ въ вершину рѣчки и стану говорить съ вами... Здѣсь я могу подвести тебя, и, смотри, они не выпустятъ его“.

— Наши все столпились у юрты и не шли отъ нея.

— „Иди къ нимъ, махни на меня рукою... И ложь иная во спасеніе бываетъ... А я уйду. Скажи другу—я приду черезъ семь дней... и не говори обо мнѣ ни съ кѣмъ, тогда здѣсь люди ваши ожесточенные забудутъ обо мнѣ“.

— Я такъ и сдѣлалъ, какъ онъ велѣлъ. Мы видѣли, какъ онъ ушелъ въ лѣсъ на радость нашихъ и на горе Дэнишкэ, который, какъ и я, тянулись за нимъ дуемою: его нельзя было забыть, абызъ... его слова, какъ огонь, зажигали наши сердца, они трепетали въ умѣ, и ихъ хотѣлось слушать еще.

— Родные скоро успокоились... Дня три они слѣдили за

нами, но, когда увидали, что мы никуда не рвемся, охладѣли къ заботѣ а тутъ случилась байга, и мы снова получили свободу дѣлать, что хотѣли. Первый увидалъ его Дэнишкэ.

— Я каждый день ходилъ въ вершину рѣки,—сказалъ тотъ,— и на седьмой день увидѣлъ его: онъ сидѣлъ подъ кустами, и книга лежала у него на колѣняхъ. Онъ глядѣлъ куда-то своими глазами и не видѣлъ, какъ я приблизился къ нему... Лицо у него было такое же чистое, какъ вода горной рѣки, а мнѣ подумалось, что онъ молится своему свѣтлому Богу... Я подошелъ и поклонился ему только тогда, когда онъ опустилъ голову надъ книгою,—я боялся его потревожить... вѣдь, Великій Духъ слушалъ его. Онъ, увидавъ меня, обрадовался мнѣ и сказалъ:

— „Я радъ, что ты пришелъ... но гдѣ же другой?“...

— И другой придетъ скоро,—поспѣшилъ я успокоить его, видя, что онъ мгновенно опечалился.—Мы ждали тебя къ ночи: тебѣ далеко, навѣрное, было идти... русскіе живутъ отъ насъ въ отдаленіи.

— Но онъ только улыбнулся.

— „Господь съ небесъ приходилъ, чтобы спасти погибающихъ; мнѣ только пали пути земныя... На заимкѣ у русскихъ, знаешь, я оставляю лошадь: тутъ, вѣдь, недалеко“.

Я зналъ, что до заимки былъ день и ночь пути, и пожалѣлъ его такого небольшого и слабого. Мы сѣли, отойдя въ сторону горы, къ камнямъ, и онъ, глядя на воду, сказалъ мнѣ:

— „Смотри, какъ она бѣжитъ, ясная, чистая... видишь тотъ камень, нависшій надъ нею?—онъ скоро упадетъ, потому что вода его подточила... Такъ слова людей-абызовъ, пришедшихъ въ Алтай посланниками Бога, создавшаго міръ, подточатъ старую темную вѣру, и исчезнетъ она, уйдутъ камы, и по Алтаю зазвонятъ колокола... Мнѣ больно за души вашихъ близкихъ: они и сами не хотятъ спасенія и вамъ загораживаютъ его... Я ушелъ чтобы не ожесточить ихъ“...

— И много говорилъ намъ, когда пришелъ Кобрахъ. Его слова дѣлали наши души мягкими и добрыми. Мы поняли, что наша вѣра темна, наши жертвы—жестокость и наши камы—обманщики и лжецы, что они служатъ Курюмесю, и нѣтъ ни Ульгена, ни Эрлика,—а есть только одинъ Вѣчный Богъ, Который любить всѣхъ людей на землѣ и зоветъ къ Себѣ, какъ своихъ дѣтей.

— Намъ никто не мѣшалъ: мы сдѣлали ему шалашъ изъ вѣтвей, потому что пошли дожди. И четыре дня онъ былъ съ нами... Не разводя огня, проводилъ онъ ночи, потому что не хотѣлъ, чтобы о немъ узнали, пока онъ насъ не научить, и на пятый день сказалъ намъ съ грустью, что долженъ идти къ другимъ... Онъ велѣлъ повторять тѣ молитвы, которымъ научилъ насъ, и ходить учиться имъ въ аилъ за двумя перевалами, гдѣ жила крещеная семья. Мы заплакали, узнавъ, что онъ уходитъ, и просили его сказать намъ, какъ его зовутъ, но онъ этого не сдѣлалъ: онъ сказалъ, что его зовутъ—Божій слуга, велѣлъ намъ искать абыза, утѣшилъ, обласкалъ и ушелъ, не велѣвъ себя провожать. А съ тѣхъ поръ мы его не видали... Потихоньку отъ своихъ мы стали ходить къ новокрещенымъ и рѣшили, какъ только наступить мѣсяцъ Чан-ай, идти искать абыза. Разъ на охотѣ мы услышали о томъ, кто приходилъ къ намъ... Заѣхали въ незнаемый аилъ, гдѣ разговорились съ дѣтьми стараго кама... Они тоже учились молитвамъ тайкомъ и рассказали, что ихъ научилъ молодой свѣтлый человѣкъ, похожій на абыза. Потомъ у Катунѣ, въ глухой тайгѣ, мы тоже услышали о немъ: это было повыше Тельдекмена: мы ѣздили туда къ роднымъ. Тамъ онъ вылѣчилъ больную старуху, и она и дочь ея ушли въ станъ креститься... Но самого его намъ не могли указать: онъ, какъ Ак-немэ, ходилъ по Алтаю... Не даромъ назвалъ онъ себя Божымъ слугою, слугою Великаго Духа... Великій Духъ былъ съ нимъ.

— Въ мѣсяцъ Чан-ай искать тебя, абызъ, намъ не удалось: началась охота, и родные все такъ же косились на насъ, но намъ было тяжело жить въ аилѣ, словно его голосъ звалъ насъ: идите, идите... И мы пошли нарочно сюда, услыхавъ о тебѣ, чтобы за нами не кинулись въ погоню. Теперь наши ищутъ насъ по станамъ, но мы не пошли ни въ Улалу, ни въ Чемаль.

— Еще,—сказалъ Кобрахъ,—намъ сказали, что его видѣли въ Улалѣ, но мы были тамъ осенью съ своими и не нашли его.

Мнѣ сразу подумалось, что ихъ учитель былъ нашъ сотрудникъ—Невскій ¹⁾, юноша съ горячимъ сердцемъ, но онъ постоянно былъ на дѣлѣ при миссіи и не могъ бродить по далекимъ аиламъ, такъ какъ имѣлъ мало досуга... Кто же былъ этотъ Божій слуга, чья душа томилась о подвигѣ и чьи ноги

¹⁾ Невскій, нынѣ митрополитъ московскій.

обтекали глухіе углы Алтая, ища для Господа людей? Съ моими гостями легко было заняться: они все понимали быстро... такъ крѣпко посѣяны были въ нихъ первыя сѣмена, пустившія ростки глубоко. Я, не утомляя себя подборомъ словъ, говорилъ по русски Дэнишкѣ о истинахъ вѣры, и онъ, живо и съ увлеченіемъ, передавалъ мои слова Кобраху. День ихъ крещенія былъ для нихъ днемъ свѣтлой радости: они съ ясными лицами приступили къ таинственной купели, и Дэнишкѣ, нареченный Іоанномъ, на вопросъ; сочетаваешься ли Христу? никѣмъ не предупреждаемый, отвѣчалъ троекратно:

— Сочетаваюся Истинному Богу Іисусу Христу.

У меня на сердцѣ была большая радость, потому что это было истинное пріобрѣтеніе церкви Христовой, и я благословилъ невѣдомаго человѣка, спасаго эти двѣ души.

Кобрахъ, или Григорій, вернулся домой къ престарѣлой матери, желая и ее привлечь къ вѣрѣ, а Іоаннъ остался со мною, и только позднѣе уѣхалъ въ родной аилъ, общая пріѣхать ко мнѣ скоро.

Наступилъ мартъ, и ко мнѣ пріѣхалъ на помощь братъ Михаилъ Невскій, по распоряженію, изъ Улалы. Мы съ нимъ условились такъ: онъ за недѣлю уѣзжалъ въ дальніе аилы крещеныхъ и готовилъ ихъ къ причащенію, а я, пріѣжая, причащалъ ихъ, уже приготовленныхъ къ принятію Таинства.

Въ одинъ день на моемъ пути меня догналъ Іоаннъ: онъ узналъ, что я близко около ихъ аила проѣду, и пріѣхалъ вмѣстѣ съ бывшимъ Кобрахомъ... Наша встрѣча была радостна. Іоаннъ сообщилъ мнѣ, что привезетъ креститься сестру, что и отецъ его, хворавшій эту зиму, хотя и сердится на него, но не такъ уже клянетъ за крещеніе, а мать Кобраха колеблется и скоро склонится принять новую вѣру... Они, переночевавъ со мною, поѣхали до аила, гдѣ ждали насъ оглашенные, и тѣ, что готовились къ принятію святыхъ Таинъ, куда я еще вечеромъ наканунѣ послалъ сказать, что пріѣду къ ночи на завтра.

Послѣ бури, не рѣдкой въ Алтаѣ, въ которой уходящая зима тратитъ послѣднія силы, очищая путь веснѣ, наступила оттепель, и розовый закатъ озарялъ горныя вершины. Въ долинахъ еще не стемнѣло: благодаря поздней веснѣ,—онѣ, еще полныя снѣга—тоже полны были розовыхъ тоновъ. Мы ѣхали тихо и близились къ цѣли, разговаривая между собою, когда

изъ-за поворота отъ горы, почти на насъ, немного забирая влѣво къ горной тропѣ, выѣхалъ одинокій всадникъ безъ проводника.

Іоаннъ сразу замолкъ, увидавъ его, а я узналъ въ немъ брата Михаила, уѣзжавшаго, видимо, въ другой аилъ. По нашему условію мы были должны встрѣтиться, и я писалъ ему еще наканунѣ, что приѣду вечеромъ съ Кобрахомъ и Дѣнишкѣ-Іоанномъ, о которыхъ говорилъ ему ранѣе. Теперь я удивился, увидавъ, что онъ не дождался меня и хочетъ свернуть на горную дорогу, словно избѣгая насъ.

— „Братъ Михаилъ!“—крикнулъ я.

Онъ медленно остановилъ двинувшуюся наскоро лошадь.

Я поѣхалъ къ нему быстро, но мои спутники перегнали меня. Они оба спѣшилися около него, взяли его руку, кланяясь ему съ взволнованными лицами, и я услышалъ ихъ слова, подѣвжая:

— „Добрый нашъ, мы тебя искали вездѣ и нашли, слава Богу... У насъ въ аилѣ тебя теперь не прогоняютъ: приходи, учи... Какъ мы тебѣ рады... Гдѣ ты ходилъ? Кого спасалъ для Бога“?..

Они говорили, перебивая другъ друга, а онъ сидѣлъ, полный смущенія, стараясь не смотрѣть на меня, и сказалъ своимъ тихимъ голосомъ, обращаясь ко мнѣ:

— „Простите отецъ Василій, что я не дождался васъ: тамъ все сдѣлано, а въ вершинѣ Карасука есть больные.

— „Простите меня,—наклонился онъ къ молодымъ новокрещенымъ,—я радъ за васъ... я приѣду къ вамъ, но теперь мнѣ нужно спѣшить... Простите меня“...

И, подогнавъ коня, быстро поѣхалъ по каменистой оснѣженной дорогѣ, озаренной розовыми тонами заката.

А мои новокрещенные, снявъ шапки, смотрѣли ему вслѣдъ съ радостными лицами, не садясь на лошадей, пока онъ, не оборачивая къ намъ лица, не скрылся подъ густыми темными соснами.

У меня шибко билось сердце, и слезы просились на глазахъ...

— „Такъ вотъ кто былъ Божій слуга, смиренно скрывавшій свой подвигъ и не хотѣвшій пожинать плодовъ своего труда“?!.. Я понялъ его ранній отъѣздъ: онъ ждалъ насъ только позднимъ вечеромъ и узнавъ, что со мною ѣдутъ тѣ, души которыхъ онъ привлекъ ко Христу, поспѣшилъ уѣхать, чтобы никто не узналъ объ его смиренномъ подвигѣ, которому онъ отдавалъ дни досуга. Теперь я вспомнилъ, что и другіе мис-

сіонеры говорили о случаяхъ подобныхъ моему, и благословилъ имя нашего молодого сотрудника. Мнѣ подумалось, что такіе будутъ свѣточами юной миссіи нашей, и изъ него выйдетъ лучшій апостолъ Алтая...

А мои спутники тихо говорили между собою съ довольными лицами:

— „Слава Богу, увидали его—пріѣдетъ къ намъ: общалъ... Слава Богу“!

Что дѣлалъ онъ, мы не знали, чѣмъ было полно его сердце, когда прошло его смиренное смущеніе, о чемъ задумался его умъ? Его ждала цѣлая жизнь труда и самоотреченія, и онъ, навѣрное, глядя на небо, на которомъ погасали краски заката, молился Тому, къ Кому привлекалъ души людей, ища и спасая ихъ для вѣчной жизни въ глухихъ аилахъ среди долинъ Алтая. О чемъ была его молитва,—то было невѣдомо намъ, но она, думалось мнѣ, была далека отъ молитвъ другихъ, обремененныхъ жизнью и заботами... Его забота была съ нимъ: въ аилахъ, гдѣ жили полудикіе люди, среди царственной красоты величавыхъ горъ Алтая, и мнѣ подумалось, что онъ отдастъ свою жизнь на служеніе имъ по завѣду Господа Христа, потому что его молодая душа ищетъ подвига жизни...



...гдѣ жили полудикіе люди...



Макарій, архіеп. Томск. и Алтайскій, нынѣ митропол. Московскій.

Изъ записей о жизни былой.

Литургію служили соборнѣ.

Монахъ Михаилъ Невскій въ назиданіе народа читалъ на татарскомъ языкѣ бесѣду Святого Макарія Александринаскаго съ Ангеломъ, объясняющую ученіе церкви о молитвѣ за умершихъ.

О. Стефанъ положилъ перо и прикрылъ дневникъ чистымъ листомъ бумаги, услыхавъ голосъ о. Василия Вербицкаго и голоса другихъ миссіонеровъ, собравшихся въ Улалу и теперь пришедшихъ на засѣданіе.

— „Допишу послѣ... кто знаетъ“, — подумалъ онъ, — „можетъ быть потомъ къ исторіи Миссіи записки мои пригодятся. О. Николай пишетъ, что любитъ письма мои, интересуются добрые люди страной нашей далекой, а она не даромъ прекрасна“.

И вышелъ. привѣтствуя кучку собравшихся для совмѣстнаго чтенія годичнаго отчета членовъ молодой Миссіи.

Тутъ были почти всѣ представители ея, со всѣхъ концовъ собравшіеся сюда: сухощавый о. Акакій, о. Александръ Гусевъ, іеродіаконъ Смарагдъ, церковно-служители Быстрицкій и Мухинъ, монахъ Дометіанъ, о. Арсеній Ивановскій и молодой рясофорный монахъ Михаилъ Невскій съ юнымъ, красивымъ лицомъ и вдумчивыми глазами: онъ разговаривалъ съ отцомъ Василиемъ Вербицкимъ, Кебезенскимъ ученымъ миссіонеромъ, который любилъ науку и литературу такъ же, какъ Алтай, на служеніе которому отдалъ свое сердце и перо.

— Миръ вамъ!—привѣтствовалъ ихъ своимъ тихимъ голосомъ о. Стефанъ,—а я сей часъ о. Николаю ¹⁾ въ Москву писалъ дневникъ свой: интересуются тамъ, слава Богу, Миссіей нашей.

— О чемъ рѣчь ваша, другъ мой, отецъ Василій?

— О бѣднотѣ алтайской говоримъ... кажется, всѣ мы не богачи, но юнаго нашего товарища поражаетъ она такъ же, какъ насъ всѣхъ вначалѣ поражала: среди роскоши природы эти люди слабые, суевѣрные, хилые—для него ужасающій контрастъ. Такъ, вѣдь, мой другъ?

— Да,—сказалъ тотъ горячо,—сколько ихъ нашло сегодня... я съ ними толковалъ о нуждахъ ихъ, и грустно было, что, несмотря на скромныя просьбы ихъ, не могъ отецъ протоіерей всѣмъ помочь, потому что, дѣйствительно, всѣ мы имѣемъ такъ мало.

— Да,—задумался о. Стефанъ Ландышевъ,—гдѣ находить средства на пропитаніе ихъ, если не имѣть надежды на Бога? Какая нужна помощь, чтобы на ноги поставить Якова Никитина съ его четырьмя малютками и старой матерью, а мы могли имъ отпустить только хлѣба! Мнѣ было тяжело слушать, отцы, когда Чуньдзудекъ, во имя Іисуса Христа, которое уже выучилась произносить, полунагая, трясясь отъ холода, просила шубу! Хорошо, что Агрипина Іоновна моя могла ее одѣть. Не мудрено, что это подѣйствовало на юнаго брата Михаила... а тутъ еще новые гости явились:

¹⁾ Спиридоновской церкви свящ. Николай Лавровъ.

Ирина, что прїѣхала изъ Южеской волости съ дѣтьми малолѣтними,—всѣ они глазами больны,—и Иванъ Кыджалаковъ... Хорошо что добрая братія Митрофаніевскаго Воронежскаго монастыря прислала намъ денегъ на постройку для нихъ двухъ избъ въ Салгандѣ. Иринѣ я отпустилъ изъ запасовъ моихъ ячменя и муки, а больные глаза братъ Михаилъ промылъ и мазалъ елеемъ. Бѣдные люди!

— Богъ поможетъ,—бодро сказалъ о. Вербицкій,—христіанство ихъ лишаетъ поддержки родныхъ, озлобленныхъ. Мы готовы, что можемъ, дать на нихъ столько, чтобы не обездолжить своихъ, которые ждуть насъ по станамъ.

— Лѣтомъ хотя они пищу имѣютъ обильную,—сказалъ о. Дометіанъ,—Алтай богатъ кореньями разными, ягодами, грибами и птицею... мастера они силки ставятъ.

— Но опять же,—сказалъ о. Стефанъ,—здоровые, а, вотъ, такіе, какъ Чуньджудекъ и слѣпой Антипъ Мироновъ: у него еще и теща слѣпая... у нихъ печальная доля, и мнѣ хотѣлось бы посѣщать ихъ чаще, потому что тутъ нужна помощь еще и духовная: вѣчная тьма страшна!

Онъ не видалъ, какой печалью разгорѣлись глаза молодого брата Михаила, который отошелъ отъ группы миссіонеровъ и слушалъ издали слова о. Стефана.

— Да, спасибо женѣ: она нѣсколько облегчаетъ заботы мои о бѣдныхъ нашихъ,—мягко продолжалъ о. Ландышевъ.—Вашей супругѣ, о. Арсеній, знакомо тоже состраданіе! Вотъ, нашимъ женамъ не дадутъ ни протоіерейства, ни орденовъ за службу, а какіе это хорошіе миссіонеры! Никто только не отмѣтитъ ихъ.

И мягко улыбнулся.

— Да, сколько въ мірѣ подвижниковъ незамѣтныхъ,—тихо говорилъ онъ,—тихо дѣло Божіе вершатъ. Помню, о. Макарій Незабвенный такихъ отличалъ и любилъ особенно... Былъ тогда безызвѣстный въ мірѣ Павелъ Лисицкій, старецъ въ Миссіи изъ ссыльных... что за труженикъ!.. вотъ умѣлъ и хотѣлъ работать человѣкъ... дивиться труду его надо было... бывало, утромъ, чѣмъ свѣтъ всѣмъ слабымъ и больнымъ въ Маймѣ воды наносить незамѣтно, дровъ зимою... случайно попался какъ то человѣку, послѣдившему за трудомъ его, на колѣни упалъ и умолялъ не сказывать никому о томъ, что

тотъ его тайные труды увидѣлъ... „Пустое для меня дѣло,—говоритъ,—работы желаю всегда: безъ нея мнѣ тошно... ради Христа Истиннаго не сказывай“... И послѣ ловили его, ночи безсонныя проводящаго надъ больными... а, вѣдь, старецъ былъ: семьдесятъ лѣтъ!

Матушка съ дочерью подросткомъ внесла самоваръ, и бесѣда потекла дружная, согласная и полная интереса...

— Что же братъ Михаилъ не садится? Садитесь, друзья сюда,—пригласилъ хозяинъ,—готовитесь къ постриженію? Хорошо: самое дѣло монаху безсемейному тутъ опасности переносить, хотя женщины много вносятъ рукою любящей... вспомнить Вальмонтъ покойницу и нашихъ скромницъ... вотъ просфорню,—усмѣхнулся онъ, показывая на помогавшую матушкѣ хромую некрасивую полумонахиню съ глазами ребенка чистыми и довѣрчивыми.

Она не слыхала его словъ, помогая передавать стаканы. Ея озабоченное лицо, опущенное надъ работой, было грустно.

— Что она сегодня такая?—спросилъ жену о. Стефанъ.

— Отъ доброты своей! сейчасъ горевала, что работы много у насъ, и слѣпыхъ посѣщать не можемъ вечерами... жаль ей ихъ одинокихъ: Дарья, вѣдь, уѣхала къ отцу въ аилъ: хвораешь онъ! попровѣдать, и буря ее, видно, не пускаетъ домой... хотѣла Евдокія ихъ помѣстить у себя въ школѣ на время,—некуда, тѣсно: сиротъ понабрала. Вотъ, и горюетъ, а они живутъ за Маймой... нынче, говоритъ, пошла къ нимъ вечеромъ, а собаки чуть было не заѣли... далеко поселилися бѣдныя!.. Какъ свечерѣетъ, они, сказываютъ сосѣди, сидятъ по угламъ и молчатъ, а въ избушкѣ темно, какъ въ могилѣ!.. печальна эта жизнь во тьмѣ вѣчной.

— Да, а силъ нѣтъ помочь: всѣ мы разрываемся на работѣ, а ночью тѣло истомленное покоя ищетъ...

— Вотъ, у насъ завтра оглашать нужно многихъ,—задумался о. Стефанъ,—а ты, братъ Михаилъ, займись завтра съ тербезенемъ этимъ, что крещенія просить... дѣти у женщинъ: Агрипина Іоновна и просфорня учатъ ихъ; да нужно еще въ аилъ съѣздить, отцы: тамъ ждутъ больные; ужасно въ этомъ году лихорадка мучаетъ! цѣлый день, вотъ, помощники мои за больными ходятъ... зима морозная, жилища плохія, пища скверная... и холодно, и голодно бѣднымъ нашимъ.

О. Василиій Вербицкій сталъ говорить о лихорадкѣ и ея лѣченіи плёнкой свѣжаго яйца, не разъ примѣняемаго имъ и всегда съ успѣхомъ, а братъ Михаилъ тоскливо думалъ о тѣхъ, кто теперь сидятъ въ темной, какъ могилѣ, избушкѣ и среди вѣчной тьмы въ жуткой тишинѣ, окружающей ихъ, слушаютъ вой бури.

— „Бѣдныя!.. горькія!“...

— Надо читать, братъ Михаилъ, у васъ голосъ ясный и глаза зоркіе... рассмотрите-ка отчетъ нашъ: я его кое гдѣ подправлялъ, да стали глаза измѣнять, плохо вижу вечеромъ! Прочтите.

Братъ Михаилъ сталъ читать отчетъ, потомъ ему велѣли его переписать на бѣло. И долго сидѣлъ онъ въ кабинетѣ о. Стефана подъ ревъ разбушевавшейся падееры, старательно переписывая листы для отсылки по назначенію. И все-таки въ то время, когда онъ разгибалъ спину для отдыха, представлялася ему одинокая избушка и слѣпые по угламъ въ жуткой темнотѣ не спящіе и слушавшіе ревъ бури.

Сѣздъ проходилъ; всѣ миссіонеры собирались по мѣстамъ, торопясь съ окончаніемъ дѣлъ. Миссія ждала ихъ, созрѣвшая нива требовала жнецовъ, несмотря на бури, несшіяся надъ Алтаемъ, засыпавшія тропы такими обильными снѣгами, что старожилы не запомнятъ подобныхъ давно.

За послѣдніе дни о. Стефанъ хмурился, глядя на брата Михаила.

— Что съ нимъ?—говорилъ онъ женѣ,—похудѣлъ, осунулся, разсѣянный... не такъ уже и къ дѣлу относится: готовности не вижу прежней: шлю въ Салганду, точно испугался, просить: „нельзя ли послѣ бури?“—не похоже на него... это и не пристало миссіонеру бури бояться.

Умные темные глаза Агрипины Іоновны стали задумчивы, и она медленно покачала головой...

— Что нибудь не такъ, отецъ,—сказала она,—его, я сама вижу, забота томить, печаль за кого-то, только о комъ онъ печалится. догадаться не могу...

— Положимъ, заботиться есть о комъ и печалиться тоже,—сказалъ о. Стефанъ.

И оба они покончили объ этомъ разговоръ.

Въ этотъ вечеръ, несмотря на метель, Агрипина Іоновна

рѣшила пойти съ просфорней Евдокіей посѣтить слѣпыхъ, о которыхъ ея сердце болѣло. Михаилъ Васильевичъ Чевалковъ—переводчикъ—пошелъ проводить ихъ.

Было уже поздно: матушка, только уложивъ дѣтей, могла уйти изъ дома и спѣшила, переговариваясь съ Евдокіей.

— Тяжело идти тебѣ?—поддерживала она хромую,—ну, и буря! вой этотъ жалобно хватаетъ за душу... Посылалъ ли имъ сегодня ѣду, Михаилъ Васильевичъ?

— Вчера самъ ходилъ къ нимъ,—отвѣтилъ онъ,—жена и ребятишки самого уѣхали въ аилъ къ роднымъ давно, захворалъ тамъ отецъ Дарьи... эти трое слѣпыхъ, думаю, голодны... нѣтъ, гляжу—хлѣбъ у нихъ, свѣчка... спрашиваю: „кто огонь жгетъ? развѣ Дарья вернулась?“ „Нѣтъ,—говорятъ,—не вернулась!“... видно, она свѣчку оставила имъ... Чуньджудекъ веселая такая, и Антипъ съ Софьей тоже: должно быть, день то чувятъ, отходятъ... дверь надо имъ поправить: насквозь видно въ избу... ладно, сѣни крѣпки... нынче сдѣланы... тепло на улицу не выпустятъ...

Такъ говоря, они прошли пустырь и по полузанесенной тропѣ въ мглѣ приближались къ избукѣ.

— Дарья вернулась,—сказала матушка спутникамъ,—огонь... и какъ поздно сидятъ: уже десять часовъ ночи!

Они неслышно вошли въ сѣни и только когда затворили ихъ, шумъ бури отошелъ и затихъ, заглушенный крѣпкими стѣнами. Изъ избы шла въ сѣни полоса свѣта въ широкую щель плохо сколоченной двери, и матушка невольно остановилась у ней, сдѣлавъ знакъ молчанія своимъ спутникамъ.

За дверью мягкой и ласковый голосъ ясно произносилъ алтайскія слова, понятныя матушкѣ, прекрасно владѣвшей языкомъ.

— И ты, Чуньджудекъ, и ты, Антипъ, и ты, старая Софья, и всѣ, которые не видятъ свѣта такъ давно, увидите въ царствіи Господа Бога небесный свѣтъ.

— И солнце, и небо, и Алтай?—спросилъ дрожащій старческій голосъ.

— Все... смерть—это радость: она придетъ и откроетъ очи слѣпыхъ.

Въ избѣ заплакала женщина.

— Это такъ хорошо,—сказала она, всхлипывая,—наша жизнь—печаль: мы все равно, что въ могилѣ были, пока не

пришелъ ты... въ эти дни мы точно увидѣли свѣтъ: и буря пусть дуетъ, и вѣтеръ воетъ—намъ хорошо ночами: ты даешь пить Софѣ, трешь ноги Антипу, и мнѣ твоя повязка облегчаетъ глаза... ты—добрый.

— Вы мои братья и мои сестры,—отвѣтилъ молодой голосъ,—ночью въ бурю мнѣ не спится, и съ вами легче проводить бессонницу, а когда Господь—нашъ Отецъ пронесетъ бурю, пріѣдетъ Дарья, вамъ уже не страшно будетъ ночами.

— Да,—сказалъ мужской голосъ,—а до тебя тѣ первыя двѣ ночи мы какъ кускуны (филины) сидѣли тутъ, и не могли спать: намъ казалось, что курюмесь (дьяволъ) наслалъ кара-неме (черныхъ духовъ), и они разнесутъ крышу и разорвутъ насъ, а Софья все стонала и просила пить на печкѣ.

— У меня губы засохли отъ страха,—жалобно проговорила старуха,—а они боялись дойти до меня, точно ихъ приковало къ мѣсту... ты угналъ отъ насъ страхъ: черные боятся тебя!

— Бѣдные,—грустно затрепеталъ молодой голосъ,—а днемъ?

— Днемъ люди приходятъ къ намъ, посылаетъ пищу абызъ Степанъ и матушка, но ночь! не уходи пожалуйста, не уходи!.. днемъ мы слышимъ человѣческій голосъ, а ночь страшна; какъ завоюетъ буря, Чуньджудекъ все чудятся голоса кара-неме.

— Не бойтесь: я не уйду.

— И завтра,—настойчиво молила старуха,—ради Христа.

— И завтра, и сегодня, пока буря не перестанетъ... только не говорите никому, что я ночую у васъ.

— А тебѣ не охота спать?—спросилъ Антипъ,—ночи ты съ нами до свѣта... мы спимъ днемъ во тьмѣ нашей: мы можемъ спать всегда... а ты?

— Сплю и я днемъ,—бодро откликнулся онъ,—не думайте... давайте пѣть молитву, которую я васъ училъ.

И онъ запѣлъ пѣснь Богородицѣ.

И хриплый голосъ Антипа, слабый Чуньджудекъ, дрожащій старой Софіи присоединились къ нему; и какимъ упованіемъ звучало это пѣніе!.. оно хватало за душу.

Матушка потянула спутниковъ за собою къ выходу, ея глаза были полны слезъ, но ихъ не видалъ никто во мглѣ ночи.

— Пойдемте, не станемъ смущать его,—взволнованно сказала она на улицѣ,—онъ ихъ напоить, накормить и утѣшить... это—братъ Михаилъ... только молчите объ этомъ и не рассказывайте никому: мы его обидимъ болтливостью нашей, а о. Стефанъ еще сердился на него.

И болѣе слова не проронила до дому.

Два дня еще выла буря, и только въ вечеръ третьяго пріѣхала Дарья Миронова изъ аила домой; въ этотъ вечеръ, подарившій морозомъ Алтай, братъ Михаилъ пришелъ къ о. Стефану Ландышеву; онъ смущенно и кротко попросился въ Салганду, извиняясь, что его удерживала буря и какая то слабость, недомоганіе, которое прошло.

О. Стефанъ молчаливо выслушалъ его и вдругъ съ доброю улыбкой поднялъ на него опущенные глаза.

— Никуда не надо ѣхать... лягъ сегодня у меня и усни крѣпче: Чевалковъ сказалъ, что Дарья Миронова вернулась... ты заслужилъ покой, золото мое.

Молнія испуга прошла по молодому лицу, и оно стало печальнымъ.

— Я не могу понять васъ, о. протоіерей,—сказалъ онъ,—Дарья Миронова почему то... я не усталъ... мнѣ хочется на дѣло... простите за ослушаніе и отпустите... вы мнѣ говорили, что тамъ ждутъ оглашенные.

А самъ пытливыми глазами глядѣлъ на о. Стефана, и тому не захотѣлось его огорчить.

— Ну, Христосъ съ вами,—сказалъ онъ особенно мягко,—поѣзжайте, но берегите себя: намъ надо дѣлателей на ниву нашу... обильна она уже колосьями и ждетъ жнецовъ, а въ мартѣ отправлю васъ въ Билюлю.

Братъ Михаилъ принялъ благословеніе и ушелъ. Онъ торопился уйти, немного тревожный, и Агрипина Іоновна, вошедши къ мужу, сказала:

— Что онъ словно испуганный и торопится? не сказалъ ли ты ему чего, отецъ?

— Намекнулъ,—улыбнулся о. Стефанъ,—и испугалъ дѣйствительно робкую душу.

— Не робкую, а смиренную,—раздумчиво покачала она головою,—нѣтъ, не смущай его болѣе... тебѣ бы сердце поразило, если бы ты услышалъ пѣніе въ избушкѣ, эти хриплые дребезжащіе голоса, эту молитву Чуньджудекъ оглашен-

ной, и Софїи дряхлой, и его голосъ, полный упованія! Мнѣ кажется, эта молитва легла у престола Бога, отецъ.

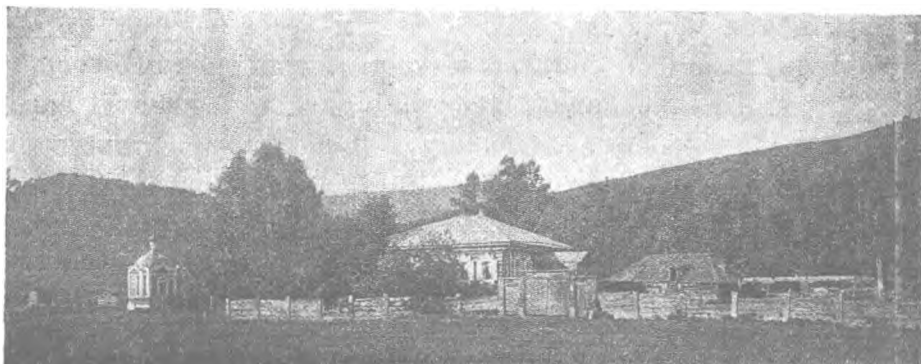
Его лицо стало серьезнымъ, мягкимъ свѣтомъ засвѣтились глаза, ему представились эти три человѣка, свѣтъ очей которыхъ померкъ въ мракѣ ночи, беспомощную жизнь которыхъ освѣтила любовь горячаго сердца. отданнаго на служеніе ближнимъ, сердца, рожденнаго для подвига.

И, склонивъ голову надъ бумагами, онъ крѣпко сжалъ вѣки, чтобы скрыть слезу, ожегшую ихъ, а его вѣрная подруга, ласково положившая руку ему на плечо, сказала мягко:

— Евдокія безъ слезъ пѣніе это вспомнить не можетъ... только не говори ему ничего, о. Стефанъ, не смущай его душу, которая боится людской болтовни: вѣдь, онъ не виновать, что Господь вложилъ въ нее смиреніе и любовь, что всѣ эти Антипы, Чуньджудеки и Софьи ему братья и сестры, что его сердце болитъ за нихъ, потому что любить, и это такая свѣтлая любовь!

— Ты права,—сказалъ о. Стефанъ,—недаромъ онъ ищетъ пострига: онъ будетъ хорошій преемникъ Незабвенному, и я не смущу болѣе его смиренія.

А тотъ, о комъ они говорили, ѣхалъ уже далеко отъ Улалы, давно миновавъ ее, въ маленькихъ санкахъ, и утомленная голова его въ глубокой дремотѣ колотилась о дерево саней въ ныркахъ, заставляя просыпаться на мигъ, чтобы опять заснуть безъ мысли о прошломъ, съ одной заботой о будущемъ, о всѣхъ этихъ больныхъ, слабыхъ и хилыхъ больныхъ дѣтяхъ, для которыхъ онъ пришелъ сюда, чтобы имъ принести силы, умъ и молодость.



Село Улала; часовня на мѣстѣ перваго сгорѣвшаго миссіонерскаго храма.



...Его лицо съ тонкими чертами, одухотворенное, полное мысли, съ высокимъ красивымъ лбомъ свѣтилось внутреннимъ свѣтомъ, и уста сложились въ мягкую ласковую улыбку...

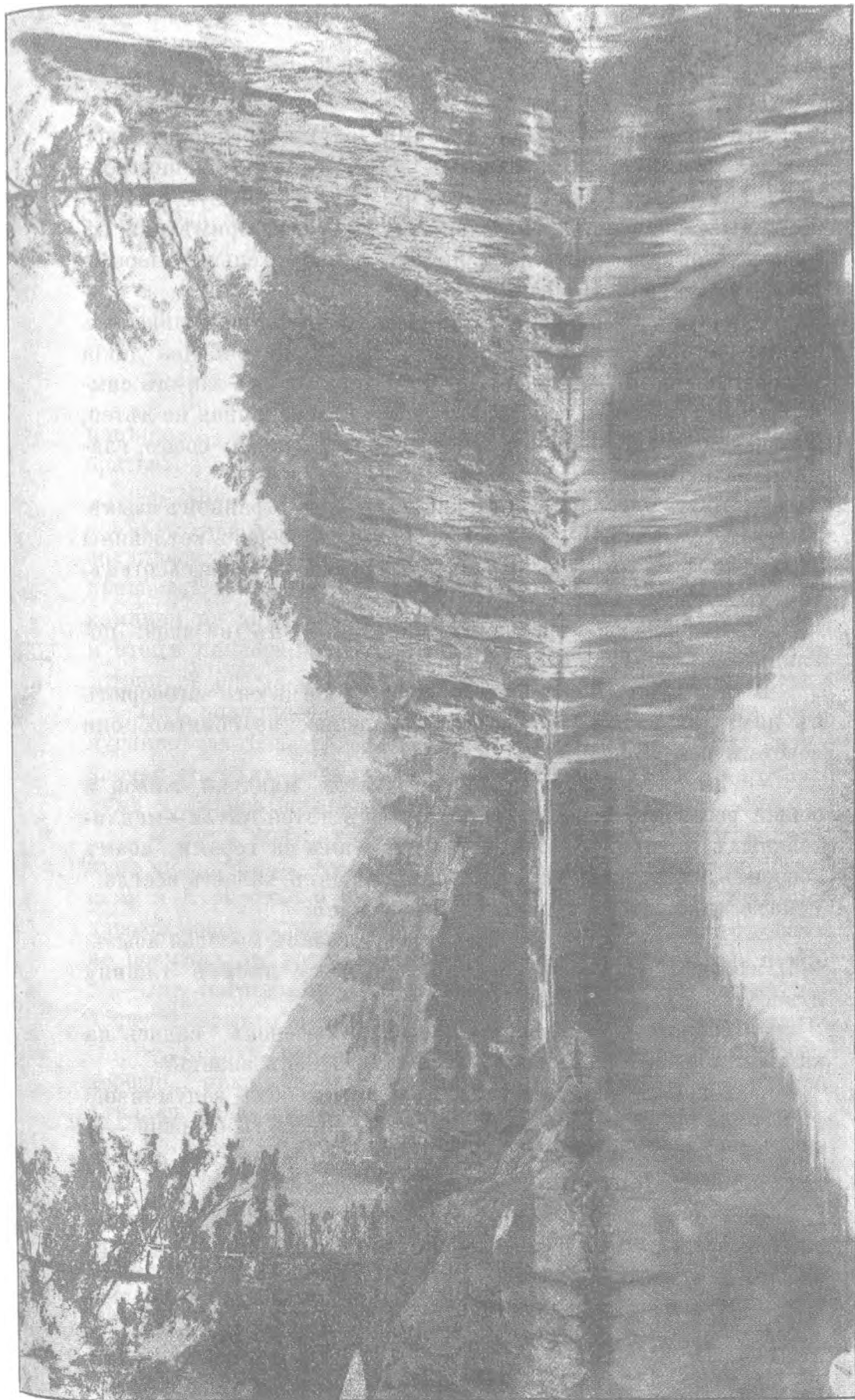
Подарокъ Кудая.

I.

— Вѣчная природа!

Солнце ложилось свѣтлыми бликами на гремучую горную рѣчку, стремительно падающую съ камней въ зеленую, заросшую молодой порослью, котловину; точно стражи стояли ели и сосны, а повыше, на уступахъ круто обрывавшейся скалы, свободно и вольно разбрасывали вѣтви кедры, подставляя вершины горячему юньскому солнцу.

— Вѣчная природа! — вслухъ повторилъ небольшой стройный, молодой монахъ и темными блестящими умными глазами заглядѣлся въ голубѣвшее небо.



— Вечная природа! — вступил повзрослевший молодой монах.

Его лицо съ тонкими чертами, одухотворенное, полное мысли, съ высокимъ красивымъ лбомъ освѣтилось внутреннимъ свѣтомъ, и уста сложились въ мягкую ласковую улыбку, когда глаза, случайно отведенные отъ неба, примѣтили въ тѣни кустовъ два смуглыхъ личика и внимательные черные глаза, слѣдившіе за нимъ.

Вдали, за камнями скалы, шумѣла Катунь, перекликались птицы, а монахъ думалъ о томъ, какъ привлечь два дикія маленькія существа. Мысль летѣла быстро, и онъ запѣлъ симпатичнымъ мягкимъ голосомъ псаломъ, посматривая на дѣтей, которыя подошли ближе и, перешептываясь между собою, глядѣли на него.

— Абызь!—говорилъ старшій на своемъ странномъ языкѣ. —Изъ того мѣста,—указалъ онъ на другой берегъ котловины за потокомъ,—камлаеть по своему. Хорошо, говоритъ отецъ, они умѣютъ камлаять.

— Подойдемъ!—попросилъ младшій.—Онъ не злой: погляди—смѣется.

И они подошли застѣнчиво, робко; и когда онъ заговорилъ съ ними на ихъ языкѣ немного медленно, но понятно, они совсѣмъ осмѣлѣли.

— Ты откуда пришелъ?—спрашивалъ младшій, живой и бойкій ребенокъ, не похожій на другихъ дѣтей Алтая—медлительныхъ и тихихъ.—Зачѣмъ сюда? Тамъ за горами, абамъ говоритъ, есть большіе айлы, и люди ѣдятъ калашъ всегда... у насъ тихо... тебѣ будетъ скучно у насъ.

— А я люблю, чтобы было тихо!—сказалъ молодой абызь. —Я люблю лѣсъ, озера, Катунь. Мой Богъ любитъ тишину и васъ.

— И насъ?—недовѣрчиво сказалъ ребенокъ, садясь на камень, поросшій верескомъ.—Развѣ онъ насъ знаетъ?

— Да, Онъ знаетъ всѣхъ!—сказалъ монахъ задумчиво.

— У тебя, видно, нѣту никого?—спросилъ старшій.—Я видалъ твою юрту, въ ней только ты одинъ, да еще другой, тоже немножко абызь... у тебя нѣтъ своихъ?

— У меня всѣ свои,—улыбнулся онъ,—и ты, и твои... всѣ вы братья мнѣ, и меня послалъ къ вамъ Кудай, потому что любить васъ.

— Кудай—это не Ульгень?

— Нѣтъ. Это тотъ, Кто создалъ Катунь и горы, мѣсяць и звѣзды, солнце и весь міръ. Если хотите, я буду приходить сюда и рассказывать вамъ о Немъ.

— Тебя какъ зовутъ?—спросилъ онъ младшаго.

— Аласъ-ару—сказалъ тотъ.—Аласъ просто: родные говорятъ, что я похожъ на птицу—веселый и хохотунъ, а его—Кочкоромъ: онъ—упрямый.

— Ну, ты!—сердито огрызнулся его старшій спутникъ.

— Не ссорьтесь,—примирительно сказалъ монахъ.—Ты навѣрное умѣешь хорошо лазить по горамъ, Кочкоръ? вы—братья?

— Нѣтъ: его отецъ Сартакпай-камъ, а мой—простой человѣкъ,—сказалъ Аласъ весело, и его живые узкіе глаза блеснули весельемъ.—А ты чудной: наши всѣ говорятъ: „зачѣмъ пришелъ? доймаешь его Ерликъ! Ерликъ не любитъ, чтобы камлали по другому; онъ ему задастъ“, говорятъ они: наши и отецъ Кочкора, камъ Сартакпай.—„Кара-немэ когда-нибудь затрясутъ его“... я боюсь, абызъ, Кара-немэ и Курюмеса.

Онъ опасливо оглянулся кругомъ, а его спутникъ тоже пугливо глядѣлъ на зеленое море съ пятнами солнца и на клочки голубого неба, видные изъ за вѣтвей: ему и въ воздухѣ чудились злые духи.

— Вотъ моя сила!—поднялъ священникъ руку и, растегнувъ подрясникъ, досталъ небольшой крестъ.—Видите? Кара-немэ и Курюмесь, и Ерликъ—всѣ трепещутъ этого. Это—подарокъ моего Кудая. Если бы и у васъ были такіе, то и васъ не посмѣли бы трогать они; бѣдныя, робкія, суевѣрныя души!

Онъ погладилъ узкой, бѣлой, небольшой рукою черную голову младшаго и сказалъ, вставая и обращаясь къ обоимъ:

— Хотите, пойдемъ къ Катуні, Аласъ и Кочкоръ: тамъ хорошо... рѣка говоритъ про то, какой быстрой и прекрасной сдѣлалъ ее Кудай.

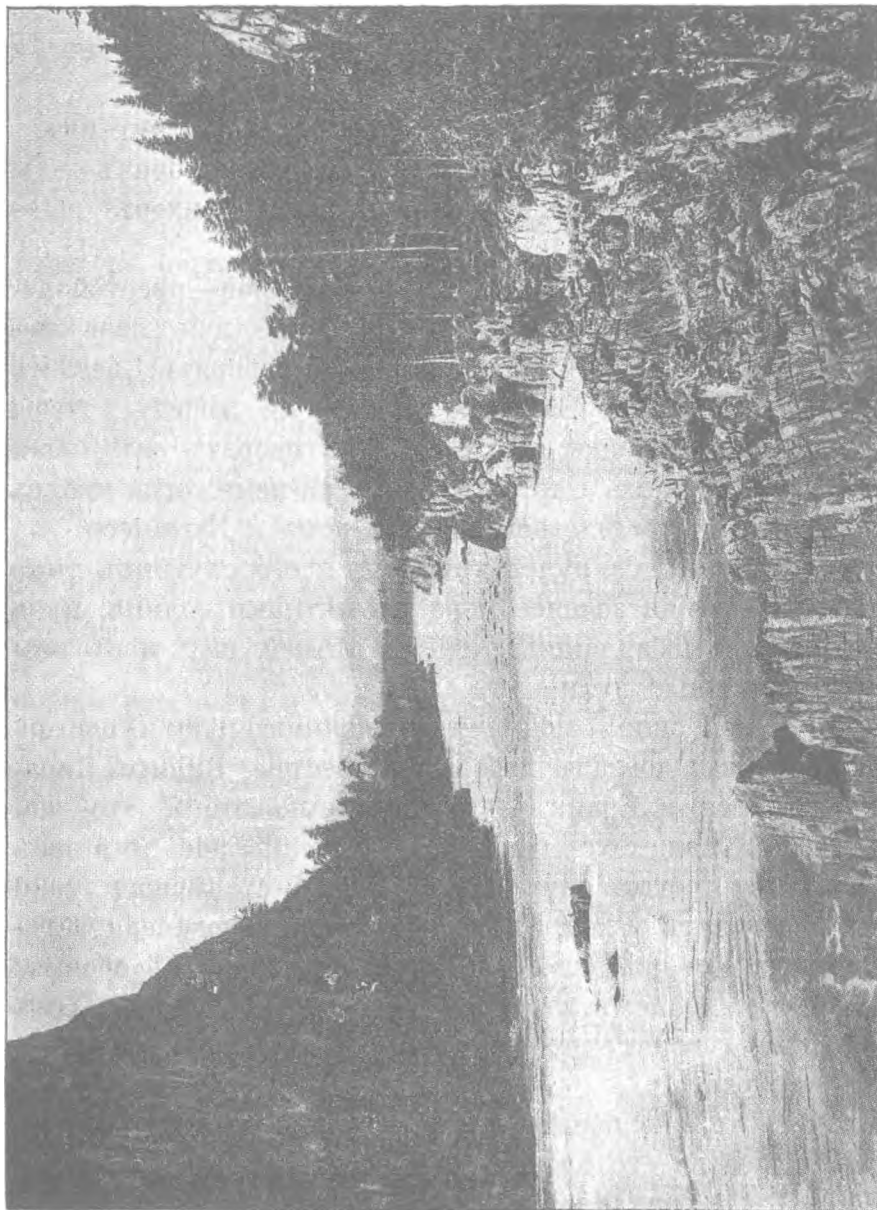
Мальчики охотно послѣдовали за нимъ, но Кочкоръ покачалъ головою на его слова:

— Что ты?—обратился къ нему монахъ.

— Она говоритъ про Катым-бажі! ¹⁾—сказалъ упрямо мальчикъ.—Говоритъ о страшныхъ пропастяхъ, о камняхъ и льдахъ, она вовсе не знаетъ твоего Кудая.

¹⁾ Бѣлуха.

— А вотъ послушаемъ!—сказалъ монахъ, спускаясь быстро узкой тропою по осыпи къ Катунѣ, дѣлавшей крутой поворотъ подъ угломъ.



...Неспокойная рѣка летѣла черезъ камни шумная, торжествующая, вся залитая солнечнымъ блескомъ въ зеленой рамѣ береговъ...

Неспокойная рѣка летѣла черезъ камни, пѣнясь, шумная, торжествующая, вся залитая солнечнымъ блескомъ; свѣтлыя брызги налетающихъ на береговья скалы волнъ блестѣли, раз-

сыпаясь драгоценными камнями, и эта картина въ зеленой рамѣ береговъ мало говорила о томъ, о чемъ сказалъ Кочкоръ.

— Она поетъ, слышите? хвалить Создателя Кудая... ты ошибся, дитя: развѣ не слышишь ты, что она поетъ?—сказалъ священникъ.--Кара-немэ далеко: она забыла о льдахъ Катым-бажі... да, вѣдь, и льды созданы Кудаемъ, а Кара-немэ трепещутъ его. Онъ тамъ высоко, выше этой птицы карчиги,—показалъ онъ на едва замѣтную въ небесной синевѣ точку,—а все видитъ и слышитъ. Онъ на небѣ и на землѣ... вездѣ, вездѣ... Онъ около тебя, Аласъ, и около тебя, Кочкоръ, и любить и сохранить, если вы Его полюбите.

Вода билась о камни и пѣнилась; вода пѣла и рокотала, а солнце, теплое и ясное, озаряло стройную фигуру залюбовавшегося на прекрасный Божій міръ монаха и двухъ дѣтей, изъ которыхъ одинъ глядѣлъ, упрямо насупившись, а умные глаза другого заглядѣлись въ лазурную синеву, за которой было жилище Кудая.

II.

— А я къ тебѣ!—такъ сказалъ инородецъ Кургай, робко появляясь на порогѣ новаго дома, поставленнаго подъ соснами.—Холодно... охъ, какъ холодно... завтра у васъ большой праздникъ... Ты уже камлалъ?

Монахъ поднялся отъ печи, въ которую подложилъ дровъ, и привѣтливо улыбнулся гостю.

— Да, завтра у насъ Рождество, Кургай!—сказалъ онъ.—Въ эту ночь когда-то на землю пришелъ Кудай, какъ человѣкъ... А ты давно пріѣхалъ въ Чемалъ?

— Сичасъ... сыводня... знашь, кто послалъ меня? Аласъ послалъ: онъ хворать, охъ, какъ хворать!.. Сартакпай камлалъ, ничего не помогать... день и ночь онъ зоветъ тебя: Макарія... Макарія... Абыза позови, абамъ... все гонить меня, все плачитъ... а мои не пускаютъ: жена, отецъ... Сыводня говоритъ:

— „Отецъ, я умру, если не позовешь Макарія... меня Кара-немэ мучатъ; они на меня болѣзнь послали... у него есть на шеѣ подарокъ Кудая, если онъ надѣнетъ его на меня, моя болѣзнь пройдетъ“.

— Если бы ты, Абызъ, поѣхалъ до насъ туда! тутъ не-



Миссіонеръ-іером. Макарій, нынѣ митроп. московскій и алтаецъ Василій.

далеко совсѣмъ мой аилъ... пожалуста не бойся мороза... кони тутъ... шипко хворать онъ...

— Что у него? — сказалъ молодой миссіонеръ.—Можетъ быть, я возьму лекарство.

— Горитъ весь... волдыри на немъ... амру мы думали... мы уже на темени у него ядно сжигали не разъ и трещало, отыскивали въ тальникѣ подъ снѣгомъ червей, да нѣтъ ихъ, замерзли, сердце вырѣзали изъ овцы живой и клали ему въ ротъ, не помогаетъ... вездѣ болитъ: во рту, голова, лицо... говорятъ люди „оспа“!

— И онъ, говоришь, зоветъ?—торопливо одѣваясь, говорилъ монахъ.—Бѣдный Аласъ, мягкое сердце.. А Кочкоръ?

— Кочкоръ тоже лежитъ... много по аиламъ лежитъ ребятъ... и откуда пришла хворь? прямо вездѣ плачутъ... ты уже собрался, Абызь?

— Да, ночью я буду служить, теперь свободенъ... поѣдемъ... я скажу только, чтобы обо мнѣ толмачъ не беспокоился.

И онъ вышелъ тихій, спокойный, глядя задумчивыми глазами на звѣзды, сіявшія въ высотѣ неба надъ темнымъ лѣсомъ и горами въ ненарушимой тишинѣ морозной ночи.

— Готово... я посмотрѣлъ подпругу... садись, Абызь!— сказалъ Кургай.

— А меня развѣ не возьмете?—спрашивалъ выбѣжавшій толмачъ и ушелъ, качая головой.

Кони двинулись къ лѣсной опушкѣ, и снѣгъ скрипѣлъ подъ ихъ копытами, когда они ровною ступью проѣхали по улицѣ заснувшаго крохотнаго Чемала, окруженнаго задумчивымъ лѣсомъ.

III.

Аласъ-ару разметался въ огнѣ, ему видѣлись страшныя уродливыя лица Кара-немэ и ужасное лицо Курюмеса: передъ нимъ раскрывались невиданныя пропасти Катым-бажі, ледяныя пропасти съ бездонными провалами, изъ которыхъ стремились на него рѣки, готовыя его поглотить, и онъ метался и бился на своемъ ложѣ, близъ огня, укрытый шубами, которыя безпрестанно поправляла на немъ его мать, тихо плакавшая надъ сыномъ; она прикладывала снѣгъ къ его запекшимся устамъ, и въ минуты сознанія онъ говорилъ ей тоскливо:

— Мама, гдѣ же отецъ? привезетъ ли Макарія—Абыза? дастъ ли онъ мнѣ подарокъ Кудая?.. ахъ, мама, они задушатъ меня.

И опять бредилъ и опять кидался отъ призраковъ, а часы шли, длинные, томительные, и старый немогшій спать дѣдъ непрерывно подкладывалъ хворостъ на костеръ, горѣвшій въ большой юртѣ Кургая.

— Ъдетъ,—сказала мать старому свекру, поднимая голову, и ея глаза впились въ отверстіе, закрытое кожей. Оно раскрылось, и она увидала небольшую фигуру гостя,жданнаго и желаннаго, котораго уже три дня звалъ и ждалъ ея сынъ.

— Оспа, да?—сказалъ гость, подходя къ бредившему ребенку:—Бѣдный Аласъ... закройте входъ... вотъ, я привезъ масло, святое масло, я помажу его... не совѣмъ открывайте, холодно... такъ хорошо... лицо... голову... теперь я погрѣю руки... нужно приподнять одежду, я и тѣло вымажу ему...

— Абызь!—радостный шопотъ сознательно слетѣлъ съ губъ Аласа, руки съ трепетомъ протянулись къ священнику:—Абызь, дай мнѣ подарокъ Кудая; они уйдутъ отъ меня тогда, Кара-немэ... они меня замучили.

Абызь минуто думалъ; потомъ свѣтлая улыбка прошла по его тонкому худощавому лицу, онъ быстро растегнулъ одежду на груди и, вынувъ крестъ, снялъ его и одѣлъ на шею больного ребенка.

Блаженная улыбка легла на личико Аласа, покрытое воспаленными оспинами... онъ взялъ горячею сухою рукою Абыза и, съ трудомъ приподнявъ опухшія вѣки, сказалъ:

— Говори мнѣ про Него.

Присѣвъ у огня и глядя его горячую головку, священникъ сталъ говорить о Рождествѣ, о тайнѣ искупленія—просто, понятно, тихо и спокойно. И старый хозяинъ юрты, и мать ребенка, и Кургай, и больное дитя слушали жадно, пока мальчикъ не уснулъ успокоенный, сжимая крестъ въ худенькой смуглой рукѣ.

— Ну, мнѣ надо ѣхать,—сказалъ миссіонеръ.—Ему лучше, Кургай; онъ выздоровѣетъ... закрывайте крѣпче входъ, не остудите его, завѣсьте его кочмою... онъ выздоровѣетъ, не бойтесь... теперь крестъ прогнать отъ него все черное... Христосъ съ вами въ день своего Рождества!

И, склонившись къ ребенку, тихо и ровно начавшему дышать, онъ поцѣловалъ обезображенное, распухшее личико безъ боязни заразы и вышелъ спокойный и тихій въ мглу морозной ночи, свершивъ свое дѣло любви.

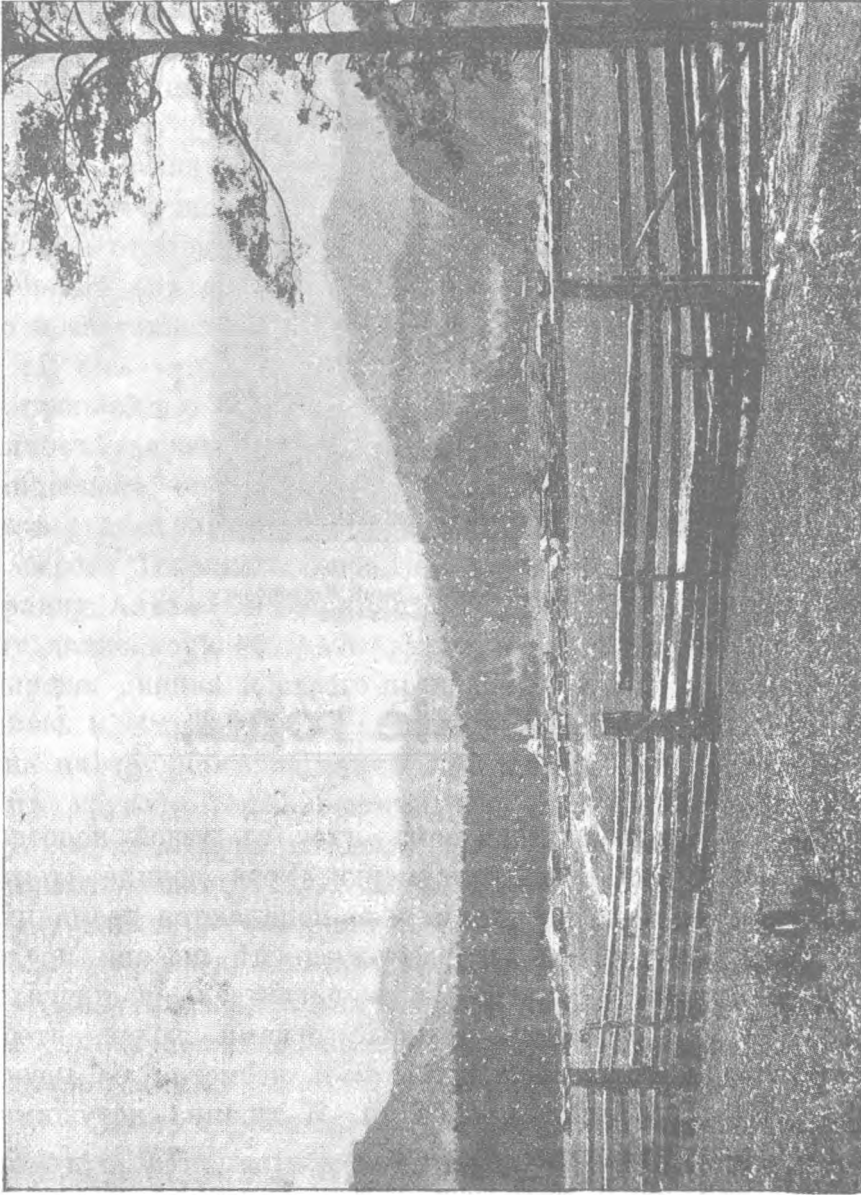
IV.

Колокола весело звонили на маленькой церкви, небольшіе колокола бѣднаго миссіонерскаго стана. Абызь—Макарій служилъ благоговѣйно и торжественно, а задумчивыя, отбѣжавшія немного отъ Катуня, горы слушали благовѣсть; слушала его и Катунь, беспокойно бившаяся подъ льдомъ, сверкая полыньями, услышалъ донесенные эхомъ звуки благовѣста и мальчикъ Аласъ и улыбнулся матери, заботливо склонившейся надъ нимъ.

— Мама, слышишь Кулай пришелъ на землю? Абызь Макарій тамъ молится... мама, мнѣ лучше, ушли Кара-немэ; они навѣрно теперь принялись мучить Кочкора, потому что у него нѣтъ подарка Кудая.

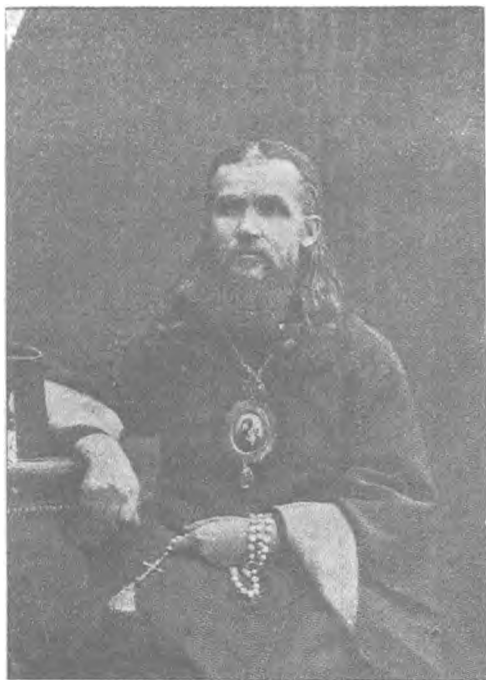
И онъ опять заснулъ подъ перезвонъ дальнихъ колоколовъ

стана, а Абызь Макарій въ церкви приносилъ безкровную жертву рожденному Искупителю міра и молился за Аласа и всѣхъ



...а абызь Макарій въ церкви приносилъ безкровную жертву... въ маленькомъ чемальскомъ станѣ, затерянномъ среди задумчивыхъ горъ и лѣсовъ.

простыхъ дѣтей языческаго Алтая въ холодную и темную, но-
святую и великую ночь Рождества въ маленькомъ чемальскомъ
станѣ, затерянномъ среди задумчивыхъ горъ и лѣсовъ.



Макарій, Епископъ Томскій, нынѣ Митрополитъ
Московскій,--- со снимка 1888 г.

Въ далекіе годы.

Тропа въ мрачномъ черневомъ лѣсу съ узкой полоской голубого неба; надъ нею полусумерки, хотя солнце стоитъ высоко на небѣ. На тропѣ поминутно попадаютъ громадныя стволы сваленныхъ бурей деревьесвъ; кое-гдѣ лошади продавили тропу въ этихъ подгнившихъ гигантахъ, у другихъ, болѣе свѣжихъ, прорублено отверстіе руками людей, чтобы могла пройти лошадь. Круто. Мѣстами, несмотря на кручу, — грязь, въ которой вязнуть лошади. И тишина нерушимая въ теплый, здѣсь прохладный, день.

Черезъ недавно павшія, еще не тронутыя рукою человѣка, деревья, лошадь отца Макарія перескакивала, переставляя обѣ ноги вразъ, а за нимъ и его спутниками точно смыкался лѣсъ, отрѣзая ихъ отъ міра культурнаго и шумнаго, замыкая стѣнами стволовъ для тихаго и незамѣтнаго подвига.

— „Двадцать пять лѣтъ и—отречение въ этой дали!“ — думалъ про о. Макарія его спутникъ съ умнымъ лицомъ,

смотря на небольшую стройную фигуру, а о. Макарій снялъ шляпу и, положивъ поводья на луку сѣдла, сидѣлъ, поднявъ голову, и вглядывался въ зеленоватый полумракъ лѣсного корридора задумчивыми ясными глазами.

— „Алтай!.. вотъ она глушь, куда рвалось его молодое горячее сердце!.. Подальше отъ глазъ къ простымъ, заброшеннымъ въ этой глуши, людямъ, съ любовью, избыткомъ которой горѣла его душа, къ людямъ, которыхъ за 6 лѣтъ жизни онъ узналъ близко и понялъ, что они кротки сердцемъ, добры и отзывчивы, и только ихъ безграничное суевѣріе, съ которымъ онъ боролся упорно, прилагая все стараніе, томило его и заставляло неустанно работать и учить“.

И онъ училъ, среди зимы въ морозы и бурю пускаясь съ проповѣдью. И въ Чемалѣ имя молодого монаха произносили съ уваженіемъ, а товарищи миссіонеры и о. Стефанъ Ландышевъ, видѣвшій въ немъ „Незабвеннаго“, рѣшили послать его первымъ посланникомъ въ долину Чолушмана и на берега Телецкого озера, въ самую глухую и отдаленную окраину Алтая. Онъ принялъ это съ большимъ послушаніемъ. Ему давно хотѣлось уйти въ глушь, гдѣ жили простецы, и природа, дивная и строго-прекрасная, славилъ Бога. Исполнялась и его мечта объ основаніи монастыря, и въ этотъ день на трудномъ перевалѣ, гдѣ иногда на твердомъ песчаномъ грунтѣ, замѣнявшемъ грязь и колодникъ, виднѣлись крупные медвѣжьи слѣды, исчезая въ топкомъ болотѣ, въ которомъ лошадь тонула по колѣно.

— Абшакъ!—говорили проводники, пугливо встрѣчая такіе слѣды,—боишься, Абызъ?—а, боишься?!

И спутникъ молодого монаха видѣлъ, какъ мягкая, кроткая улыбка ложилась на красиво очерченный ротъ подъ молодыми усами.

— Забоюсь, можетъ быть, если увижу: вѣдь, я—человѣкъ, Тибанъ! А вотъ, есть и были люди такіе, Господу угодные, которые и звѣрей не боялись: изъ рукъ медвѣдей кормили, абшаконъ такихъ, какъ ваши.

Онъ склонился къ слѣдамъ, и мягкіе волосы, вившіеся природными локонами, закрыли лицо. Откинувъ ихъ, монахъ сказалъ:

— Вы сами не боитесь? онъ гдѣ-нибудь недалеко вашъ

абшакъ: смотрите, какой свѣжій слѣдъ. А лошади устали: дадимъ имъ передохнуть вотъ тутъ, на пескѣ.

— Ой, батъка, тутъ недалеко ужъ! Кадюбашъ скоро вершину покажетъ... тамъ легко будетъ, шибко легко.

И, дѣйствительно, точно отбѣжавшій въ стороны лѣсъ открылъ видъ задумчивый и прекрасный, однако еще закрывавшій озеро. Синіе хребты подымались изъ дали, закутанные въ дымку облаковъ, далекіе, чуть видные на горизонтѣ, а болѣе ближніе сверкали снѣжными пятнами на фонѣ опять поднимавшагося за пеленой темнаго лѣса.

— Хорошо!—сказалъ спутникъ о. Макарія.—Лѣтомъ—благодать Божія, а вотъ зимою...—И онъ покачалъ головою.—Страшно! Не хочу я васъ, о. Макарій, пугать, только тяжело тутъ непривычному человѣку зимою. Я разъ съ купцомъ однимъ, товарищемъ по торговлѣ, просидѣлъ 16 дней на берегу. Такая поднялась ужасная буря! запасы всѣ вышли почти, и мы старались только поддерживать огонь; а потомъ насъ застигла опять буря со снѣгомъ, когда мы рискнули пуститься вновь, послѣ наступившей тишины, и я ее буду помнить до смерти. Ужасны эти берега зимою. Я, сегодня случайный спутникъ вашъ, жалѣю вашу молодость. Мнѣ бы не провести тутъ зимы; я бы съ тоски померъ. Простите, что разстраиваю васъ.

— У васъ семья, голубчикъ!—улыбнулся своей мягкой улыбкой молодой монахъ.—Родные, близкіе, а моя семья—они,—указалъ онъ на инородцевъ.—Я ихъ люблю и жалѣю такъ же, какъ и вы своихъ... не естественно ли мнѣ жить съ ними? Согласитесь, что правда это!

И спутникъ его невольно съ глубокимъ вниманіемъ приглядѣлся къ тонкому, ясному лицу и раздумчиво покачалъ головою.

Лѣсъ рѣдѣлъ. Начался спускъ, и въ тихій прелестный вечеръ изъ-за послѣднихъ кустовъ, закрывавшихъ видъ, мелькнуло, скрылось и опять выступило зеркало Телецкаго озера.

О. Макарій слѣзъ съ лошади и долго глядѣлъ на синюю, сверкающую золотомъ отъ солнечныхъ лучей, полосу воды и зеленая, обступившія воду, горы. Казалось, что это большая, громадная чаша. Мысъ Четту скрывалъ продолженіе озера—крутой и мохнатый, какъ гигантъ, выступившій въ синюю

воду. Проводники съ толмачемъ и спутникомъ о. Макарія развели костеръ. Весело фыркали лошади, а послѣдніе лучи осыпали небольшую фигуру у озера на камняхъ, слабого на видъ, но сильнаго духомъ человѣка.



...лодка шла быстро...

II.

Большая старая досчатая лодка ждала спутниковъ, и о. Макарій, вступая въ нее, улыбнулся, качая головою.

— Ничего, Абызь, не потонемъ! — сказалъ одинъ изъ проводниковъ по алтайски. — Мы купца разъ везли, дакъ, онъ ѣхаль-охаль: — „Калакъ“, говоритъ. Веѣ гребцы хохотали... И не утонулъ! — прибавилъ онъ съ наивною увѣренностью. — Мы, вѣдь, ее всю затыкали хорошо; замокнетъ, какъ сядемъ; бортами бѣжить.

И онъ сложилъ небольшой багажъ своего Абыза, и дѣйствительно вода скоро перестала просачиваться въ борта, а восемь гребцовъ полураздѣтыхъ, несмотря на прохладный западный вѣтеръ, гнавшій волну, задвигали руками, поднимая и опуская весла. Лодка шла быстро, и о. Макарій сперва послалъ привѣтствіе спутнику, оставшемуся на берегу, а потомъ заинтересовался природой и, указывая на берега, спрашивалъ названіе горъ.

— Вонъ та, острая, — Пентым Тоуса, а эти скалы кру-

тыя—Ажу называются... тамъ вонъ... Колдор вытекаетъ... версть 25 будетъ впереди,—говорилъ бывалый проводникъ изъ охотниковъ, русскій, уже не молодой человѣкъ.

— Люблю я лѣтомъ Телецкое: ужъ истинно, „золотое озеро“, въ особенности тому, кто эту сплетню да суету мірскую не



...Люблю я лѣтомъ Телецкое: ужъ истинно „золотое озеро“...

любить. Тутъ што есть птица не гомонить. Вонъ на Яныс-Кочъ межъ камнями... ночевалъ не разъ, чашша... все сплелось, жимолость, караганъ, рябина, черемуха, бузина, смородина съ маральникомъ... што есть пробраться трудно, чашша—одно слово. Люди говорятъ, что далеко не проберешься въ высоту. Много мы тутъ съ Тихономъ соболей пымали.

— Помнишь, Тибанъ?.. какъ не разбилися! одинъ день заголодали было, обожралися этой самой „Таи“... „Тасей“ они зовутъ жимолостникъ съ синими ягодами...—напали мы на него съ голоду, да столь изничтожили, што дурнота напала... ровно ребята.

Онъ усмѣхнулся добродушно и весело, глядя на проводника Тибана, сына алтайскихъ горъ.

— Вотъ—Кулганъ обогнемъ, тамъ—Кокташъ и Умакъ-ташъ... Это такъ мысы называются,—озеро во всю длину увидимъ отъ нихъ. Дико, берега все скалистые, и вода темнѣе кажется, особенно въ ненастѣ подъ ними. Не люблю я плавать тамъ, о. Макарій, въ особѣ—одинъ: шибко ужъ тихо, горы эти, ровно монахи сердитые. Што улыбаетесь? Есть сердитые

монахи. Я по обвѣту въ Соловки ходилъ, давно, въ молодости, лѣтъ 16-ти... такъ меня они устрашили: такіе серьезные, какъ Телецкія скалы, што тутъ близъ Кулгана и спереди, и сзади. Я намѣреніе полагалъ тамъ остаться, да суровости ихней испужался и—домой. Видно судьба была моя суды, въ Алтай съ отцомъ пробраться. Ну, а какъ увидалъ я эти мысы, уже возмужавши, такъ моихъ монаховъ вспомнилъ Соловецкихъ.



Къ вечеру, предъ путниками, выплывшими изъ-за послѣдняго поворота, открылось озеро во всю длину.

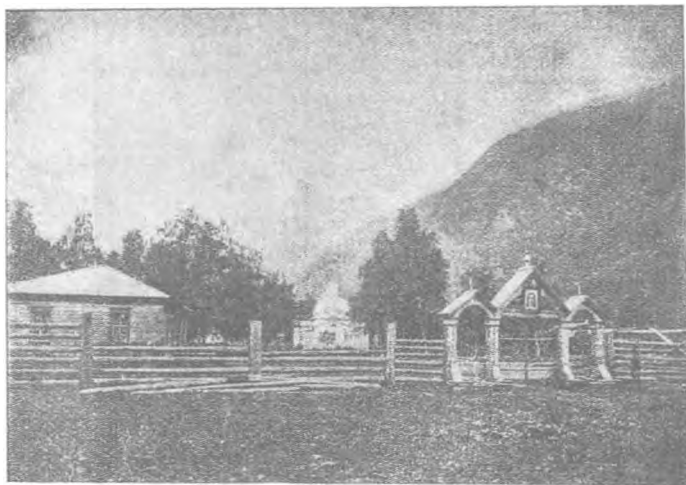
III.

Къ вечеру, такому же тихому, какъ и предыдущій, предъ путниками, выплывшими изъ-за послѣдняго поворота, открылось озеро во всю длину. Со всѣхъ сторонъ поднимались горы высокія, съ пятнами снѣговъ и водопадами и массивъ горы Тоголока, точно преградой ставшей тамъ, въ облитой солнцемъ дали, надъ синей полосой озера.

— Хорошо!—сказалъ о. Макарій.—И скалы хороши, это какая рѣка будетъ, гдѣ ночлегъ нашъ—Чоодор?

— Да... Ишь, тоже мѣста знаете! память-то у васъ не то, что у меня--молодая... а я забылъ, какъ та гора, что противъ бухты Чоодор, называется. На томъ берегу, помню, рѣка тамъ большая Копши. Постой... Кольджанатъ гора та, о. Макарій... а эта—Тестенгей. Юрты есть: мы тамъ у инородцевъ

съ Тибаномъ какъ-то мѣсяцъ выжили. Добрый народъ, только и чудной: какъ-то сдумалъ я разъ чашку помыть въ Копши изъ-подъ молока, грязи на ней ужаси! какъ хозяинъ нашъ накинулся на меня, ругается:—„Счастья, говорить, у скота не будетъ!“ молока, значить... И мнѣ съ Тибаномъ на ущербъ мѣсяца капли молока не давалъ на улкѣ, а въ юрту заманить и—напоить: чистота, объяснять, кака-то уйдетъ изъ



Св. ворота Чолушманскаго монастыря.

дому... богатство, должно понять... да мало-ли! ущербъ у нихъ въ почетѣ: боятся ево страсть, ввѣряются примѣтамъ всякимъ. На вершинахъ горъ „обого“ накладываютъ,—вѣтки это съ деревьевъ,—и хто ѣдетъ, да не поклонится имъ и ничево не положитъ ни махра, ни волоса съ лошади, говорятъ, али сучка, тому худо будетъ. Вишь, это они хозяевамъ горы кланяются, и Тибан-тамыръ мой—тоже.

— Ну, што тупишься? знаетъ, вѣдь, душа нехрешшона, што хозяинъ—Богъ небесный всѣмъ горамъ, а ворчитъ на меня: „Ой, Василій! ну, што тебѣ сучекъ положить?“

— А я плюнулъ на ихъ сучки, и, конечно, ништо мнѣ не доспѣлося. А камланье... тошно глядѣтъ на нихъ... часто въ томъ аилѣ камлали; мучаютъ ихъ, скотину несчастную. Вѣрите ли, драться я кидался на нихъ! темень, неразумство... помощи вамъ Господи ихъ просвѣтитъ, штобы они отъ этова камланья отвадились. Я, вотъ, за 20 лѣтъ одного Тибана про-

свѣтитъ не могу, потому—не грамотный и Божье слово не проповѣдую, а такъ—што слышалъ, толкую. Попробуйте, поговорите ему, о. Макарій; друзья мы! Я все же хоша надежду питаю, гдѣ скраю приспориться и зрить царство небесное, а онъ, другъ мой закадышный, въ темени будетъ. Тошно мнѣ, изъ-за тово и пустился съ вами, што охота ужъ шибко ево на умъ навести. Помогите вы. Ево ужъ я водилъ къ о. Стефану... до порога довелъ въ Улалѣ, такъ убѣгъ, а тутъ куда убѣгитъ?!—засмѣялся охотникъ.

И потупившійся Тибанъ тоже усмѣхнулся добродушно, а о. Макарій, положивъ руку на его плечо, заглядѣлся на далекій видъ и молчалъ, не отвѣчая словоохотливому Василию.

IV.

Еще день прошелъ въ пути среди тишины, безъ особыхъ разговоровъ. Погода нахмурилась, и, показывая на ленты водопадовъ, ставшія попадаться на пути, Василій сказалъ:

— Хватитъ ежели дождь, посмотримъ ихъ... откуда сила возьмется! Только бы до Яман-Чили доплыть! вотъ, тамъ есть посмотрѣть на што! Жаль, што купецъ нашъ на Артыбашѣ застрялъ на недѣлю, своихъ поджидая: человекъ онъ умный, какъ хорошо все рассказываетъ! потому—эти мѣста знаетъ и любить и чаше моего тутъ бывалъ. Вотъ, глядите... на площадкѣ этой станемъ здѣсь, не доплывая Яман-Чили: ишь, тучи шибко заносить... быть грозѣ! а далѣ—приступу не будетъ—каменя. Хоша и можно бы плыть, да опасно, а тутъ за камни въ заводъ лодку заведешь. Не впервой спастись отъ бури въ этомъ мѣстѣ, только и мѣста насколь разстоянія годнаго.

Потокъ гудѣлъ, точно угрожая. Съ обоихъ береговъ къ его водѣ сбѣгали стройныя сосны и лиственницы, непроходимую чащею поднималась поросль среди сваленныхъ бурей старыхъ гигантовъ; громадные камни торчали изъ воды, покрытые мхомъ тамъ, гдѣ ихъ не хватала голубая вода, пѣной обдававшая ихъ, подвластныя ей глыбы. Яман-Чили точно рвалась впередъ, съ силой летѣла вода по уклону, крутя и разбивая въ щепы подмытыя деревья, и дикая суровая красота была въ этомъ стремленіи.

— Будетъ гроза!—говорилъ Тибанъ съ гребцами, растягивая старую палатку.

— Ты не бойся, Абызь тутъ не страшно: Яман-Чили сюда не достанетъ: высоко тутъ... пусть бѣсится вольница! Ишь, какъ тучи густѣютъ. Садись сюда: тутъ за вѣтромъ хорошо! —звалъ онъ ближе къ нимъ о. Макарія.

— Сядемъ лучше тутъ, Тибанъ, и поговоримъ,—на чистомъ алтайскомъ языкѣ, сказалъ тотъ.—Посмотримъ, какъ Яман-Чили грохочетъ.

— Яман-Чили злая: я ей каждый годъ камлаю: боюсь духовъ, ихъ много тутъ,—опасливо проговорилъ Тибанъ.—Они тутъ подъ камнями живутъ... Кара-немэ... злые... балуются съ лѣсинами, щепятъ ихъ.

— А кто же заступится за тебя, кого просишь,—сказалъ о. Макарій,—отъ нихъ охранить?

— Кого?—изумился тотъ.—Да такъ, самъ оберегаюсь. А страшно, Абызь боюсь я ихъ: въ лѣсу—курюмеса, кара-немэ... всѣхъ... мало ли ихъ, черныхъ!

— А я не боюсь никого: ни этого грохота, ни грозы, потому что знаю о томъ, что Христосъ со мною всегда, мой Благословенный.

Тибанъ насупился, но сейчасъ же лицо его разъяснилось: ему почему-то самому не стало такъ страшно близъ этого молодого, яснаго и кроткаго человѣка.

— Христосъ?—сказалъ онъ раздумчиво.—Наши его хвалятъ... Василій—Тамыръ тоже. Гдѣ Онъ?

— А тамъ, на небѣ, за облаками, за тучами.

— И тебя не увидить... какъ же тебѣ курюмеса не боются, духовъ?

— Вѣдь, я сказалъ, что Онъ со мною.

— Не понимаю, Абызь то—съ тобою, то—за тучами. Чудно.

— Вотъ, видишь, милый, Онъ такой мой Господь: Онъ и на небѣ, и на землѣ, вездѣ, и около тебя, если ты Его позовешь... все слышитъ, все видитъ, всѣ мы Его дѣти, и всѣхъ Онъ насъ любитъ: Вездѣсущій, Всемогушій и Всевѣдушій.

Послѣднихъ словъ Тибанъ не понялъ, но они почему-то заставили забиться его сердце,—съ такой силой, любовью и трепетомъ, произнесъ ихъ молодой монахъ.

— Чудно,—покачалъ онъ головою.—И нѣтъ, и есть. Какой вашъ Богъ, сильный?

— Да, и сильный, и кроткій, и милостивый. Хочешь, я расскажу тебѣ о Немъ?

— Нѣтъ, не надо. Я старый... какъ вѣрилъ, такъ и вѣрить буду. Боюсь слушать: меня камъ нашъ орбой ¹⁾ зашибетъ. Скажетъ: „сдурѣлъ совсѣмъ, развѣ молодой—дуришь, голова безумна?“ Я какъ вонъ то дерево кузукъ-агашъ, гляди на камняхъ: куда вѣтками повернуло, туда и стоитъ.

Глаза молодого монаха впились въ могучій кузукъ-агашъ. На вершинѣ скалы, глубоко среди камней впились корни въ землю, обвили толстыми корнями скалы и ушли глубоко подъ землю въ расщелинахъ камней; вода нехватила его, и онъ, несокрушимый бурей, стоялъ тутъ, чуть шелестя вѣтвями и принимая первые порывы вѣтра, все крѣпчавшаго на открытой глади Телецкаго озера, гдѣ уже гуляли волны, покрытыя бѣляками.

— Здоровая буря будетъ! Тамъ послушникъ котлы кипятитъ. Прочно палатку натянули, только дырявая шибко, да тамъ и вѣтра нѣту, суды только хватаетъ!—заговорилъ подошедшій Василій.

Подъ порывы вѣтра и рокотъ еще далекой грозы они всѣ, кромѣ гребцовъ, устроившихся въ расщелинѣ скалъ, похожей на пещеру, собрались около костра, разведеннаго руками послушника и діакона. На кострѣ кипѣлъ чайникъ, и послушникъ развязывалъ сумы, вынимая черствый хлѣбъ, соль и яйца.

— И рыбы нельзя половить, какъ озеро бунтуетъ. Вонъ они молніи какъ небо рѣжутъ близко!—заговорилъ опять Василій.—Охъ, какая буря идетъ... столпотвореніе тутъ будетъ: камни затрясутся; а Яман-Чили!.. вы не повѣрите, что съ Яман-Чили станется скоро!

О. Макарій не сталъ раздѣваться, вышелъ изъ палатки и подошелъ къ камнямъ, парашетомъ поднимавшимся надъ точно притихшей и сжавшейся рѣкою. Буря шла издали, и горы гудѣли эхомъ, принося еще далекій громъ. Во мглѣ, быстро наступившей, можно было при блескѣ приближавшихся молній, разглядѣть бѣлые гребни волнъ. Грозно шелестѣли вершины деревьевъ, и дикой, даже страшной была эта картина; Василію, выдавшему виды, и вышедшему вслѣдъ за нимъ стало жутко.

¹⁾ Колотушкой.

— О. Макарій, пойдёмъ туда: тутъ адъ dospѣется... и такъ вѣтеръ рветъ, иди!

— Я побуду: бурю посмотрѣть хочу. Ты часто бывалъ здѣсь, Василиій?

— Часто.

— И Тибанъ?

— И онъ тоже, душа нехрещшоная; разъ было погибнули, хватило насъ версты полторы отсюдова бурю. Идите, о. Макарій: жутко!

— Поди одинъ, оставь меня тутъ: хочется глядѣть на бурю: никогда не видалъ ея тутъ. Это гнѣвъ Божій несется на тѣхъ, что противятся. Показываетъ Господь силу Свою въ вихрь и бурю. Нужно поучаться смиренію у природы. Видишь, къ землѣ клонятся кусты и таль? это—смиранные; буря ихъ не тронетъ; а тѣ, вонъ, на кручахъ—гордые... сломить! Сегодня тотъ, вонъ, кузукъ-агашъ надъ рѣкою упадетъ, вѣрь мнѣ.

— Ну?!—съ сомнѣніемъ покачалъ головою Василиій.—Тотъ—ни зашто. Споконъ вѣка онъ тутъ.

— Сломить!—сказалъ о. Макарій твердо.—Увидишь,—потому что много дѣлаетъ Господь для вразумленія душъ маловѣрныхъ.

И стихъ, задумался, а Василиій ушелъ. Ему не хотѣлось быть промоченнымъ дождемъ и онъ сказалъ молодому послушнику:

— Чудитъ нашъ о. Макарій, бурей любоваться хочетъ. Бѣги-ка, дай ему закрыться плащомъ: до костей промочить: Дожь, ишь, ужъ!

Онъ вздрогнулъ и перекрестился отъ рокота, пронесшагося по горамъ. Вслѣдъ за ударомъ грома точно заговорили скалы; Яман-Чили глухо зарокотала, а молнія рѣзкими зигзагами вилась по небу, то блѣдная, то яркая, разбрасываясь стрѣлами или прорѣзая рѣзкимъ угломъ точно погустѣвшую разомъ мглу. Ближе и ближе. О. Макарій, сложивъ руки, смотрѣлъ на нихъ. Можетъ быть, онъ молился. Молодому послушнику, вышедшему попровѣдать его, казалось, что онъ молится: онъ замѣтилъ при блескѣ молніи сложенные на камнѣ и сжатые руки и тихо вернулся въ палатку.

— Не ходи, не мѣшай!—остановилъ онъ Василия.—У

него душа не наша, онъ бури любить и грозъ не боится. Богъ не попуститъ ничему случиться съ нимъ.

И всѣ они остались, слушая грозные удары подходившей тучи, сыпавшей молніи уже всѣ яркія, какъ зарница, и гудѣвшей теперь непрестаннымъ гуломъ.

Вдругъ дикій порывъ вѣтра заколебалъ палатку, чуть не сорвалъ ея; другой—третій, и—все загудѣло, точно въ котлѣ: лѣсъ, горы, громъ, рѣка, озеро и вѣтеръ. Всѣмъ стало жутко за одинокаго человѣка, тамъ, на камняхъ, открытыхъ бурѣ, и Василий рискнулъ выползти къ нему вмѣстѣ съ послушникомъ, но тотчасъ же они опять вползли назадъ: такой адъ царилъ за палаткой! Дождя не было, падали капли, крупные, тяжелыя, но рѣдкія, а гроза, казалось, рушила скалы. Въ нѣмомъ ужасѣ они ждали своего спутника, а онъ не шолъ. Дождь хлынулъ не сразу, но когда онъ полилъ, то, казалось, разверзлось небо! Цѣлые потоки залили ихъ палатку мигомъ, пока не замокъ холстѣ, а потомъ, между грохота бури и ливня, дробью стучавшаго по камнямъ, разомъ точно всколыхнулась и загудѣла Яман-Чили, будто опомнившаяся и желавшая поспорить съ хаосомъ звуковъ.

О. Макарій укрылся за камнемъ отъ первыхъ капель дождя, подъ его навѣсомъ онъ, не отрываясь, глядѣлъ на озаренную теперь не погасавшими молніями рѣку, точно выроставшую на его глазахъ, подъ хлынувшимъ ливнемъ, на ровныя зигзаги молній, слѣпившіе на мигъ его глаза. Сердце шибко билось у него подъ простою, темною рясою. Казалось, эти камни кругомъ него дрожали, и сама земля рокотала отъ новыхъ и новыхъ ударовъ. И вотъ грянулъ ударъ такой оглушительный, что ему показалось, будто онъ падаетъ въ бездну Яман-Чили; что-то словно ухнуло, и вѣтеръ, пронесшійся ужасающимъ порывомъ, заставилъ его инстинктивно обхватить камни руками, чтобы не быть сметеннымъ въ клочковатую Яман-Чили. Еще и еще. Тѣ въ палаткѣ легли на землю: имъ казалось, что земля колеблется, и они погибаютъ. Тибанъ стоналъ, а алтайцы въ пещерѣ не подавали звука. И вдругъ, послѣ этихъ страшныхъ ударовъ, потоки дождя точно разомъ остановились, словно могучая рука повернула бурю, и вѣтеръ рванулъ еще двумя—тремя ужасными порывами, улетѣлъ далеко, гоня тучу, грозу и бурю. Только вспѣ-

ненная, вздувшаяся Яман-Чили неслась и бѣшено гудѣла, ломая въ щепы попавшія въ нее деревья, и несла мимо о. Макарія эти обломки, точно кичась своей мощью и силою. Тихій, но уже теплый дождь сѣткою одѣлъ дали, не стало видно даже бушевавшей Яман-Чили; блѣдныя ленты молній еще прорѣзали дождевую дымку, но онѣ погасли и сгнули, и только громъ, отдаваясь эхомъ, гудѣлъ въ камняхъ, и этотъ гулъ мѣшался съ ревомъ рѣки, собравшей въ себя воды ручьевъ, падавшихъ съ вершинъ, и сильной, могучей и грозной несшейся въ Телецкое озеро. Почти сухой вышелъ о. Макарій изъ своего прикрытія.

— „Да, ужасны грозы и бури!“—думалъ онъ.—„Точно песчинка человѣкъ въ горнѣ жизни! И смѣемъ, песчинки малыя, думать, мыслью возноситься, мня себя чѣмъ то! Дунуль Творецъ, и падешь камнемъ пришибленный!“

— Василиій, живы ли вы?—ощупью добрался онъ до палатки.

— Живы!—отвѣтили ему.—Подмокло все, не можемъ костра разжечь, а Василиій гдѣ-то вышелъ искать васъ.

Общими усиліями развели костеръ, пока послушникъ кликалъ Василия, и усталые, измученные сѣли къ нему, смотря на пламя.

Тибанъ закурилъ трубку и исподлобья взглянулъ на о. Макарія, примѣтивъ его пристальный взглядъ.

— Чего глядишь?—сказалъ онъ.—Напугался развѣ? Вонъ какъ курюмесь бѣсится, поневолѣ напугаетъ!

— Нѣтъ, это не курюмесь, это—Господь. Онъ только „ѣдетъ въ тучѣ громовой—и правитъ молніей крылатой!“—перевелъ красивыя слова священникъ — Курюмесь трепещетъ грозы: вѣдь, это—гнѣвъ Божій. Ахъ, Тибанъ, Тибанъ! Могъ бы насъ сегодня Господъ смести съ камней этихъ въ Яман-Чили, и разбились бы о камни наши тѣла, какъ тотъ кузукъ-агашъ, о которомъ ты мнѣ говорилъ, но Онъ—добрый.

— Кузукъ-агашъ, Абызъ? что съ кузукъ-агашемъ? Упалъ, лежитъ?!

— Увидишь!—спокойно и увѣренно сказалъ монахъ.—Лежитъ: и корни не удержали: разорваны, разметаны. Помнишь, что ты говорилъ мнѣ давеча?

— Нѣтъ, нѣтъ!—вскричалъ Тибанъ.—Неправда... врешь,

не упадетъ. Куда протянулъ вѣтки, тутъ и будетъ! Ты врешь, Макарій.

— Посмотри завтра. Господь мой показать тебѣ захотѣлъ, какая ничтожная вѣра твоя, которую ты мѣнять не хочешь. Посмотри завтра, если только Янман-Чили его не унесетъ.

И онъ самъ положилъ свое сѣдло себѣ подъ голову и легъ на потникъ лошади, покрытый рясою изъ грубаго сукна, полою которой онъ закрылся, протянувъ утомленное тѣло. А Тибанъ, отъ которого убѣждалъ сонъ, сидѣлъ и сурово ворчалъ самъ съ собою.

— Вреть. Крѣпкій кузукъ-агашъ дѣдъ отца видѣлъ его... Проходили бури, гремѣлъ громъ. Конечно вреть. Тамъ же кузукъ-агашъ. Не вѣрю ему.

Но и Тибана сморилъ сонъ. Онъ такъ и уснулъ, уткнувъ въ колѣни голову, крѣпко, такъ крѣпко, что поздно прорвавшееся завѣсу тумановъ солнце достаточно обогрѣло и обсушило мокрые камни, когда онъ открылъ глаза.

О. Макарій спалъ. Спокойное, строгое молодое лицо его носило слѣды покоя, руки устало закинулись за голову, и гнѣвъ, закипѣвшій почему-то въ сердцѣ Тибана, потухъ и угасъ, разсѣялся, какъ дымъ кадильный, при взглядѣ на мирно спавшаго священника. Скептически улыбаясь, онъ пошелъ межъ омытыхъ, сверкающихъ чистотою, гранитныхъ глыбъ и взглянулъ на Яман-Чили, еще окутанную туманомъ и на противоположный берегъ... Тамъ все было покойно и тихо, пелена тумана скрывала низину, но утесъ...

— Ай!—вскрикнулъ Тибанъ.

Точно смело кузукъ-агашъ, даже слѣды вывороченныхъ корней между камнями замыло иломъ, бѣжавшаго тутъ ночью ручья. Утесъ поднимался голый изъ тумана, и сердце алтайца взволнованно затрепетало.

Цѣпляясь за камни, онъ спустился внизъ къ Яман-Чили, уже обычной, грохотающей. Въ ущельи, среди камней, по срединѣ его, поперекъ съ вывороченными корнями, казавшимися толстыми змѣями, уродливо и странно извивавшимися, лежалъ лѣсной исполинъ, поверженный и жалкій, съ обломанными вѣтками, и вода бѣшено, точно издѣваясь, кидала на него быстрыя струи, покрывая пѣной могучій и сильный стволъ бѣсясь и стараясь сокрушить неподвижнаго исполина.

Качая головой, Тибанъ потрогалъ безпомощно повисшія вѣтви вершины.

— Точно мостъ. Пройти можно, пока не собьетъ его другая буря. Тѣшится Яман-Чили, тѣшится! — со злобой взглянулъ онъ на рѣку. — Ахъ, Абызь Макарій, Абызь Макарій!

И, отвернувшись, онъ сѣлъ на камняхъ, полный новой думы.

А Абызь, тоже вставшій, глядѣлъ на голую скалу, и въ его душѣ трепетало благодарное чувство къ Господу, хотя его мрачила жалость къ поверженному лѣсному гиганту.

— „Душа человѣческая дороже безконечно дерева, и все же жалъ и дерево бѣдное, поверженное. Всегда жертвы нужны, жертвы за христіанскую душу. Господи, просвѣти раба Твоего Тибана!“

— Ахъ ты, Господи! Тибанъ, а Тибанъ, гдѣ ты? — всполошился вставшій Василій. — Гляди, кузукъ-агашъ-то вывернуло, и слѣдочка нѣтъ. Ну, да и буря была! я думалъ свѣтопреставленіе, какъ это мы всѣ не погинули!? Вы тутъ сидѣли, о. Макарій? — и онъ указалъ на камень, круто нависшій надъ другими. — Тоже рисковали. Мнѣ въ долину Чолушманской не разъ приходилось видать, какъ въ бурю этакіе-то камни летятъ, какъ галечки. Здѣсь бури, сами видѣли, не игрушки.

— Тибанъ!! да гдѣ онъ запропалъ?! Ишь, собака, сидитъ у Яман-Чили. Вонъ, поглядите, батюшка, и кузукъ-агашъ распластался тамъ... глядите, ровно мостъ. Не можетъ упереть его Яман-Чили, даромъ что сильная; а вѣтки пообщелкала, вотъ, какъ въ лептѣ*) ровно:

„Кедръ высокій съ облаками
Наравнѣ вчера стоялъ,
Нынѣ-жъ вверхъ лежитъ корнями,
Буйный вихрь его сорвалъ!“

— Собирается нужно! — сказалъ тихо монахъ.

— Тибанъ, поплывемъ, иди.

— Собирайтесь, Василій, а я къ нему спущуся!

И спустился съ кроткими словами, которыя сердце Тибана, смятенное и взволнованное, принимало какъ-то безразлично,

*) Лепта — это сборникъ пѣснопѣній религіозно-нравственнаго содержанія.

точно они не доходили до него. Онъ пошелъ за о. Макаріемъ, взобрался къ верху, и черезъ часъ они опять плыли въ своей лодкѣ туда, гдѣ Алтын-Ту поднималась отъ озера скалистыми, неприступными берегами, уходя оснѣженной вершиной въ синее, совершенно чистое, безъ отмѣтки, небо.

V.

Тихо плыла лодка. Гребцы истомленные отдыхали, а о. Макарій глядѣлъ на грозное ущелье Аю-Кечпеса, ущелье, которое выходило къ самому берегу, заросшее кустарниками. Между камней оно было страшно, казалось, что за нимъ гремитъ кто-то невѣдомый, не водопадъ, а чудовище, скованное въ глубинѣ, гремитъ, стонетъ и рвется на просторъ синяго озера изъ своей узкой тѣснины. Миссіонеръ глядѣлъ, не отрываясь, дремали гребцы подъ горячимъ солнцемъ, медленно поднимая и опуская весла, дремали спутники и только Тибанъ, да молодой послушникъ не спали, и когда о. Макарій поднялъ глаза, они встрѣтились съ глазами стараго алтайца.

— Это Аю-Кечпесь?—спросилъ онъ его тихо, но внятно, чтобы не нарушить покой другихъ.

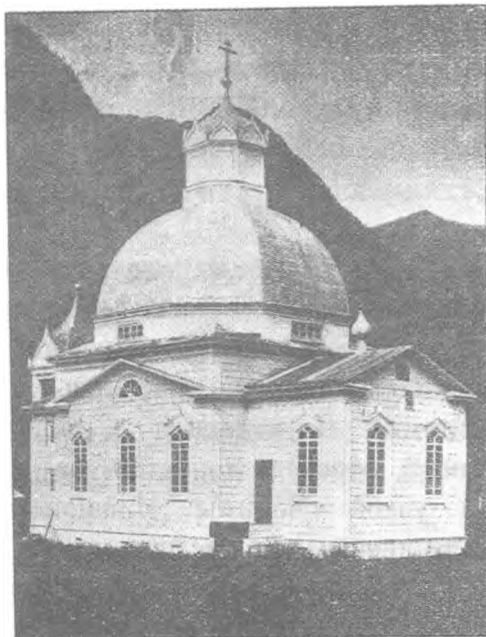
И тотъ, точно ждавшій его слова, пошелъ къ нему.

— Да, абамъ... Аю-Кечпесь... ишь. гудитъ и реветъ, какъ Яман-Чили въ бурю. Ахъ, абамъ! вѣдь, онъ рухнулъ весь, и корня не осталось!

— Онъ рухнулъ потому, что не хотѣлъ смириться, согнуться передъ гнѣвомъ Творца, а всѣ тѣ, которые склонились предъ Нимъ, живы, омыты дождемъ и прекрасны. Ты склонись, Тибанъ, потому что ты увидѣлъ могущество Божіе. Мы передъ Нимъ, какъ ничтожныя песчинки, но Онъ любитъ и бережетъ насъ, какъ отецъ.

— Да, абамъ, да!—говорилъ Тибанъ смиренно.—Да, я боюсь. Теперь я буду креститься. Сердце Тибана трепещетъ гнѣва твоего Бога, а Тибану недолго жить.

— Нѣтъ, Тибанъ будетъ жить долго, всегда. У нашего Бога, когда приходитъ земная смерть, для людей Его любившихъ, начинается другая жизнь, тамъ вонъ,—указалъ онъ на синеву неба.—Душа уходитъ туда съ ангелами и оттуда, изъ Божьихъ садовъ, будетъ глядѣть сюда на міръ, на Алтай,



...поможетъ Богъ, поднимется изъ небу христіанскій храмъ...

молиться за него и радоваться въ свѣтѣ. Тамъ такая красота, мнѣ моимъ слабымъ языкомъ не сказать тебѣ того, что насъ тамъ ожидаетъ.

Тибанъ заглядѣлся на небо и задумался, а уста миссіонера, тоже смолкшія, чуть-чуть шевельнулись, и глаза все глядѣли на причудливыя скалы и выступы, на массивъ Алтын-Ту и на длинныя косы песчаныхъ отмелей, покрытыхъ таломъ, прикрывающихъ устье Чолушмана. Душа была пріобрѣтена для Христа, и слова глубокой благодарности за эту пріобрѣтенную душу теперь шептали его уста.

VI.

Была ночь. Дремали горы Чолушманской долины, только водопады, нарушая тишину, звенѣли и пѣли, да въ сердцѣ о. Макарія расла и поднималась тихая, смиренная радость.

Сегодня въ волнахъ Чолушмана крестили Тибана, и пріемникомъ его былъ Василій, старый другъ, а теперь крестный отецъ новокрещенаго. Лица ихъ были радостны и свѣтлы, а на нихъ смотрѣли алтайцы, которыхъ долго и много училъ

сегодня онъ самъ. Въ ночь, наводненную луннымъ свѣтомъ, на камнѣ у одинокой палатки, среди дикой, прекрасной и строгой природы, его сердце не томила мысль, какъ онъ останется здѣсь одинъ, безпомощный и отрѣзанный отъ міра: съ нимъ былъ его Господь, его сила, крѣпость и радость.

— „Тибанъ, другіе, развѣ мало людей будетъ съ нимъ? Послушникъ, діаконъ, инородцы... Строить будутъ тутъ, ронить эти деревья. Поможетъ Богъ, поднимется къ небу хри-



Водосвятіе на Белѣ, совершенное 1-го августа преосвящ. Макаріемъ, (нынѣ митропол. Московскій).

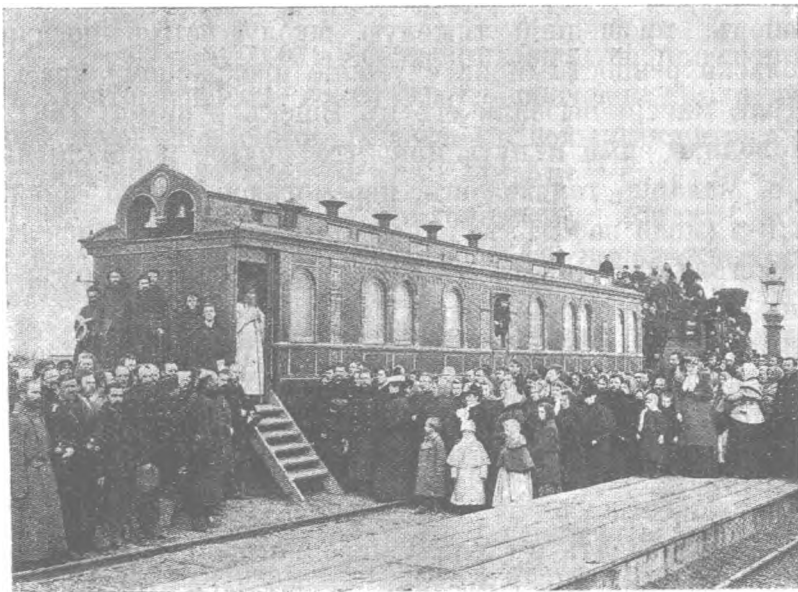
стіанскій храмъ, и алтайскія горы услышатъ звонъ колоколовъ. Конечно, это не скоро будетъ, но онъ молодъ и силенъ. Не даромъ ему являлся во снѣ архимандритъ основатель, чье имя онъ носилъ, не даромъ велѣлъ ему обучаться тутъ въ Алтаѣ, который любила его праведная душа. Онъ отдастъ силы, душу, если нужно, жизнь горамъ и людямъ Алтая, кроткимъ людямъ, простымъ, суевѣрнымъ и не злымъ, научить ихъ правдѣ и любви, научить любить Бога, ближнихъ и не будетъ падать духомъ передъ бурями земными, склоняясь въ прахъ предъ Господомъ, какъ гибкія лозы, передъ Господомъ, любовью къ Которому полно его сердце!“

— „Душу—Богу, тѣло—труду, съ надеждою только на Его помощь. Вотъ эти руки должны неустанно трудиться, вмѣстѣ съ умомъ. Какъ прекрасна ночь! Красота міра, чи-

стый даръ Божій, данъ въ утѣшеніе ему. Господь милосердъ и наставитъ его тутъ!“

Полная мира долина дремала, ритмически шумѣли водопады, и гремѣлъ Чолушманъ, убѣгая въ Телецкое озеро. Причудливо и строго выступали горныя массивы, а звѣзды небесныя сіяли, какъ ангельскія очи, вѣчныя звѣзды, свѣтившія апостоламъ, чѣмъ подражателемъ хотѣлъ быть этотъ смиренный человѣкъ. Божій миръ въ тихой Чолушманской долинѣ, полной покоя, охватилъ его сердце. Его не тянуло на отдыхъ: такое созерцаніе было отдыхомъ для него. Чудное созданіе Божіе Алтай, прекрасная жемчужина въ вѣнцѣ Его твореній, спавшая въ нерушимомъ покоѣ, дана была ему слабому въ жребій, и онъ долженъ былъ свято исполнять все, что хотѣлъ, незамѣтно, не для славы, а изъ-за любви, которой полно было его молодое сердце, все отданное на служеніе Господу, Кому ввѣрилъ онъ себя и свою молодую жизнь.





Архіеп. Макарій, нинѣ Митроп. Московскій, въ церкви—вагонѣ на ст. Томскѣ.

Съ Алтай.



Это было давно, когда Онъ, древній миссіонеръ Христа, святой Пантелеймонъ, пришелъ съ далекаго Аѳона въ Алтай, невидимо явился вмѣстѣ съ образомъ своимъ, и въ Алтай всѣ потянулись къ Нему, начиная съ миссіонеровъ и кончая крещеными инородцами; любовь Его, посланника Христа и безмезднаго Цѣлителя, простиралась на всѣхъ, кто Его звалъ, и не мало явилось знаменій Божественной благодати, пріисущей Его святымъ мощамъ и иконѣ: исцѣлялись бѣсноватые, страдавшіе пристрастіемъ къ вину, болѣвшіе ранами, больные глазами, и епископъ Владимиръ, начальникъ миссіи, съ благоговѣніемъ часто говорилъ о дивныхъ случаяхъ исцѣленія всѣмъ, кого видѣлъ страдающими и измученными.

Миссіонеры любили Алтай пламенно,—изъ него ихъ выгоняли только дѣла службы. Живя въ Бійскѣ, они съ любовью глядѣли въ ясные дни на дальнія горы, похожія на миражи, тонувшія въ голубоватой дымкѣ; пуще другихъ томились въ такіе заѣзды въ городъ о. игуменъ Макарій ¹⁾, еще молодой

¹⁾ Нынѣ митроп. Московскій.

миссіонеръ, прошедшій тяжелую школу всѣхъ послушаній, апостольски ревностный на служеніе прекрасному краю.

Дѣла миссіи вызвали его въ Бійскъ и зимою 1881 г.

Холодная зима и путь или что другое повліяло на здоровье о. Макарія, только онъ, преодолевая много дней, свалился и тяжело заболѣлъ, а позванный докторъ нашелъ, что онъ заболѣлъ брюшнымъ тифомъ въ тяжелой формѣ, и что болѣзнь его для жизни опасна.

Былъ хмурый день, когда докторъ поставилъ свой діагнозъ. Отецъ Макарій лежалъ въ жару съ горящей головой и бредилъ Алтаемъ, работой, миссіей, говорилъ о далекомъ Чолушманѣ, о миломъ Чемалѣ, заботился о новокрещенныхъ и метался на жесткомъ ложѣ къ большой тревогѣ окружающихъ.

— Надо послать въ Улалу нарочнаго,—сказалъ епископъ Владиміръ,—помолиться просить передъ святымъ Пантелеймономъ за о. Макарія миссіонеровъ улалинскихъ; вижу я и самъ, что онъ трудно боленъ, а потерять его для миссіи—слишкомъ большая утрата.

И въ тотъ же день послалъ нарочнаго съ письмомъ въ Улалу, гдѣ просилъ помолиться за трудно болящаго передъ иконою святого Пантелеймона.

Владыка былъ тревоженъ: онъ любилъ отца Макарія за его огромный трудъ, совершенный для миссіи, за послушаніе и покорность, за чистоту мыслей и вѣрующую душу, и ему было страшно думать, что изъ миссіи можетъ уйти ея лучшая сила.

Было утро. Маленькій городокъ только что началъ просыпаться, и почтари стали разносить „почту“, которая приходила сюда черезъ двѣ недѣли и привозили давно написанныя письма изъ милаго далека, изъ Россіи, до которой тянулись тысячи верстъ.

Корреспонденцію о. архимандриту подали по обычаю къ чаю, и, разбирая ее, довольно большую, онъ остановилъ глаза на иностранной маркѣ письма: адресъ былъ на имя больного отца Макарія и по штемпелю о. архимандритъ узналъ, что это письмо съ Аѳона; онъ тутъ же рѣшилъ его распечатать, и слезы набѣжали на его умные темные глаза, когда онъ увидѣлъ прекрасный ликъ святого великомученика Пантелеймона.

— „Отъ таковыхъ изображеній бываютъ исцѣленія болящимъ, притекающимъ съ вѣрою“,—прочелъ онъ и, бросивъ разборъ корреспонденціи, пошелъ къ больному, держа въ рукахъ письмо.

Отецъ Макарій иногда приходилъ въ сознаніе: это были часы просвѣтленія, и въ это утро онъ открылъ воспаленные глаза.

— Послушай-ка,—ласково сказалъ ему о. архимандритъ, —я, вѣдь, нарочно послалъ въ Улалу помолиться о здоровьѣ твоёмъ, а это вотъ къ тебѣ небесный Цѣлитель пришелъ.

И онъ подалъ ему святое изображеніе Великомученика Пантелеймона.

Слабая рука больного потянулась къ нему, исхудалые пальцы сотворили знаменіе креста, и, слушая чтеніе письма, о. Макарій, охваченный порывомъ вѣры, положилъ себѣ на грудь святое изображеніе; но волненіе его утомило: онъ опять сталъ метаться, и пріѣхавшій докторъ объявилъ, пожимая плечами послѣ промѣрки температуры, что жаръ страшно великъ, и что онъ при самомъ благопріятномъ исходѣ будетъ продолжаться еще недѣлю, затѣмъ съ недѣлю еще уменьшаться, если не послѣдуетъ печальнаго кризиса. То же сказалъ онъ и утромъ на слѣдующій день.

Въ это время въ Улалѣ тоже получили печальную вѣсть, и звонъ раздался съ колокольной красивой бѣлой церкви, раздался и полетѣлъ къ вершинамъ горъ, тихо дремавшихъ подъ снѣгами.

Было холодно. Изморозь носилась въ воздухѣ, и солнце декабрьскаго дня казалось огромнымъ шаромъ, плывшимъ надъ мохнатой Сурьмейкой. Большая безлѣсная Тугая и длинный пикъ Андріяшки, всѣ горы—дальнія и ближнія—безстрастно слушали звонъ колоколовъ, звавшихъ въ церковь для молитвы о болящемъ своемъ печальникѣ, кто прошелъ Алтай изъ края въ край съ молитвою, любовью и пламеннымъ словомъ, отдавая ему свои силы, и кто теперь умиралъ за его гранью, въ Бійскѣ, изъ котораго горы Алтая казались маревомъ, синею тучей, стлавшейся вдали.

Въ церкви выносили икону, толпились люди съ огорченными лицами, слышались разговоры. Старые, слабые миссіонеры—всѣ потянулись туда одинъ за другимъ.

Молебень совершали соборнѣ, благоговѣнно моля Цѣлителя, даннаго Милосерднымъ Господомъ страдающимъ людямъ, чтобы Онъ сохранилъ для Алтая полезную жизнь его труженика; молились долго отъ всего сердца, и къ концу молебна церковь оказалась полной народа: пришли старые, малые, богатые, бѣдные, и въ церкви несся тихій шепотъ:

— Шибко боленъ о. Макарій въ Бійскѣ... нарочнаго прислалъ отецъ архимандритъ молиться за него... сохрани его, Господи...

Пѣвчіе пѣли на хорахъ, и когда начался акафистъ, всѣ повторяли за ними: „Святый Великомучениче и Цѣлителю Пантелеимоне, моли Бога о насъ!“

— Радуйся, славный проповѣдникъ православія!—читалъ священникъ, а у самого невольно мысль уходила къ о. Макарію, тоже проповѣднику православія, умиравшему вдали. И онъ былъ добрымъ воиномъ Царя царей, какъ Тотъ, Кому за него молились.

— „Господи, спаси!“—неслось въ его головѣ.—„Сохрани!“

И опять истово съ твердою вѣрою читалъ онъ слова акафиста:

— Радуйся благосострадательный врачу, исцѣленія благодатныя подавай!

Горячо и торжественно неслись слова, а хоръ свѣжими молодыми голосами пѣлъ:

— Радуйся, Великомучениче и Цѣлителю Пантелеимоне!

Послѣ отслуженнаго соборнѣ, заказали молебень о болящемъ прихожане Улалы, потомъ еще нашлись желающіе помолиться отдѣльныя лица, и долго въ церкви звучали теплыя молитвы и стройное пѣніе, а короткій день уходилъ, догорая, какъ та жизнь, за которую такъ искренне молились въ Улалѣ простые любящіе люди.

Архимандритъ Владиміръ тревожно ходилъ въ вечеръ этого дня по своему кабинету въ Бійскѣ; онъ только сейчасъ освободился отъ дѣлъ и послалъ за докторомъ для о. Макарія; онъ зналъ, какъ слабы силы больного, и опасеніе не давало ему покоя. Нетерпѣливо ждалъ онъ его и, не дождавшись, пошелъ къ больному.

— Что ты?—спросилъ онъ тревожно келейника, доставшаго бѣлье изъ бѣднаго чемодана.

Но отецъ Макарій отвѣтилъ за него.

— Спотѣлъ я сильно, слава Богу, и жара не чувствую... Слава Господу Богу.

И дѣйствительно, горѣвшая такъ недавно сухимъ жаромъ кожа была влажной, когда о. архимандритъ положилъ руку на лобъ больного, а рубашку, совѣмъ потную, онъ поспѣшилъ самъ помочь переменить.

— Это въ Улалѣ Великомученику молятся!—сказалъ онъ радостно.—А вотъ и докторъ... говорите слава Богу: спотѣлъ онъ.

Докторъ сперва не хотѣлъ вѣрить: утромъ онъ много возился съ больнымъ, желая достигнуть хотя бы небольшого увлаженія кожи, натирая тѣло мокрыми полотенцами, но результата не достигъ никакого, а теперь удивленно и обрадованно заговорилъ, быстро осмотрѣвъ больного:

— Да, дѣйствительно... но это удивительно... температура спала... нормальная... это просто чудо, владыка!

А владыка съ мягкою радостною улыбкою сказалъ:

— Истинно чудо, а Чудотворецъ нашъ—въ Улалѣ; Ему сегодня должны молиться тамъ отцы и братія, и ихъ общая молитва лучше нашей дошла до Бога... кажется, засыпаетъ больной нашъ... пойдемте, друже... это—чудо, да. Слава Богу...

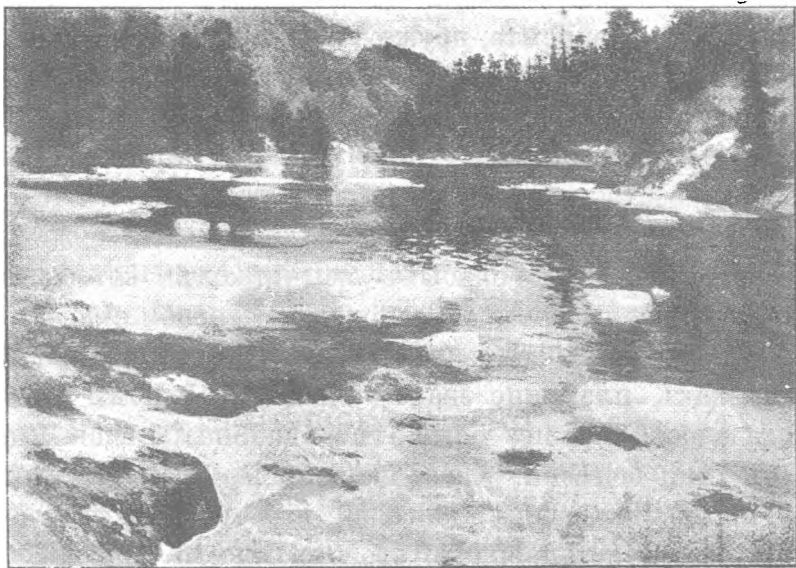
А больной съ истомленнымъ лицомъ лежалъ, плотно стиснувъ вѣки, потому что горячія, жгучія слезы теплой благодарной радости трепетали у него подъ рѣсницами, и ему не хотѣлось показать этихъ умиленныхъ слезъ чужому человѣку. Ему вспомнилось пережитое за эти дни, мысли о жизни не для себя, а для тѣхъ слабыхъ язычниковъ, которымъ онъ умѣлъ внушить любовь къ Господу; ему вспомнилось отчетливо, какъ въ полубреду онъ звалъ Великомученика за дни болѣзни, какъ пламенно звалъ, и сегодня утромъ въ жару ему показалось, что онъ слышитъ обѣщаніе помощи... да, это было въ дни болѣзни: Онъ склонялся надъ его ложемъ; тонкій, прекрасный ликъ видѣлся его мысленнымъ очамъ, хотя ему казалось теперь, что это видѣли его тѣлесныя очи... да, это была истина: Онъ приходилъ къ нему изъ невѣдомаго чуднаго міра хвалы и славы со словами утѣшенія, съ обѣщаніемъ сохранить его жизнь для тѣхъ, кому она была нужна,

необходима для сотенъ и тысячъ жизней тамъ, въ любимыхъ горахъ.

О. Макарій ужъ не могъ сдержать слезъ, они катились по исхудалымъ щекамъ, свѣтлые, чистые перлы человѣческой благодарности Цѣлителю Господа Бога.

Съ этого дня о. Макарій сталъ поправляться быстро, точно прибывали силы, и съ новыми силами крѣпла его теплая вѣра къ небесному Заступнику, приходившему къ нему въ тяжкіе дни недуга и исцѣлившему его тогда, когда онъ почти безнадежный прижималъ слабѣющими руками къ груди образъ своего Цѣлителя, присланный ему съ далекаго Афона.

Это было давно, но и теперь, и въ наши дни, столько чудесъ свершается въ мірѣ по вѣрѣ людей! Кроткій Цѣлитель Господа Бога „ходитъ близъ Его призывающихъ съ вѣрою и цѣлитъ всякій недугъ и болѣзнь и сущія въ скорбяхъ чело-вѣки заступаетъ“. И надо звать Его всѣмъ, кто скорбитъ и томится страданіемъ души и тѣла, звать и вѣровать, какъ вѣрилъ о Макарій, всей душой и всѣмъ сердцемъ, что Онъ придетъ.



Озеро Кара-кол,—съ картины художника алтайца Гр. Ив. Гуркина.



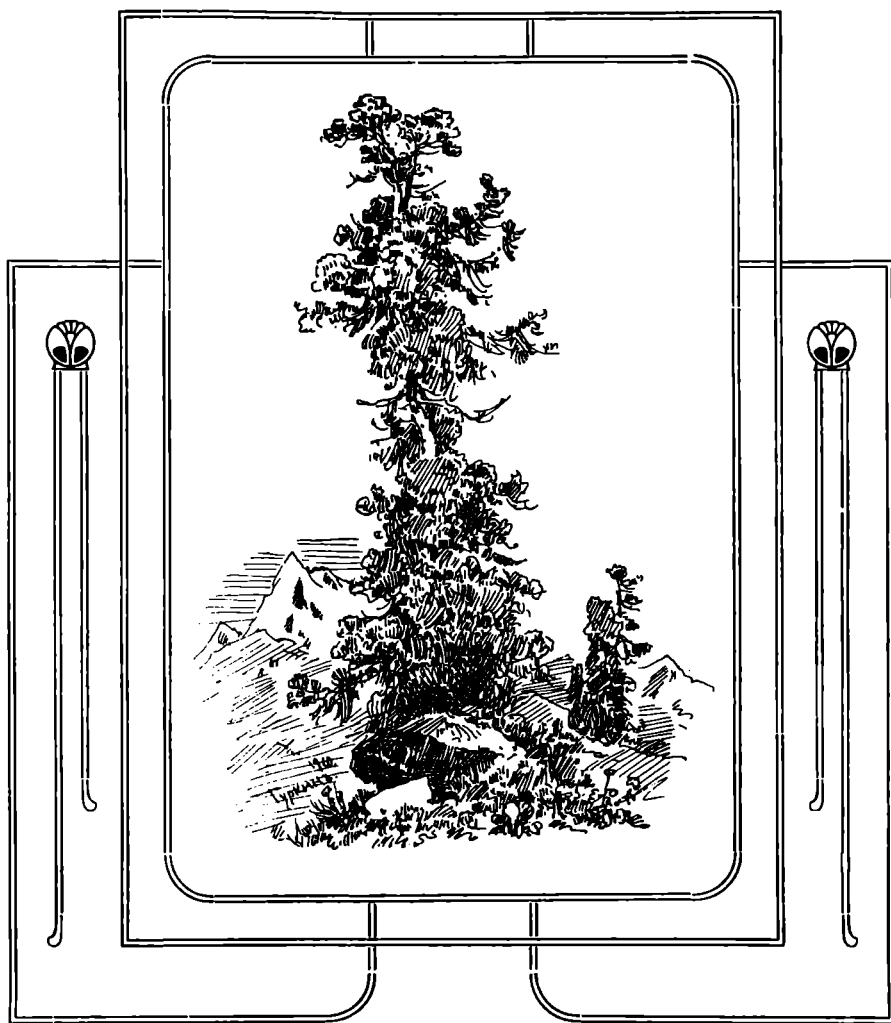
„Христосъ Ельгѣннѣнг“.*)

Весна чаровница прошла по Алтаю,
Цвѣты на долины и горы бросая;
До самыхъ бѣлковъ поднялася она—
Весна молодая, царица весна!..
Раскинулась гладь голубая озеръ,
Цвѣтами покрылися гривы у горъ;
А быстрыя рѣки Алтайскихъ долинъ
Журчатъ, вытекая изъ горныхъ вершинъ..
Проснулись Алтая пѣвцы и пѣвицы,
Запѣли ручьи, зачирикали птицы,
И вѣсть пролетѣла до самыхъ высотъ,
Что день воскресенія близокъ, идетъ!..

* * *

И тихою ночью изъ мглы, изъ тумана
Могучіе звуки, какъ голосъ титана,
Нарушили тишь задремавшихъ полей,
До лѣса поднявшись, до горныхъ цѣпей,
До самого неба, до звѣздъ золотистыхъ,
Сіяющихъ ласково, нѣжныхъ и чистыхъ,—
То колоколъ будить затишье долинъ
И вѣчный покой отдаленныхъ вершинъ!

*) Христосъ Воскресъ!



И слушают чутко гиганты лѣсные
 И звукъ колокольный, и пѣсни святыя,
 И рѣзвые словно притихли ручьи...
 А звуки земные расли и расли!...

* * *

Орлы на скалѣ и медвѣди въ берлогѣ,
 Буны на уступѣ скалистой дороги,
 Маралы на дальнихъ полянахъ и лѣсъ—
 „Христось“, прошептали, „сегодня воскресь“,
 И горъ великановъ огромныхъ громады
 Затихли въ молитвѣ... шумять водопады.

Все тише, со всѣми молитву творя,
На небѣ полоскою блещетъ заря.

* * *

Въ глуши, въ отдаленномъ, забытомъ аилѣ,
Алтайцы смиренно молитву творили,
Катунь разлилася—имъ путь преградила
И въ церковь въ пасхальную ночь не пустила!
Имъ звѣзды свѣтили на мѣсто свѣчей
И звономъ церковнымъ казался ручей,
А быстрой Катунь шумящія струи
„Христосъ Ёльгѣннѣнг“ имъ, казалось, шепнули.





Филаретъ митрополитъ Московскій и Коломенскій.
(1783—1867 гг.).

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННИШІЙ ВЛА-
ДИКО,

Милостивѣйшій Архипастырь
и Отецъ,

Святительское благословеніе, кото-
рѣмъ Вы напутствовали меня при
отъѣздѣ ^{моёмъ} въ ~~Тобольскъ~~, и которое соут-
ствуетъ мнѣ на поприщѣ нынѣш-
ней службы моей при земной Цер-
ковной Мисіи, да будетъ со мною въ
гасъ сей, когда хочу предать разсужде-
нію Вашему и некоторымъ мѣстамъ, на-
ходящимся въ родствѣ съ моею служ-
бою.

Божественное Провидѣніе пригото-
вило путь Христіанству отъ міра всея
предложеніемъ Священныя книги Вто-
раго Завета съ Еврейскаго языка на Ел-
линскій, который былъ тогда всеоб-
щимъ языкомъ въ образованномъ мірѣ;
потому сей же языкъ Душу Святому бы-
ло благоугодно освятить также слово
благодати Новозавѣтной, дабы органъ
сего спасительнаго слова, былъ, сколько

Начало письма къ и. Риларету (X 63)



Архим. Макарій (Глухаревъ)-- основатель алтайской миссиі...

Первый миссіонеръ на Алтаѣ въ Сибири.

(Изъ разсказовъ старожила).

Быстро пишетъ перо... тонкая рука кладетъ на бумагу слова, сухая старческая рука, а глаза отрываются не разъ отъ фразъ письма и засматриваются туда, гдѣ за окномъ вдали, какъ миражъ въ ясномъ разрѣженномъ воздухѣ, встаютъ алтайскія горы, въ этотъ ясный сентябрьскій день особенно рѣзко выступая стройными массами на синемъ фонѣ безоблачнаго дня.

— Душа рвется туда,—прошепталъ пишущій, откладывая перо.—Тянется къ этимъ алтарямъ Всевышняго, на дѣло...

Онъ всталъ и выпрямился. Въ подрясникѣ и скуфѣѣ небольшая худошавая фигура производила невыразимо пріятное впечатлѣніе, эта сѣдѣющая голова съ выющимися волосами, это милое съ тонкими чертами лицо, съ мягко очерченнымъ ртомъ и добрыми кроткими и ясными, какъ у ребенка, глазами, поверхъ очковъ засмотрѣвшимися на алтайскую даль, которую любило его сердце.

— Весною совсѣмъ уѣду туда!—вслухъ подумалъ онъ, и на стукъ, раздавшійся у двери, сказалъ:

— Войди!

Молодой келейникъ, спѣшно поклонившись, указалъ рукою въ сосѣднюю комнату.

— Тамъ о. Макарій, Іеремія Шишковъ пріѣхалъ изъ Улалы, хочется ему сильно васъ повидать... я зналъ, что вы пишете, да мѣшкать не сталъ.

— И хорошо сдѣлалъ, голубчикъ! Веди его, веди скорѣй... только что я на Алтай любовался, думалъ о немъ... гляди, какъ сегодня ясно видны горы...

Келейникъ мелькомъ взглянулъ на окно и вышелъ, введя черезъ минуту двухъ инородцевъ въ бѣдно обставленную комнату. Одинъ изъ нихъ широкоплечій, уже пожилой, широко улыбнулся.

— Здравстуй, архимандра, здравстуй... вотъ, и въ Бійска тебя нашла мой... поклонъ отъ Алтая, отъ Улалы поклонъ; а это—мой зять, онъ крешонный тоше.

Отецъ Макарій любовно благословилъ ихъ. Оба алтайца походили одинъ на другого: плоское лицо, небольшой лобъ, выдающіяся скулы, волосы и брови, какъ смола, глаза, унырнувшіе подъ лобъ, и совсѣмъ безъ переносицы почти носъ, безъ бороды и усовъ, по обычаю выдерганныхъ, въ своихъ халатахъ, обшитыхъ краснымъ кумачемъ широкой засаленной каймой, эти алтайскія дѣти были очень оригинальны; изъ за праваго голенища широкаго кожаннаго сапога у cadaго торчалъ кожаный кисетъ съ табакомъ и трубка, а сверхъ халата, подпоясаннаго ремнемъ, висѣли на ремешкахъ привѣшенные къ нему ножи въ костяныхъ ножнахъ и огнива, а въ кожаной сумочкѣ—ремень и труть. Чинно усѣвшись на полу, поджавъ подъ себя ноги, они тутъ только сняли пиро-гообразныя съуженныя къ задѣ шапки съ околышкомъ изъ

мерлушки и лентами сзади, подбитыя красной матеріей съ разноцвѣтнымъ кружкомъ на серединѣ; волосы ихъ были выстрижены, и косы сръзаны, потому что они были окрещены.

— Всѣ ли здоровы въ Маймѣ?—спрашивалъ ихъ архимандритъ, попросивъ келейника приготовить чаю.—Собираюсь туда, да боюсь спугнуть ихъ: говорятъ мнѣ, что опять стали въ Улалу селиться изъ айловъ.

— Да... да... вотъ и мы къ тебѣ, архимандритъ, о. Макарій: ужъ какъ тебя тамъ надо!—заговорилъ Іеремія.—Шипко надо... есть тамъ одинъ парень Элеска, креститься хочетъ, страсть какъ хочетъ креститься... мы собиралися въ Бійскъ, а онъ тихо пришелъ изъ аила, его отецъ другъ мнѣ, сердитый только шибко, а Элеска просить, такъ шибко просить, со слезами:

— „Ой, пожалуйста, попроси абыза Макарія пріѣхать сюда, я все знаю... молитвы умѣю, молюсь шибко, а туда далеко, гдѣ онъ живетъ... мнѣ нельзя, отецъ поймастъ, убьетъ“.

— Говорю—злой онъ у него, богатый, страсть сколько коней, всего много; онъ гнѣвается на Элеску... говоритъ, что убьетъ его... догонитъ и убьетъ, если онъ вздумаетъ поѣхать сюда и креститься... тебя туда не ждуть, а теперь отецъ его запилъ... пьетъ онъ долго, а Элеска все больше въ Улалѣ въ это время бываетъ, а тамъ не глядятъ за нимъ, наказано только, чтобы его сюда не пускали, за этимъ всѣ глядятъ... вотъ кабы тебѣ къ вечеру пріѣхать туда да и окрестить его... что онъ подѣластъ пьяный? а потомъ уѣхать сюда.

Отецъ Макарій внимательно слушалъ.

— Онъ—у меня больше; отецъ все злится... когда пьяный: „убью его“, говоритъ,—сына то, и на тебя грозится; а на меня ничего, мы съ нимъ дружны шибко... такъ поѣдешь?

— Конечно поѣду, милый. А Элеска этотъ молодецъ? откуда желаніе у него креститься явилось?

— Элеска хорошій, ему семнадцать лѣтъ... кроткій росъ давно съ малыхъ лѣтъ, а какъ ты пріѣзжалъ на Алтай, онъ тебя увидалъ, и сердце у него, сказывается, затрепетало. Давно, когда ребеночкомъ онъ былъ, ему все Аг-эне видѣлась, ходитъ такая по Алтаю, вся бѣлая добрая Аг-эне, видѣлась и говорила ему:

— „Люблю тебя, дитя ты хорошее... пройдетъ годъ, сюда

прійдетъ Макарій, ты его увидишь... онъ тебя научить молиться тому Богу, Который сотворилъ Алтай, слушай его.

— А мальчикъ спросилъ ее, какой онъ будетъ? Тогда она подвела его къ Маймѣ и показала на воду, а въ водѣ абшіак такой же, какъ ты, и глядитъ на Элеску и усмѣхается ласково. Вотъ какъ увидалъ онъ тебя, такъ говорить, и загорѣлося сердце послушать его, а мы ему давай рассказывать, чему ты учишь, все про Бога и про то, что креститься надо, ну, а онъ все томится... „скорѣе, скорѣе хочу креститься, отецъ, говорить, если убьетъ, тогда я уйду не въ темноту, а буду жить у Бога“...

Такъ когда будешь собираться?

— Да сегодня же, сейчасъ, милые друзья мои: какже оставить тоскующую душу?!

И торопливо сталъ собираться, пока алтайцы пили чай.

Глаза о. Макарія загорѣлись радостью: вѣдь тотъ юноша такъ звавшій его и желавшій, былъ первою радостью его, первенцемъ христіанства въ зарождающейся миссіи, и могъ ли онъ медлить?

— Дожди пойдутъ, смотри,—предупредили его посланники, Бобырганъ *) курится... вчера еще закурился... долгое ненастье будетъ, и, пожалуй, сядешь тамъ, какъ сдурять рѣки... кто его знаетъ Сыгын-ай **) и лѣто ровно совсѣмъ на улицѣ, да не даромъ говорятъ, что онъ тропу пролагаетъ, бывало такъ, что снѣга все скрываютъ.

— Лишь бы душа горѣла, другъ мой, а снѣга—это ничего,—улыбнулся старецъ.—А душа горить, ждетъ, томится... нѣтъ, и снѣгъ, и буря, и вода удержать меня не могутъ. И заторопилъ келейника со сборами.

II.

Марево расло. Ближе, ближе... яснѣе выступали контуры горъ, холоднымъ вѣтромъ тянуло съ сѣвера, и бѣлесоватыя тонкія облака тянулись по небу, какъ паутиной кутая его синеву. Лѣсной дорожкой пятеро путниковъ ѣхали, мало перекидываясь словами: крѣпкія алтайскія лошадки шли дружно, и вотъ къ вечеру у подошвы большой горы на грани Алтая

*) Гора на лѣс. берегу р. Катуні, противъ устья р. Маймы.

**) Рѣка въ Улалѣ.

первыя снѣжинки изъ сгустившихся и низко опустившихся тучъ въ нахолодавшемъ воздухѣ стали падать на одежду и лошадей путниковъ.

— Сдурѣлъ Сыгын-ай... сдурѣлъ!—говорилъ Іеремія.—Ну, да это онъ шутить... ясно будетъ еще... много разъ будетъ ясно... ты не думай, отецъ Макарій, это онъ дурить.

И по устаѣмъ отца Макарія побѣжала ласковая улыбка отъ этого наивнаго утѣшенія.



Въ Маймѣ они ночевали, а раннимъ утромъ по берегу рѣки того же имени пустились въ Улалу мимо Тугаи, массивами спускавшейся съ высоты къ рѣкѣ ..

Въ Маймѣ *) они ночевали, а раннимъ утромъ по берегу рѣки того же имени пустились въ Улалу мимо Тугаи **), массивами спускавшейся съ высоты къ рѣкѣ, иногда крутыми скалистыми уступами. Снѣга не было болѣе, но день хмурился, и вѣтеръ продолжалъ дуть, сбивая пожелтѣвшія листья березъ, только одна вѣчно зеленая хвоя краснотѣся тѣшила взглядъ; а все-таки путникъ архимандритъ любовался на угрюмую красоту горъ, поднимавшихся къ небу, и думалъ, глядя на крутой выступъ Пихтача-горы, вступившей въ самую

*) Гора въ с. Улалѣ.

**) Село Бійскаго уѣзда.

р. Майму и заслонившей долину Улалы, о томъ времени, когда тутъ, за этимъ поворотомъ, блеснетъ крестъ перваго миссіонерскаго храма.

— Ты напрасно не пробылъ въ Маймѣ до ночи,—заговорилъ Іеремія.—Сейчасъ полетятъ къ отцу Элески родичи, сейчасъ скажутъ: „Абызъ пріѣхалъ, и твой сынъ у Іереміи“... однако будетъ не ладно... набѣжитъ родня, схватятъ его, утащутъ, куда ты отдыхать будешь.

— Почему ты думаешь, что я буду отдыхать? нѣтъ, мы сразу окрестимъ его... окрестимъ и отправимъ въ Бійскъ, вотъ, съ ними,—указалъ онъ на спутниковъ.—И если отецъ и пріѣдетъ, я поговорю съ нимъ... Ты правъ: нельзя медлить; думаю, что душа Элески достойна крещенія, глубоко этому вѣрю... жаль, что мы ѣхали такъ долго... остановки въ Бійскѣ, гдѣ пришлось выѣхать не сразу, да попути оттянули время... боюсь одного, если тотъ бѣдный пересталъ пить, то могъ Элеску взять къ себѣ: вѣдь уже седьмое сентября.

— Кто знать... кто знать!..—покачали инородцы головами, свертывая на грубый мостокъ черезъ Каясь, быструю горную рѣчку, впадающую въ Майму.

За рошами густыхъ, теперь оголенныхъ черемухъ мелькали дымки юртъ, а вѣтеръ крѣпчалъ и усиливался.

— Вонъ тамъ моя юрта будетъ и избушка за Улалой... ты былъ у меня какъ то, отецъ Макарій... на томъ берегу... хорошо подъ горою, охъ, хорошо... тихо... стадо только въ болото забирается, одинъ позукакъ недавно утонулъ, а у нашего улалинскаго цѣлый торбокъ ухнулъ... приманчиво, зелень на болотѣ, а подъ ней—окошки... попадетъ кто въ нихъ, утянетъ трясина.

— Что ты, абызъ, задумался? вонъ, собаки мои лаютъ, а это сынокъ бѣжитъ, сынокъ и Элеска.

— Слава Богу!—слетѣло съ устъ отца Макарія, и глаза его пристально взглянули на бѣжавшаго къ нимъ ребенка и юношу, высокаго, худощаваго съ грустнымъ лицомъ обычнаго алтайскаго типа, теперь охваченнымъ радостью. Онъ подбѣжалъ къ нимъ, взялъ лошадь отца Макарія подъ уздцы и поднялъ засіявшіе глаза на лицо старца, благодарнымъ взглядомъ глядя на него.

— Спасибо, абызъ... добрый, что пріѣхалъ... я такъ ждалъ...

пожалуйста крести меня, сегодня байга въ аилѣ недалеко, вся родня туда поѣхала, и отецъ тамъ... тебя не ждали... отецъ былъ тутъ утромъ, спросилъ про Іеремію и велѣлъ мнѣ къ вечеру ѣхать домой... ладно, что ты пріѣхалъ, отецъ мой.

И, опустивъ узду, онъ поцѣловалъ край рясы отца Макарія.

— Поѣдемъ до дому: холодная вода сегодня, боюсь остынетъ онъ въ ней... есть у тебя какая нибудь кадь, Іеремія?

— Ой, никакой нѣту, — отрицательно покачалъ тотъ головою.

— Нѣтъ, я воды не боюсь, — помогая слѣзать съ лошади о. архимандриту, сказалъ Элеска. — Я не испугаюсь воды.

— Ну, хорошо, милый, иди за мною, я немного поговорю съ тобою, а вы прежде отдыха приготовьте все для крещенія, — обратился онъ къ спутникамъ. — Вечеромъ вы увезете его въ Бійскъ, а я останусь ночевать тутъ.

И, отпустивъ ихъ, усадилъ Элеску на деревянную чурку въ убогой юртѣ Іереміи.

— Скажи мнѣ, милый, кто та Аг-эне, которая говорила тебѣ обо мнѣ? какая она собою?

— Аг-эне?! — сложилъ съ благоговѣніемъ руки Элеска, — О, Она часто ходитъ по Алтаю... такая бѣлая, тонкая, и лицо!.. свѣтъ идетъ отъ него... я люблю Ее, Она говорила со мною...

Раздумчиво, опустивъ голову, отецъ Макарій внимательно слушалъ.

— „Конечно Аг-эне была Пресвятая Дѣва, Она ходитъ по Алтаю среди простыхъ сердцемъ людей, въ большинствѣ кроткихъ и добрыхъ, какъ дѣти, и защищаетъ ихъ отъ зла“.

И онъ сталъ кратко, но ясно объяснять Элескѣ то, что онъ думалъ объ Аг-эне, назвавъ это видѣніе Благою Матерью Бога.

Какъ убѣдительно онъ говорилъ! Сердце юноши трепетало и горѣло въ порывѣ горячей любви къ Небесной Матери, захотѣвшей привести къ спасенію душу его, Элески, одной песчинки созданія Божія, и онъ ясно и твердо прочелъ, послѣ наставленія, молитвы.

Спустившись къ Улалѣ, въ крохотной заводи окрестили Элеску подъ пѣніе двухъ спутниковъ архимандрита, потомъ онъ напоилъ новокрещенаго чаемъ, и съ сіявшимъ счастьемъ

лицомъ Элеска, теперь Іоаннъ, первенецъ Божіей благодати, поѣхалъ со спутниками архимандрита, сопутствуемый ласковыми словами отца Макарія, полюбившаго кроткаго юношу, котораго пріобрѣлъ для Бога.

Проводивъ ихъ, старецъ вынулъ свои книги и тетради, позвалъ мѣстнаго толмача и принялся за обычное дѣло—переводъ священныхъ книгъ и службы на алтайскій языкъ; а по Улалѣ неслась молва:

— Абызь пріѣхалъ! Макарій абызь крестилъ Элеску!!

Двѣ—три женщины, видѣвшія это крещеніе, облетѣли остальныхъ, и одна изъ знакомыхъ Элескинаго отца, осѣдлавъ коня, поспѣшила въ тотъ аилъ, гдѣ справляли байгу, чтобы сообщить о случившемся событіи.

Наступила уже ночь. Вѣтеръ разогналъ тучи, и онѣ ушли, улетѣли, очистивъ небо, осыпанное миріадами звѣздъ крупныхъ и яркихъ на темномъ глубокомъ небѣ. Тишина стояла нерушимая, но какой то далекій шумъ внезапно нарушилъ ее. Архимандритъ прислушался. То былъ гулъ голосовъ и топотъ лошадей; принесенные горами они разбудили собакъ, и тѣ громко залаяли по всему маленькому селенью.

Архимандритъ подошелъ къ двери и отворилъ ее; мягкими линіями поднималась къ небу Тугая, почти безлѣсная, сторожившая Улалу при ея устьѣ, и Сюръмейка, вся поросшая лѣсомъ; хребетъ Пихтача крутыми уступами упирался въ Майму и уходилъ въ глубь горъ, къ Чаптыгану и черни; милыя спокойныя горныя громады величаво дремали, и люди нарушили ихъ покой.

— „Это возвращаются съ байги!“—подумалъ отецъ Макарій.—Навѣрно улалинцы повѣстили Элеску... ближе... Господь мой и Богъ, помоги мнѣ вразумить этихъ неразумныхъ дѣтей... слава Богу, что тотъ теперь далеко.

И перекрестился радостно, безъ тѣни волненія, спокойно вслушиваясь во все приближающійся гамъ неистовствующей и возбужденной виномъ толпы. Къ нему, стоявшему на крыльцѣ, подбѣжалъ Іеремія, проснувшійся отъ шума, онъ былъ весь блѣденъ и дрожалъ, какъ листъ.

— О, абызь, они разнесутъ у меня все!.. пьяные... вѣдь, знаешь, въ винѣ это—волки!.. что я стану дѣлать съ ними?.. та, проклятая Шадунова молодуха, видѣла, какъ крестили

Элеску; жена говорила мнѣ, что она куда то уѣхала... зачѣмъ ты не уѣхалъ, отецъ?.. они бы тогда подумали, что ты увезъ его съ собою, и не тронули меня, а теперь станутъ его искать и сдѣлають тебѣ зло.

— Они и сейчасъ тебя не тронуть,—сказалъ архимандритъ спокойно.—Я нарочно остался, чтобы тебя защитить... зла ихъ я не боюсь... ступай въ юрту, спи... вотъ, они близко.

Іеремія не пошелъ въ юрту, онъ испуганно спрятался за хворостомъ, наваленнымъ близъ избы, а отецъ Макарій глядѣлъ на всадниковъ, беспорядочно скакавшихъ по улицѣ, махавшихъ и выкрикивавшихъ бранныя слова... улица проснулась отъ гама... свѣтъ заблестѣлъ въ рѣдкихъ избахъ, и сильнѣе пошелъ дымъ изъ отверстій юртъ отъ подброшеннаго на очаги хвороста... вотъ, совсѣмъ близко у избы всадники... вотъ они у крылечка...

— Эй, Еремка!—закричалъ толстый инородецъ, едва владѣя языкомъ.—Элеска гдѣ? давай Элеску... абыза проклятаго давай!

— Тутъ я!—сказалъ отецъ Макарій, приводя на память алтайскія слова.

И его спокойный ясный голосъ точно обухомъ ударилъ подлетѣвшихъ на коняхъ инородцевъ. Испуганный толмачъ, преданный и добрый человѣкъ, протѣснился среди всадниковъ, и отецъ Макарій ласково кивнулъ ему головою.

— Скажи неразумнымъ, для чего я нуженъ имъ?.. вотъ, я весь тутъ передъ ними... пусть говорятъ.

И опомнившаяся толпа послѣ словъ толмача загудѣла, какъ пчелиный рой, требуя Элеску, упрекая за крещеніе, требуя Іеремію, устроившаго его, и осыпая архимандрита бранью.

— Скажи, что Элески нѣтъ у насъ... всякій заботится о своихъ: Элеска нашъ, и мы увезли его и охранимъ... вы же не жалѣете своихъ, и всѣ отъ васъ уйдутъ къ Богу, Который велѣлъ всѣхъ любить.

— Элеска больше не сынъ тебѣ,—обратился онъ къ толстому, сильнѣе всѣхъ грозившему человѣку.—У него отецъ—Спаситель и Господь, Котораго полюбило его сердце... если дитя тебѣ дорого, ты можешь вернуть его къ себѣ, если тоже придешь къ Богу.

— Ахъ, ты...—затрясся отъ злости пьяный алтаецъ,—да я тебя, старый...

И онъ замахнулся плетью на архимандрита, тотъ не откачнулся даже, но спутникъ, видимо менѣе пьяный, схватилъ алтайца за руку.

— Одурѣлъ,—выскочилъ изъ за хвороста Іеремія.—Гость мой, не смѣй... дуй меня, пьяница, дуй, а его не трогай...

— Нельзя трогать... забылъ, что онъ старый,—загудѣли изъ толпы собравшихся улалинцевъ и среди пріѣхавшихъ.— Ай, ай, совсѣмъ одурѣлъ.

— Зачѣмъ Элеску?... зачѣмъ сына?... твой Богъ худой... зачѣмъ сманилъ... ой, какой худой твой...

— Остановись!—вскричалъ отецъ Макарій, хватая его за руку.—Не смѣй... Господа моего, Искупителя ты не тронешь, безумный... твой языкъ отсохнетъ, если ты произнесешь хулу... прочь... уйди, чтобы глаза мои не видѣли тебя... я хотѣлъ тронуть твое сердце, но оно похоже на камень, оно утонуло въ винѣ... уйди... я радъ, что спасъ отъ такого отца кроткаго юношу...

— Што онъ говоритъ?—дрогнулъ инородецъ, пораженный страстной и гнѣвной рѣчью, и, когда толмачъ перевелъ ему всѣ слова, онъ съ ненавистью посмотрѣлъ на монаха.

— Убить тебя надо,—кинулъ онъ ему,—убить, растряссти... эти дураки испугались, погоди, я то не испугаюсь... я то...

И, разразившись потокомъ брани, онъ, внезапно повернувъ коня, крикнулъ спутникамъ:

— Дери его шайтанъ... за мною!—и ринулся въ темноту.

— Ай... ай... ай...

Дикіе крики привлекли отца Макарія; онъ видѣлъ, что всадники спѣшились, и спѣшно сошелъ съ крыльца, хотя Іеремія схватилъ его за руку.

— Не ходи, отецъ Макарій, не ходи... опять здурятъ... тамъ кто то упалъ... Богъ съ нимъ—не ходи.

Но старецъ его не послушалъ. Быстро пройдя мимо оставленныхъ всадниками лошадей, онъ остановился у пня старой березы и, раздвинувъ инородцевъ, склонился надъ упавшимъ. Алтайцы разступились передъ нимъ, за минуту гнѣвные, пьяные, они теперь испуганно глядѣли на потерявшаго чувство отца Элески, въ темнотѣ налетѣвшаго на пень, выпав-

шаго изъ сѣдла и теперь обезпамятѣвшаго, и на старца, котораго только что ругали уста сраженнаго человѣка.

— Несите его,—кидалъ онъ короткія алтайскія фразы,—туда... ко мнѣ... въ домъ Іереміи... я его осматрю... безъ памяти онъ... ахъ, бѣдный, бѣдный...

И это сожалѣніе, это участіе, звучавшее въ звукахъ голоса старца, поразило ихъ такъ-же, какъ его простыя слова, сказанныя за нѣсколько минутъ на крыльцѣ Іереміи. Тихо и осторожно положили на убогое ложе, принесли холодной воды. Старецъ осмотрѣлъ безчувственнаго, положилъ компрессы на лобъ, далъ нюхать спирту и заботливо сталъ осматривать и растирать его безчувственное тѣло; свѣтлый лучъ радости прошель по его лицу.

— Ничего,—сказалъ онъ.—Живъ будетъ.. разойдитесь спокойно... Господь поможетъ ему.

И положилъ руку на лобъ, приходившаго въ себя врага.

Тотъ открылъ глаза и поглядѣлъ на него, минуту соображая.

— Ты убился съ коня... онъ поднялъ, помогъ... ходилъ за тобой,—воскликнулъ Іеремія взволнованно.

И родичи, толпившіеся у дверей, подтвердили.

— Да... да... онъ, все онъ.

Угрюмое запухшее лицо понурилось, и, не глядя на архимандрита, убившійся хотѣлъ встать, но тяжело опустился на ложе: силъ не было.

— Оставьте,—сказалъ отецъ Макарій.—Ложитесь спать... поздно... я похожу за нимъ; къ утру онъ проспится и встанетъ... ступайте съ Богомъ и не думайте, что я причиню ему зло.

И всѣ пошли тихо, какъ виновные, глубоко вѣря, что кромѣ добра этотъ кроткій человѣкъ не можетъ ничего сдѣлать, и только Іеремія и толмачъ еще нѣсколько минутъ не рѣшались уйти, пока онъ не повторилъ имъ еще разъ ласково, что они должны уснуть.

Потомъ онъ подошелъ къ своему гостю; тотъ лежалъ ослабѣвшій отъ вина и ушиба и не спалъ, хотя закрылъ глаза; архимандритъ еще разъ помочилъ его лобъ и, отойдя, сталъ на колѣни передъ окномъ, за которымъ сіяли звѣзды. Онъ загасилъ огонь послѣ ухода всѣхъ, и только эти звѣзды свѣ-

тили ему, а уста шептали молитву, пламенную и чистую за эти задумчивыя горы, за ихъ дѣтей, за всѣхъ страждующихъ и радостныхъ, шептали молитву кроткія уста долго, долго, и больной, слушая ихъ, думалъ напряженно, не засыпая, своимъ умомъ по мѣрѣ того, какъ уходило опьяненіе, и тихій покой охватывалъ его члены.

— Абызъ!?

Какой то робкій голосъ. Забывшійся въ молитвѣ старецъ невольно дрогнулъ и повернулъ голову отъ окна.

— Лягъ, абызъ, отдохни... ты добрый... я не злюсь за Элеску... я злой и худой, а ты лучше... я расскажу своимъ про тебя... прости, что ругалъ... сына не жалко, такъ, зря я... простишь?

— Спи съ Богомъ... отдыхай... спи.

— А, всетаки, ты не ладно сдѣлалъ... Элеску не показывай, опять пить буду... опять побью... не показывай мнѣ Элеску, я буду камлать... буду съ камами дружить... онъ какъ хочеть... не говори ничего, не послушаю... только ты добрый... завтра всѣмъ скажу... всѣмъ...

И затихъ, засыпая, а отецъ Макарій, подойдя къ его ложу, грустно и кротко глядѣлъ на него... могъ ли онъ надѣяться, что пожнетъ и этотъ колосъ потомъ?

— „Да... да!“

И съ прежней вѣрою, сложивъ руки, онъ обратилъ глаза въ темноту улицы, гдѣ новыя тучи начали затемнять звѣзды, и только тутъ почувствовалъ, что его тѣло сегодня устало и измучилось, и что ему нуженъ покой. Помочивъ еще разъ компрессъ, онъ положилъ его осторожно на лобъ заснувшего и, тихо придвинувъ чурку къ его ложу, сѣлъ на нее и заснулъ, положивъ голову на край покрытой войлокомъ постели своего врага, спокойно, какъ довѣрчивый и чистый ребенокъ.

А за окномъ начиналъ брезжить разсвѣтъ новаго дня, несшаго ему новые труды, для которыхъ пришелъ онъ, этотъ первый Апостолъ Алтая, имѣя въ своемъ сердцѣ горячую и великую любовь.





Протоіерей Михаиль Чевалковъ.

Отець Макарій.



Изъ воспоминаній о. Михаила Чевалкова.

12 лѣтъ мнѣ было тогда, когда я его увидалъ незабвеннаго... Меня звали Кипріанъ, и былъ я шустрый и веселый мальчикъ. Помню, какъ сейчасъ, мою дружбу съ Іаковомъ, товарищемъ моимъ. Онъ жилъ въ Улалѣ съ отцомъ своимъ—русскимъ, и я любилъ его и съ нимъ научился русскому языку, съ нимъ же я научился произносить имя христіанскаго Бога и любить Алтай и нашу крошечную Улалу, въ которой было всего четыре двора.

Божій міръ казался мнѣ прекраснымъ... я пасъ коровъ отца, и, забравшись на камни Тугай, на которыхъ росъ баданъ, обращалъ лицо къ востоку и произносилъ имя Іисуса Христа, прося Его взять меня къ Себѣ... я стыдился, когда наши камлали, и слова Іакова Конинина о его Богѣ глубоко врѣзались въ мое дѣтское сердце.

Помню ясный день, когда я, по обычаю, пошелъ къ товарищу Іакову и сидѣлъ съ нимъ на крыльцѣ его избы. Мы оба увидали двухъ людей въ черныхъ одеждахъ съ странными черными же шапками съ накрывками на головахъ. Я хотѣлъ бѣжать отъ нихъ, увидавъ ихъ, но одинъ изъ нихъ остановилъ меня; у него было такое доброе лицо, и глаза свѣтились ласкою... онъ далъ мнѣ пирожокъ и, погладивъ по головѣ, спросилъ мягкимъ голосомъ, покорившимъ мое сердце, какъ меня зовутъ. На мой отвѣтъ—онъ сказалъ:

— „Посиди смирно, я расскажу тебѣ одну повѣсть, а ты слушай.—Это—хорошая, правдивая повѣсть“.

И я сталъ слушать жадно, а онъ, положивъ мнѣ руку на плечо и сѣвъ самъ, началъ рассказывать такъ хорошо и понятно о большомъ камѣ Кипріанѣ, про то, какъ онъ уходилъ въ горы и изучалъ тамъ бѣсовское чернокнижіе, научившись которому, онъ дѣлалъ, что хотѣлъ; но только не могъ онъ бѣсовскими чарами прельстить душу крещеной дѣвицы Іустины и страшно дивился тому и спрашивалъ бѣсовъ своихъ главныхъ:

— „Отчего это? какъ не можете вы одолѣть этой дѣвицы?“

И слуги его, бѣсы, сказали:

— „Мы боимся Бога ея, и даже къ дому ея подойти не смѣемъ, не только къ ней“.

Услыхавъ это, онъ самъ пошелъ къ Іустинѣ и спросилъ:

— „Въ какого ты Бога вѣруешь?“

А та рассказала ему объ Іисусѣ Христѣ, и послѣ того крестился камъ Кипріанъ и сталъ великимъ священникомъ, Божіей силою свершая многія чудеса, а теперь онъ на небѣ въ вѣчномъ Божьемъ свѣтѣ.

Помню, мнѣ захотѣлось проникнуть за синюю глубь небеснаго свода, и увидеть тамъ кама Кипріана въ свѣтѣ Божіемъ, но тамъ ничего не было, кромѣ бѣловатыхъ облаковъ, слегка розовѣвшихъ отъ лучей солнца, близившагося къ закату. Золотистыя пчелки носились надъ цвѣтами за оградой Конининыхъ: трепеща разноцвѣтными крыльями, поднимались красивыя бабочки, и милое лицо глядѣло на меня задумчивыми глазами.

— „Какъ тебя зовутъ, и что ты за человѣкъ?“—спросилъ я невольно.

А онъ сказалъ, улыбаясь мягко и ласково:

— „Зовутъ меня Макарій. Я—священникъ. Крестись ты, милый, и будешь чадо Божіе... некрещенные свѣта Божьяго никогда не увидятъ, и будутъ съ діаволомъ, и пойдутъ въ огонь и тьму, чтобы не выйти изъ нея никогда“.

И долго онъ говорилъ мнѣ и Іакову, что будетъ съ вѣрующими и невѣрующими, пока не потухло солнце и не догорѣла заря, а мнѣ хотѣлося плакать отъ его словъ, и сердце мое трепетало, и не хотѣлося уходить съ крыльца отъ этого человѣка, согрѣвшаго мою тогда дѣтски мягкую душу.

Онъ часто говорилъ со мною и моими и потомъ, но отецъ мой былъ упоренъ и не хотѣлъ бросать старой вѣры, а мать умерла отъ горячки, моя бѣдная мать, такъ и не узнавшая новой вѣры... я ее любилъ горячо и долго не могъ забыть, такъ трепетало и тосковало по ней мое сердце!... Я тосковалъ о томъ, что она обречена на вѣчную тьму и не увидитъ Божьяго свѣта, и тамъ же на камняхъ Тугай я молилъ Бога отца Макарія помочь ей въ томъ мірѣ, гдѣ она была теперь. А отецъ Макарій въ это время сталъ крестить; помню, какъ я хотѣлъ креститься, но не смѣлъ сказать отцу, видя его неодобреніе и насмѣшки надъ крестившимися. Онъ преслѣдовалъ меня за то, что я урывками любилъ слушать о. Макарія, его рассказы о Богѣ, какъ они доходили до души, и я, отрокъ-язычникъ, тихо плакалъ, слушая ихъ, забравшись въ кусты гдѣ-нибудь поближе къ окнамъ его избы, къ которой собирались люди. Его слабый голосъ крѣпъ тогда, и рѣчь точно влагалась въ умъ; каждое слово обжигало и трепетало, доходя до сердца. Не разъ отецъ билъ меня, выслѣдивъ; и объ этомъ какъ-то узналъ отецъ Макарій; онъ жалѣлъ меня, какъ говорилъ мнѣ Кониинъ, но не сказалъ ни слова о неповиновеніи отцу. Помню въ то время стараго Бориса Кочоева, онъ тоже не хотѣлъ креститься. Это былъ суровый старикъ, важный и здоровый собою, у него было много лошадей и скота, и говорили о томъ, что онъ имѣлъ деньги. Какъ онъ ненавидѣлъ отца Макарія! Должно быть кара-неме постоянно были вокругъ него, а отцу Макарію хотѣлось спасти его душу. Каждую недѣлю ходилъ онъ къ нему, и я не разъ слышалъ тѣ кроткія святые убѣжденія, съ которыми онъ приходилъ къ Кочоеву. Домъ Бориса стоялъ надъ Маймою, тамъ, гдѣ

густо разраслись каинъ и тереки. Майма клекотала и грохотала о камни, и дикій берегъ Пихтача, поднимавшагося высокоимъ кряжемъ, круто убѣгалъ въ вышину.

— „Твоя душа, какъ эти камни!“—говорилъ о. Макарій. — „Но Христосъ такъ добръ, Борисъ: Онъ посылаетъ меня къ тебѣ, Онъ хочетъ спасти твою бѣдную душу; смотри, какъ точить камни вода, вонъ одинъ сталъ гладкимъ и чистымъ и не торчитъ такъ злобно и угрюмо, какъ другіе. Мои слова—та же вода, они дойдутъ до твоей души, я вѣрю тому, потому что Господь мой желаетъ ее отнять у курюмеса.

Но чѣмъ больше и убѣдительнѣе были его уговоры, тѣмъ неприступнѣе и злѣе становился Кочоевъ. Однажды, въ осенній день, когда Сыгын-ай подходилъ уже къ концу, я, ворочаясь изъ Пихтача, увидалъ о. Макарія, идущаго къ дому Бориса. Было тихо. Люди, пользуясь ясными днями, ушли по дѣламъ; даже малышей не было по близости, и меня потянуло послушать рѣчь о. Макарія. Прячась за деревьями, я подошелъ совсѣмъ близко къ крыльцу, на которомъ, насупившись, сидѣлъ Борисъ, угрюмый и злой.

— „Зачѣмъ идешь опять?—забывъ долгъ гостепріимства, сказалъ онъ съ ненавистью.—Мнѣ противно глядѣть на тебя, и рѣчи твои мнѣ постылы!“

— „А я тебя люблю“—сказалъ съ кротостью о. Макарій и сѣлъ, по обычаю, на крылечко съ своими кроткими словами о праведномъ Богѣ.

— „Я тебѣ желаю добра, чтобы на голову твою снизошла благодать Господня. Много разъ говорилъ я тебѣ о Господѣ, но ты не желаешь Божіей благодати. Чтобы въ конецъ не ожесточить твое сердце, я скажу тебѣ одно: теперь не я, а ты будешь виноватъ. Мнѣ Богъ повелѣлъ говорить о Его правдѣ, о Его благодати, и о всемъ я говорилъ тебѣ. Ты говоришь: „слухъ мой не принимаетъ такихъ словъ“; теперь, вмѣсто счастья, отъ Бога придетъ къ тебѣ несчастье; вмѣсто милости—падетъ на голову твою гнѣвъ Божій; но это не отъ меня!“

И онъ положилъ руку на голову отворачивавшагося отъ него злого человѣка и ушелъ. Знаю, что онъ долго кашлялъ, но мнѣ не удалось повидать его, потому что онъ уѣхалъ въ Бійскъ, а вскорѣ послѣ его отъѣзда у Бориса пропали деньги.

Пьяный онъ ихъ засунулъ куда-то и забылъ. Черезъ два мѣсяца у него пало 110 головъ скота. Помню, что изъ всѣхъ его лошадей остался одинъ чалый жеребенокъ. Въ тотъ годъ растаяло все его богатство, и онъ обѣднѣлъ, потому что Господь, полюбившій его, его оставилъ.

Много о немъ говорили у насъ и въ Бачатѣ, куда уѣхалъ онъ и гдѣ потерялъ свое послѣднее имущество. Весною уѣхали туда и мы, но его уже тамъ не было: онъ ушелъ снова на родину и, какъ говорили, поселился въ Монгойтѣ. Недолго прожили мы въ Бачатѣ. Я, уже тогда женатый (женили меня 16-ти лѣтъ) сталъ страшно тосковать и захворалъ отъ тоски по Улалѣ и по отцѣ Макаріи. Я сохъ и вялъ, какъ трава, и умолялъ отца пустить меня креститься. И смягчилось его сердце тогда, онъ и самъ заплакалъ надо мною и, несмотря на злобу тещи, черезъ недѣлю мы ѣхали назадъ въ Улалу.

Этою осенью я крестился, и меня назвали Михаиломъ; крестился отецъ и сестры, и жена моя, и братъ Адріанъ. На лѣвомъ берегу Улалы былъ домикъ Ащаулова. О. Макарій купилъ его и сталъ тамъ жить, а я съ праваго берега протопталъ узкую тропинку между кустовъ, ходя туда, чтобы послушать его рѣчей, и завидуя искренно младшему брату, котораго онъ училъ читать. Потомъ я научился съ его помощью многому, но въ это время я не умѣлъ ни читать, ни записать того, что однако осталось въ моей памяти ясно на всю жизнь, хотя и незаписанное. Прошла зима, наступила весна съ ея любованьемъ, обильно зацвѣлъ мараль, который, какъ алымъ сукномъ, покрылъ камни, и въ одинъ изъ ясныхъ дней, идя своей тропой до любимаго дома, я увидѣлъ высокую, сгорбленную фигуру сѣдого старика, сидѣвшаго въ кустахъ и прятавшаго лицо въ колѣняхъ. Я узналъ его сразу: это былъ Кочоевъ—старый Борисъ, въ плохомъ платѣ и обуви, поднявшій при моемъ приближеніи блѣдное испитое лицо.

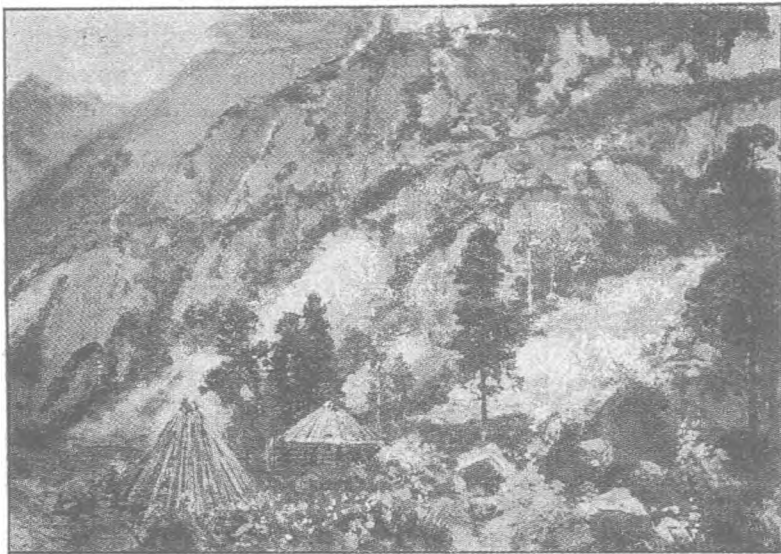
Я спѣшно обошелъ его съ желаніемъ предупредить о. Макарію, но онъ уже отворилъ двери и сошелъ съ крыльца, то-ропясь и не глядя на меня, подбѣжавшаго къ нему.

— „Борисъ!“—позвалъ онъ громко сидѣвшаго.—„Иди, иди. Звалъ, ждалъ тебя, голубчикъ!“

Старикъ встрепенулся; его лицо просвѣтлѣло на минуту,

онъ поднялся, но потомъ отвернулся и опять сѣлъ на землю, точно боясь двинуться къ тому, кто его звалъ.

— „Не подходи!“ — сказалъ онъ голосомъ скорбнымъ и разбитымъ.— „Ты—большой камъ, хотя и не ворожишь на рукѣ, но лучше все знаешь, чѣмъ кол-куреечі. Божій гнѣвъ палъ на меня: у меня ничего нѣтъ—ни скота, ни денегъ, и я хвораю, ахъ, какъ хвораю: у меня яман-паалу. Чѣмъ не лѣчился; киноварью, парами, мазью изъ яри мазался, бобковымъ масломъ и сулемой, и синимъ купоросомъ лѣчился—не помогаетъ ничего, тошно... Макарій, не попросишь ли своего Бога, чтобы помогъ: ты все говорилъ, что Онъ добрый; а меня прости: тогда я былъ злой“.



...обильно зацвѣлъ мараль, который какъ алымъ сукномъ, покрылъ камни...

— „Пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ!“—взялъ его за руку о. Макарій.— „Иди, голубчикъ, овца моя обрѣтенная... пойдемъ!“

— „У меня яман-паалу!“—повторилъ Борисъ, отступая. Но онъ только улыбнулся.

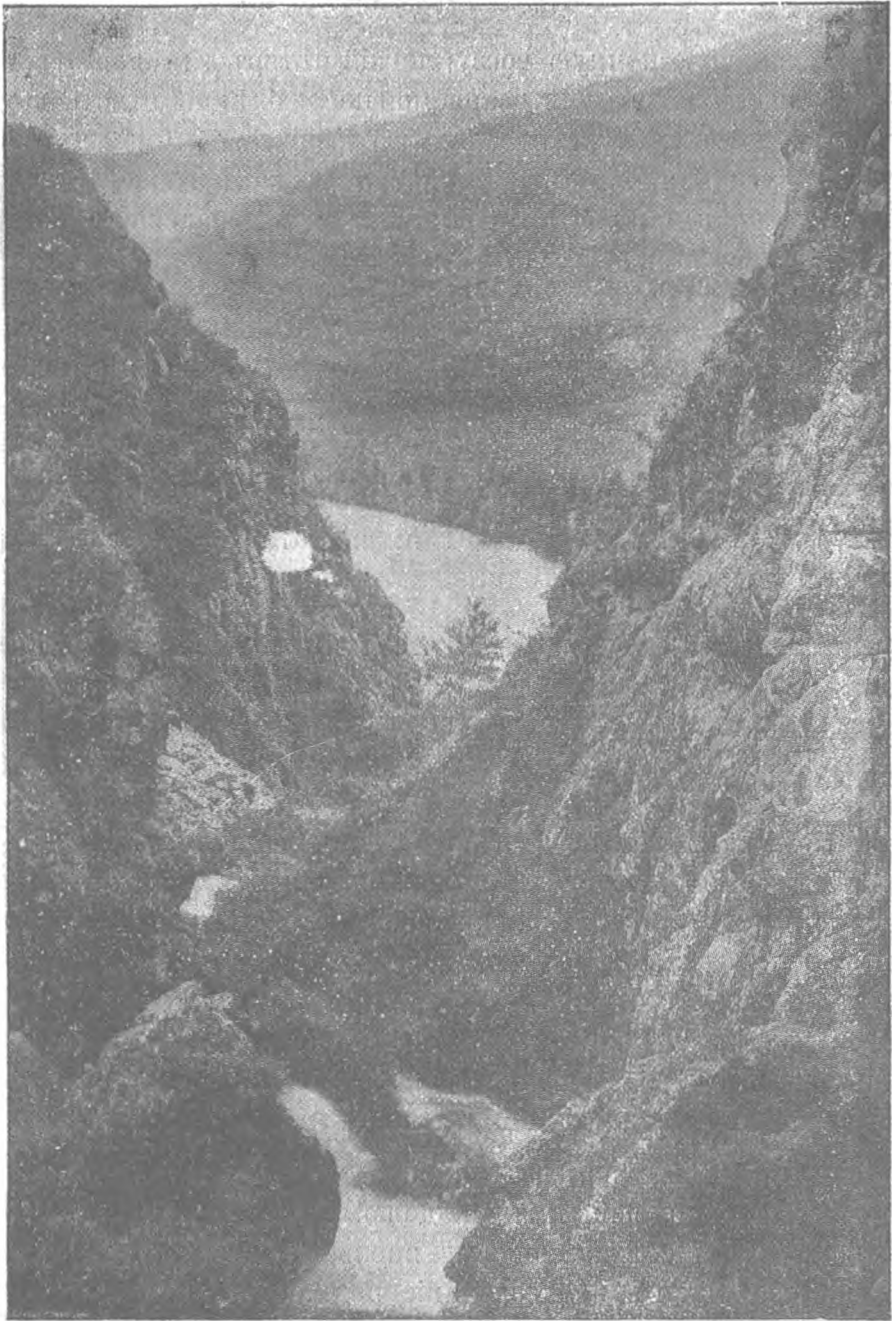
— „Ну чтоже! вылѣчимъ тебя. Яман-паалу отъ жизни нечистой, отъ грязи въ юртахъ. И праведники, милый, хворали болѣзнями хуже твоей. Я тебѣ о Іовѣ многострадальномъ расскажу когда-нибудь, а теперь иди: отдохни—лягъ. Ты когда пришелъ сегодня? Вотъ видишь! Идемъ—я тебя напою чаемъ. И трубки нѣту у тебя даже! Бѣдный Борисъ! пойдемъ, гость мой

милый, успокоимъ тебя, полѣчимъ, чадо ты мое возлюбленное. И сегодня точно отецъ евангельскій, къ которому сынъ вернулся!“

И лѣчилъ, утѣшалъ и ласкалъ, не гнушался его болѣзнью, пока онъ не поправился настолько, что надъ нимъ можно было совершить св. таинство крещенія. Какой былъ прекрасный день, когда его крестили и назвали Василиемъ. Черемуха цвѣла, и птицы пѣли надъ Улалой рѣкой, въ воды которой погружался новокрещеный. Лицо архимандрита сіяло, и было оно какъ лицо праведника, а кругомъ стоялъ народъ и дивился на это крещеніе человѣка, нѣкогда такъ поносившаго нашу вѣру; дивился и на архимандрита, который любовью своей привлекъ эту заблудшую душу, а у меня по лицу лилися слезы, хотя сердце мое хотѣло смѣяться и билось шибко и радостно въ этотъ прекрасный весенній день.

О. архимандрита нѣтъ давно; умеръ и новокрещеный Василій, доживъ до 137 лѣтъ, но память о нашемъ апостолѣ не умретъ и другихъ подвигнетъ къ подвигамъ въ миссіи, къ трудному дѣлу, гдѣ нужна любовь, самоотверженность и безграничная вѣра, какія были у незабвеннаго архимандрита Макарія.





...жизнь въ Алтаѣ вспомнилась прежняя... и въ какомъ Алтаѣ! непроходимо дикомъ и недоступномъ!..

СПАСИТЕЛЬ. (Изъ воспоминаній прот. Ст. Л-ва).

I.

Въ воздухѣ холодѣло. Тѣни большихъ горъ легли на долину; солнце, склоняясь къ западу, ушло въ темнѣвшую тамъ

тучу, обѣщавшую ночную грозу; легкій вѣтеръ тянулся оттуда, отъ этой еще далекой тучи, озаряемой порой блѣдными зигзагами молній; духоты не чувствовалось въ воздухѣ, обычной духоты, предшествующей грозѣ. Вечеръ наступалъ, какъ всегда, сырой и холодный, благодаря болотамъ, опоясавшимъ большое селеніе.

На террасѣ съ стеклянными окнами, къ которымъ при-
никали вѣтки деревьевъ стараго сада, было почти темно, хотя сумерки еще не совсѣмъ окутали землю; но все же можно было различить большое старое кресло съ подставленными къ нему табуретами и на немъ, на подушкахъ, сѣдую голову маленькаго худого старичка съ истомленнымъ лицомъ и большими ясными сѣро-голубыми глазами, какъ-то юношески молодыми и безконечно добрыми; на этомъ изможденномъ старческомъ лицѣ они одни жили—эти прекрасные глаза, въ нихъ свѣтилась тихая печаль, загоралось яркое пламя: они говорили ясно безъ словъ о томъ, что переживало изстрадавшееся больное сердце разбитаго параличемъ миссіонера, извѣстнаго всему Алтаю многострадальнаго о. Стефана Ландышева.

Вся жизнь его была цѣлымъ рядомъ испытаній, труда, борьбы и тоски. Теперь все приходило къ концу—и скорби и самая жизнь. Это тѣло, перенесшее непосильное бремя трудовъ, почти умерло, разбитое параличемъ, и только слабый остатокъ жизни таился въ немъ въ исхудалой груди и въ сѣдой головѣ. Сердце одно да глаза были попрежнему молоды, умъ ясно работалъ, переживая былое. Молодость вспоминалась ему сегодня далекая, давно прошедшая,—Москва, святитель Филаретъ, видѣлась его любимая подруга жизни, вѣрная спутница и помощница, вмѣстѣ съ нимъ безропотно несшая крестъ, павшій имъ на долю. Добрый кроткій святитель... его рѣчи слышались ему вновь, эти сердечныя горячія рѣчи, поднявшія въ немъ желаніе подвига. Вотъ и еще лицо выплыло передъ нимъ, вѣчно памятное лицо начальника и друга-старца труженика архимандрита Макарія; жизнь въ Алтаѣ вспомнилась прежняя... и въ какомъ Алтаѣ!.. непреходимо дикомъ и недоступномъ!.. ихъ общая жизнь, часто пѣшкомъ по горнымъ тропинкамъ съ проповѣдью въ зной, въ морозъ, въ ливень... сколько разъ бывали они у гибели, но Господь вездѣ не давалъ погибнуть, спасалъ.

Старикъ тихо вздохнулъ и глаза поднялъ на уголъ, гдѣ была икона... да, все это было—непомѣрные труды измучили тѣло, а душу, эту любящую хорошую чуткую душу пуще этихъ трудовъ измучила клевета людская.

Сѣрые глаза печально закрылись, точно не желая видѣть встававшія передъ мысленнымъ взоромъ лица, поднявшія ее; ему не хотѣлось вспоминать эту клевету, онъ даже головой слегка покачалъ на подушкѣ... да не одному ему, а всѣмъ, всей миссіи—и о. Владиміру, архимандриту, и молодому о. Макарію, въ которомъ онъ видѣлъ преемника первому, принесъ зло своей клеветой тотъ недостойный человѣкъ!

— Все прошло... Господи, прости всѣмъ и мнѣ прости!—прошептали губы.—Дѣти бы счастливы были, имъ бы все и за меня и за мать бѣдную; а мнѣ что? я покоя хочу тамъ, подлѣ церкви, въ могилѣ тѣлу усталому; здѣсь, подъ небомъ этимъ, гдѣ я жилъ и работалъ, сколько силъ хватало, сколько хватало силъ!.. Вонъ, онѣ горы любимыя, знакомыя!..—думалъ онъ.—На одной изъ нихъ, гдѣ раскинуто кладбище, она покоится бѣдная... Ему тяжело было думать иногда, что его не положить съ ней, но онъ вѣритъ, что они объ руку станутъ тамъ, въ иной жизни; что она тамъ встрѣтитъ его... всѣ они встрѣтятъ—и старецъ архимандритъ, и кроткій митрополитъ, и Коля, сынъ его милый, умершій безвременно, всѣ, кого онъ любилъ здѣсь, и кто его любилъ.

II.

— Батюшка! склонился надъ нимъ его старшій сынъ, незамѣтно вошедшій на террасу.—Темно стало и сыро, да и гроза близится: не перенести ли васъ въ комнаты?

— Нѣтъ, другъ мой... ничего, я полежу тутъ; окна прикрыты: я хочу посмотрѣть эту грозу,--нынче лѣтомъ я ее еще не видалъ: въ комнатѣ все... хочешь—посиди со мной; мать твоя любила грозы наши горныя; безстрашная она была, смѣлая и хорошая женщина... дай Богъ такихъ подругъ намъ всѣмъ!..

Они оба замолкли и смотрѣли въ окна террасы, изъ-за которыхъ на нихъ, сквозь вѣтви деревьевъ, тоже смотрѣло совсѣмъ потемнѣвшее небо, на которомъ зажигались звѣзды спокойныя и прекрасныя.

А туча, надвигаясь, заполняла это вечернее небо; вдали глухо рокоталъ громъ; на террасу принесли свѣчи, но старикъ услалъ ихъ обратно: ему не хотѣлось свѣта... онъ любилъ эту мглу и звѣзды, и положивъ маленькую руку, ту, въ которой ощущалась еще жизнь, на руку сына, онъ тихо улыбнулся чему-то старому, любимому, полузабытому.

— Тебѣ не скучно со мной... никуда не торопишься?— спросилъ онъ сына.

— Нѣтъ, я пришелъ нарочно посидѣть съ вами; я совершенно свободенъ!—ласково отвѣтилъ тотъ, наклоняясь и цѣлуя слабую руку.

— Спасибо, милый...

Отблескъ далекой молніи блестящей полосой отразился на облакахъ, предвѣстникахъ тучи; старикъ увидалъ его.

— Знаешь, эта ночь мнѣ молодость напомнила... случай одинъ забытый... давно это было... я еще холостой былъ... мы съ отцомъ Макаріемъ съ проповѣдью ѣздили; уѣхали далеко—онъ, я, толмачъ, да мальчикъ келейникъ, и ни души болѣе съ нами. Аилъ одинъ насъ привлекалъ, желающіе креститься тамъ были, какъ сказали намъ, а глушь страшная въ горахъ, у рѣки горной быстрой. Дня два мы чернью пробиралися, а потомъ тропою свернули; и проводника не было,—никто не ѣхалъ, время было такое у нихъ: въ ближнихъ аилахъ празднество,—камланье; никому до насъ дѣла не было... вотъ мы на свой страхъ и двинулись, спрашивали, разузнавали дорогу... и, правда, оказалось потомъ, что тамъ насъ ждали и желали.

— Ночь вотъ такая же была: тучи заходили огромныя, лошади наши устали, измучились; ѣхали мы все по берегу рѣки, а она была быстрая, бурная; да, вѣдь, и самъ ты ее знаешь... вотъ и вѣтеръ налетать сталъ порывами сильными, молнія небо освѣщала яркая, и громъ грохотать началъ; а грозы тамъ, въ глуши заповѣдной, ужасныя! кажется, всѣ камни горные гудятъ въ трепетѣ отъ ударовъ небесныхъ... гудятъ, стонутъ, молятся точно... въ страхѣ безумномъ... Тихо мы подвигалися, о. Макарій рясу старенькую теплую натянулъ, подпоясаясь опояской, и мы одѣлись тоже... лошади осторожно ступали, жались другъ къ другу, ушами поводили.

— И жутко мнѣ стало, привычному ко всему этому, въ ту



Протоіерей Стефанъ Ландышевъ съ сыномъ Михаиломъ (впослѣдствіи алтайскимъ миссіонеромъ) и дочерью Маріей (впослѣдствіи женою миссіонера Алтая).

ночь и тоскливо. А буря близилась ужасная съ ураганомъ, который кедры огромные, какъ тростники, ломалъ; молнія полнеба заревомъ озаряла и такими гигантскими размахами по небу разбрасываясь сверкала, что лошади наши на колѣна падали ослѣпленные.

— А глушь страшная въ глаза намъ глядѣла тайгой непроходимую; тропинка исчезла; чаша, колоды, да рѣка вспѣненная быстрая... кругомъ—скалы угрюмыя... и вотъ за страшной молніей ударъ громовой близко надъ нами ужасающимъ гуломъ землю, казалось, потрясъ, а вслѣдъ за нимъ брызнулъ ливень, такой сильный, что мы смокли черезъ какія-нибудь двѣ-три минуты.

— Деревья ломались и падали кругомъ, ураганъ рвалъ наши одежды, дождь лился потоками, а гроза гремѣла ужаснѣе и ужаснѣе... и среди этого хаоса звуковъ, рокота грома и разбушевавшейся рѣки около насъ—совсѣмъ близко—раздался ревъ, ужасомъ наполнившій и не одно мое слабое сердце, вспомиравшее далекую Россію, близкихъ и родныхъ.

— При свѣтѣ молніи я увидѣлъ мертвенно блѣдныя лица

моихъ спутниковъ и озабоченное лицо о. Макарія, печально смотрѣвшаго на насъ.

— Лошади наши стояли теперь на мѣстѣ; онъ еще заранѣе велѣлъ намъ снять съ нихъ вьюки и сложить ихъ подъ выдавшуюся навѣсомъ скалу, и теперь мы сидѣли на свободныхъ отъ нихъ, облегченныхъ, но все же страшно усталыхъ лошадяхъ...

— „Медвѣди!“ — крикнулъ онъ своимъ слабымъ голосомъ, близко склоняясь къ намъ, чтобы быть услышаннымъ. — Надо во что-бы то ни стало перебраться на ту сторону, тамъ скалы выступами большими нависли: насъ отъ бури защитятъ и отъ медвѣдей уйдемъ, пока они насъ не увидали.

— Я сознавалъ, что онъ правъ: но, посмотрѣвъ на вспѣнную бурную рѣку, бѣшенно несущую свои быстрые волны, остановился въ нерѣшимости: она страшила и ужасала меня.

— А молніи, все продолжавшія сверкать ослѣпительными змѣями, освѣщали рѣчную пучину; на лицахъ моихъ спутниковъ было тоже выраженіе страха и нерѣшимости, и только этотъ маленькій сильный духомъ человѣкъ дернулъ поводья своей дрожащей лошади, и та покорно скользнула съ берега въ воду...

— Я помню эту минуту и теперь, ясно помню... онъ слабый и не молодой показалъ примѣръ намъ, молодымъ и сильнымъ; его лицо, освѣщенное молніями, было кротко и покойно; видя что мы не слѣдуемъ за нимъ, онъ повернулъ лошадь, вернулся, взялъ поводья лошадей толмача и мальчика и опять вмѣстѣ съ ними былъ уже въ волнахъ.

— Мнѣ онъ крикнулъ одно слово изо всѣхъ силъ, стараясь перекрычать бурю; „Иди!..“ И взглянулъ укоризненно, а я все медлилъ, позорно медлилъ, точно парализованный; близко около меня упала лѣсина, чуть не придавивъ меня, молнія ударила у самыхъ ногъ отпрянувшей лошади; ревъ медвѣдей слышался совсѣмъ близко, а я все не двигался... и только крикъ, отчаянный, нечеловѣческій крикъ, покрывшій весь хаосъ звуковъ, заставилъ меня мгновенно очнуться и хлестнуть лошадь. Я нырнулъ въ холодныя волны...

— Кричалъ мальчикъ-келейникъ: „тону! тону!“

— Голосъ его показывалъ мнѣ путь; спасительная молнія помогала, освѣщая его; я чувствовалъ, что меня сносить

ниже и ниже, но я не думалъ объ этомъ, я радовался, что голосъ раздавался все ближе. Соскользнувъ съ лошади, я поплылъ около нея, держась за гриву, чѣмъ облегчилъ животное, дрожавшее всѣмъ тѣломъ, и поспѣлъ во-время.

— Схватившись за острый выступъ скалы посреди рѣки, мальчикъ едва держался ослабѣвшими руками; лошадь его унесло, а остальные боролись гораздо ниже еще на лошадяхъ... сквозь сѣтку дождя я видѣлъ ихъ какъ въ туманѣ...

— Слабый я... и всегда не особенно силенъ былъ, а тутъ въ меня точно силы влились огромныя: схватилъ я мальчика свободною рукою и къ берегу поплылъ... съ трудомъ, помню, добрался, оставилъ его на берегу—мѣсто такое, вродѣ расщелины, отъ вѣтра защищенное попало,—оставилъ и снова въ воду кинулся уже одинъ:—лошадь не пошла, выскочила на берегъ—и ни съ мѣста; бросилъ я ее и поплылъ... вижу—бьются наши... сносить ихъ... а молніи такъ по водѣ и скользятъ, громъ апогея достигъ: все гудѣло кругомъ, и горы, и рѣка, и небо... Вижу—ослабѣлъ о. Макарій, а толмачъ на рукѣ его виснеть; бьются, за камни хватаются, а лошадей уже нѣтъ подъ ними...

— Спѣшу я, сердце стучить, кровью обливается... шепчу про себя: „Господи, Господи!“... а самъ на нихъ гляжу... И какъ достигнуть ихъ Богъ помогъ только! Руку о. Макарію... зову его... онъ понялъ, хотя голоса не слышно, киваетъ мнѣ на толмача, его велить брать...

— Вижу—рѣшилъ онъ такъ, спорить не сталъ:—схватилъ того и опять къ берегу... достигъ... близко уже... толкаю его на берегъ, а онъ смотритъ безсмысленно, за меня цѣпляется, едва я могъ справиться съ нимъ. У самого въ глазахъ круги синіе, красные, зеленые—ходятъ... темнѣетъ все передо мной, въ ушахъ гулъ какой-то, и буря, и грохотъ—все ушло точно, и что-то иное стучить... въ головѣ раздается... а сердце щемитъ одна мысль: „о. Макарій“...

— И опять я въ волны кинулся. Помню, плылъ, боролся съ ними, сознание теряя, и вдругъ стукнулся о что-то, и все исчезло изъ глазъ моихъ—и рѣка, и берегъ, и молніи: я потерялъ сознание...

— Очнулся я на берегу. Кругомъ было тихо, не грохоталъ громъ, не сверкала молнія, вѣтеръ не ломалъ деревьявъ,

только ручьи шумѣли, да рѣка плескалась о камни... а надо мной съ высокаго неба сіяли звѣзды... обрывки тучъ бѣжали по этому спокойному небу... точно и не было ужаса пережитаго нами, не было ужасающей грозы...

— Голову мнѣ ломило, и все тѣло ныло и болѣло... и вдругъ я ясно вспомнилъ свою борьбу съ волнами и о. Макарія... тоска мнѣ сердце сдавила... я сталъ подниматься черезъ силу съ травы, на которой лежалъ; и при свѣтѣ звѣздъ и зари, загоравшейся на востокѣ, увидалъ его лицо, заботливо склонившееся надо мною съ доброй и тихой улыбкой...

— „Измучился бѣдный... лежи... лежи! слава Богу—въ сознание пришелъ: ужъ, вѣдь, часа три ты безъ чувствъ... боялся я за тебя страшно“.

— А я схватилъ его руки, заплакалъ радостно благодарными слезами: живы!—шепталъ я,—Слава, слава Богу!..

— „Живъ, милый, по милости Божіей! усни теперь... я, вотъ, провѣтрилъ рясу свою, она теплая... дай—съ тебя сниму одежду мокрую, да посушу“...

— И онъ приподнялъ меня, снялъ мокрую одежду, закуталъ меня своей рясой, и я уснулъ моментально, немного согрѣтый сухой одеждой.

— Проснулся я уже утромъ; солнце смотрѣло мнѣ въ глаза; было тепло и свѣтло; въ лѣсу неумолчно пѣли птицы, трава зеленѣла яркая, свѣтлая; около меня былъ разведенъ костеръ... слегка тянуло дымомъ въ мою сторону... Съ трудомъ повернувшись, я увидалъ около костра наши вьюки, оставленные вчера на томъ берегу рѣки, и около нихъ толмача, мальчика и о. Макарія, хлопотавшаго около котелка съ чаемъ; тутъ же стояла и лошадь,—только одна,—пощипывая траву... въ ней я узналъ мою, выбравшуюся вчера на берегъ.

— О. Макарій замѣтилъ, что я проснулся, и подошелъ ко мнѣ...

— „Выспался милый? ну, что голова твоя... болитъ, поди? вѣдь ты головою ударился о тотъ камень, за который я уцѣпился; я тебя и поймалъ, держалъ крѣпко, пока буря бушевала... а какъ гроза ушла, буря утихла и ливень кончился, я привязалъ тебя къ себѣ поясомъ моимъ, вотъ этимъ—и доплылъ сюда... а тутъ утромъ подошли... догадались вьюки схватить; теперь переплыть легко: вѣдь, вода уже скатилась...

Лошадей вотъ жаль—погибли; ну, да что дѣлать? Далъ Богъ людей спасти...

— „Спаси тебя Богъ за это!“...

— И вдругъ онъ, этотъ старецъ, котораго я уважалъ и чтить, какъ святого, опустился передо мной на колѣна и, склоняясь своей сѣдой головой до земли, поклонился...

— Помню—я забылъ боль мою, все забылъ, увидавъ его передо мною на колѣняхъ... Я поднялся, схватилъ эту дорогую голову, поднялъ ее съ воплемъ — „Вы сами—спаситель мой!“ —и, рыдая, упалъ на грудь человѣка, благодарившаго меня, забывшаго, что самъ онъ спасъ мою жизнь...

— Онъ забылъ о себѣ; но я развѣ могъ забыть это? Я ясно представилъ эти слабыя руки, державшія долго, долго мое безчувственное тѣло среди бури и волнъ; я зналъ, что онъ изнемогалъ, этотъ старецъ съ слабымъ тѣломъ и великой душою; онъ понималъ, что каждую минуту можетъ погибнуть изъ-за меня, и однако не опустилъ меня, спасъ...

— И, продолжая рыдать, я покрылъ поцѣлуями маленькія, тонкія руки; а онъ, все стоя на колѣняхъ, улыбался мнѣ сквозь слезы и говорилъ своимъ ласковымъ тихимъ голосомъ, смущенно и взволнованно, отнимая у меня свои руки...

— „Ну, что ты, милый, Господь съ тобою... успокойся... Господь милостивъ, все Онъ это... Ему благодарность наша... Ну, перестань, успокойся, лягъ!“

— И онъ сѣлъ, не выпуская меня изъ объятій и все продолжая прижимать къ своей груди мою голову, пока я, нарыдавшись, не затихъ и не успокоился окончательно...

— Надо ли тебѣ говорить, какъ я любилъ его всю жизнь мою, какъ чту его память? Такіе рѣдко приходятъ въ міръ: это—избранники, и такихъ всегда ждетъ небо.

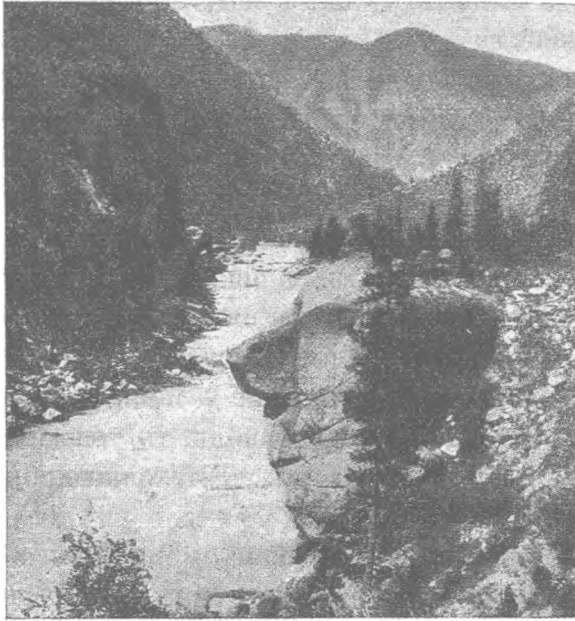
Онъ затихъ и задумался, не отнимая руки отъ руки сына. А туча, заполонившая все небо, сіяла совсѣмъ близко ясными зигзагами молній... громъ грохоталъ, приближаясь, и гулъ ударовъ отдавался въ горахъ...

III.

Капли дождя, крупныя и частыя, забились по крышѣ, забарабанили по стекламъ; при свѣтѣ молній можно было увидѣть лица двухъ людей—молодое, красивое, взволнован-

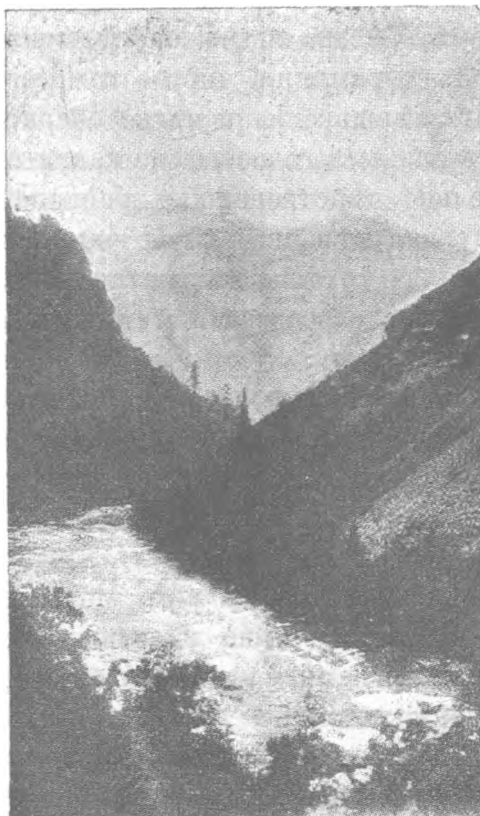
ное и старое, изможденное, блѣдное, тоже взволнованное, глядѣвшее куда-то въ пространство глазами, на которыхъ блестѣли слезы.

Что они видѣли эти ясные глаза?.. тѣ-ли картины, что встали передъ молодымъ подъ впечатлѣніемъ его разсказа или незабвенное лицо старца архимандрита, скорая встрѣча съ которымъ ждала его тамъ, за этими грозными тучами, выше молній и грома, въ безмятежномъ царствѣ любви?..



...кругомъ было тихо... только ручьи шумѣли да рѣки плескались о камни...





...хороша была рѣка, быстрая рѣка, вившаяся лентой по камнямъ, и поросшіе
лѣсомъ уступы горъ...

Страница жизни.

(Памяти перваго апостола Алтая).

„Какъ мало онъ цѣнилъ всѣ подвиги свои!
Какая простота и скромность обхожденья!“

Бакунина.

— „Ночь не свѣтла невѣрнымъ, Христе, вѣрнымъ же
просвѣщеніе въ сладости словесъ Твоихъ!“

Небольшой старичокъ, нѣсколько сутуловатый, въ старомъ, но чистомъ, грубомъ дабинномъ подрясникѣ и черной скуфейкѣ, пѣвшій эти слова слабымъ, тихимъ голосомъ съ глубокимъ чувствомъ вѣры, заглядѣлся добрыми темными глазами на долину съ горнаго уступа, на который зашелъ съ

видимымъ трудомъ. Слегка выющіеся сѣдые волосы и красивая густая борода обрамляли чистое и чрезвычайно симпатичное лицо. Уста пѣвшаго были мягко очерчены, и въ этомъ лицѣ и въ этомъ слабомъ голосѣ была какая-то привлекательная сила, обаятельно дѣйствовавшая на людей.

И теперь смуглая дѣвочка, лѣтъ одиннадцати, заглядѣлась на него изъ-за густого вѣтвистаго кузукъ-агаша такъ же внимательно и ласково узкими темными глазками, какъ онъ заглядѣлся на низину.

— „Улу-абызъ изъ Улалы!“—думала она.—„Да... онъ за травами пришелъ: ишь сколько набралъ... Якші абызъ... Ирленъ хвалила его у насъ въ аилѣ: ой, якші! И отецъ все хотѣлъ его увидѣть“.

А старичокъ все не могъ оторвать взгляда отъ долины. Его горный уступъ царилъ надъ нею. Молодые побѣги вале-ріана заманили его сюда выше и выше: ихъ много расло тутъ, въ расщелинахъ камней, и, хотя боль по обычаю сжимала грудь, но онъ поднялся сюда съ желаніемъ набрать ихъ болѣе для тѣхъ, что жили тамъ, въ долину, подъ уступами горъ, и далѣе, въ Улалѣ.

— Заждался меня Стефанъ!—самъ себѣ сказалъ онъ,—а я, грѣшный, люблюсь созданіемъ Божиимъ и дѣло забылъ, на красоту творенія Его засмотрѣвшись.

И, дѣйствительно, тамъ внизу была красота: хороша была рѣка, быстрая рѣка, вившаяся лентой по камнямъ, и поросшіе лѣсомъ уступы горъ, поднимавшихся отъ нея и уходившихъ въ высь ясно очерченными на синемъ небѣ гривами; хороши были пятна аиловъ, бѣлыя на зелени хвои, и дальнія вершины, одна за другой поднимавшіяся выше и выше, точно стремясь къ небу. Тамъ изъ глубокаго ущелья, поблескивая изъ-за зелени, летѣлъ потокъ: сегодня ночью пролетѣла гроза, и ручьи превратились въ потоки.

— Какъ хорошо... Стефанъ Васильевичъ тамъ, на низинѣ, въ котловинѣ... ничего онъ не увидитъ... но гдѣ же долетѣть къ нему, оставшемуся съ лошадьми, слабому голосу? не услышитъ!

Старецъ оглянулся, чтобы съ выступа поглядѣть на свой подъемъ, и его глаза среди зелени, за кузукъ-агашемъ, примѣтили красную кайму дѣтской одежды, въ которую мать Ай одѣла свою любимицу.

— Дитя!—окликнулъ онъ мягко,—ты изъ того аила, внизу?.. Иди сюда, не бойся... Хорошо тутъ у васъ!.. Иди же!!

У Ай и такъ не было страха: она выросла любимицей въ семьѣ, гдѣ только недавно появился ея братишка, но онъ не отнялъ у ней любви ея родителей. Она довѣрчиво глядѣла на людей, и у нихъ въ аилѣ къ тому же такъ много говорили объ улу-абызѣ изъ Улалы, какъ о лѣкарѣ и добромъ человѣкѣ, что она, не поколебавшись ни минуты, вышла къ нему изъ своего прикрытія. Большая собака, ея спутникъ, выскочила изъ травы, на которой лежала, вслѣдъ за нею, но она не испугала старца, хотя дѣвочка закричала на нее.

— Ничего... Ишь, какой славный!—поласкалъ онъ мохнатую голову собаки и, внимательно оглядѣвъ дѣвочку, сказалъ:

— Да ты—дѣвочка... маленькая алтайская дѣвочка... Гляди, какая красота тутъ у васъ! учись любить ее, малютка.

Она веселыми глазками глянула внизъ:

— Якші!—безпечно сказали ея губки.—Мѣсяцъ это часто видить... Ой, абызъ, отойди: въ этихъ камняхъ живутъ змѣи... они разъ укусили мою собаку... Хорошо, что собаки знаютъ траву отъ змѣй: моя бѣгала за ней три дня... Я думала, она потерялась... Онѣ—умныя, наши собаки, абызъ!..

— Твой отецъ дома?—ласково глядя ея головку, ничѣмъ не прикрытую, съ волосами, заплетенными на нѣсколько косъ, спросилъ онъ.

— Нѣтъ, абызъ, отецъ уѣхалъ далеко, въ аилъ къ брату, на Кондому: тамъ онъ родился; а мы остались съ матерью, потому что ей нельзя бросить аилъ... у меня есть братъ, маленькій Тегенекъ... А ты какъ забрался сюда?.. Одинъ? Пѣшкомъ?.. Ты живешь тамъ, за горами, въ Улалѣ?.. Какъ ты попалъ сюда, абызъ? вѣдь, ты старый, и я не вижу коня, на которомъ ты пріѣхалъ, а идти пѣшкомъ—далеко.

— Тамъ, внизу, есть у меня товарищъ и кони, маленькая, любопытная дѣточка! Какъ зовутъ тебя? скажи мнѣ!..

— Ай!—весело и довѣрчиво откликнулась она,—меня зовутъ такъ, потому что у отца и матери я была одна, какъ мѣсяцъ на небѣ... Посмотри, абызъ, посмотри!

Она схватила его за руку и указала внизъ, гдѣ двѣ большія птицы кружились надъ маленькой козочкой, бѣжавшей и падавшей на колѣни.

— Они ее заклюють... Ахъ, эти проклятые ястреба! Бѣдная, бѣдная, эликъ!..

Священникъ тяжело вздохнулъ.

— Вотъ, такъ и вы, бѣдные, отъ камовъ вашихъ бѣжите и спаситесь не можете: поймають и заклюють... Идемъ, Ай, веди меня туда, гдѣ твоя мать живетъ, а потомъ позовемъ Стефана Васильевича: онъ тоже травы собираетъ, чтобы немощи тѣлесныя врачевать у тѣхъ, которыхъ клюють двуногіе тарбалдины... Что ты смотришь такъ пристально, малютка?.. не понимаешь стараго абыза?.. Пойдемъ, милая... Ишь, какіе умные глазки: твоя душа должна быть открыта къ слову Бога, какъ вонъ тѣ цвѣты. Господь солнце наше! ишь, какъ они къ солнцу повернулись, милые!—указаль онъ ребенку на цвѣты.—И ты...

Собака громко залаяла и бросилась на встрѣчу къ большому, худощавому, совсѣмъ еще молодому человѣку.

— Стефанъ Васильевичъ! А лошади?.. въ айлѣ?.. Вотъ и хорошо!.. Ишь, сколько набралъ травы. Молодецъ! а я, вотъ, цвѣтокъ отыскалъ алтайскій...—Ай—дѣвочку... Гляди, какая славная, и сердечко доброе: чуть не упала туда, въ низину, жалѣя эликъ, которую заклевали жадные тарбалдины.

Собака, окликнутая ребенкомъ, перестала лаять; она только ворчала и скалила зубы на новаго пришельца.

— Вотъ спускъ, абызъ, тутъ не круто, наши козы протоптали тропу: онѣ любятъ лазить по горамъ!—приглашала дѣвочка.

Дорожкой, вившейся межъ камней и огромныхъ вѣтвистыхъ кузукъ-агашей съ мелкою порослью, обвивавшей камни аржан-элена и кустовъ уже отцвѣтшаго марала, она повела своихъ спутниковъ ниже, туда, гдѣ съ противоположной стороны горнаго выступа была небольшая долина, въ которой среди зелени бѣлымъ пятномъ берестяныхъ юртъ намѣтился айлъ, облитый солнечнымъ свѣтомъ.

— У матери много дѣла,—болтала дѣвочка,—охъ, много! Она какъ разсердится на кама Кагыра,—вонъ, тамъ его юрта!—всегда говоритъ: „уѣду отъ васъ, проклятыхъ, въ Улалу къ улу-абызу и крещуся: онъ научить меня, какъ безъ камовъ жить!“ А камъ злится и ругаетъ ее... Отецъ все говоритъ: „разсердишь его, нашьлетъ на тебя кара-неме, тогда будетъ худо!“ А энѣ не боится никого: охъ, какая она славная!..

И вдругъ, что-то вспомнивъ, ударила себя руками по бедрамъ.

— Прости, абызъ, забыла совсѣмъ, куда шла... Иди себѣ къ намъ, а я побѣгу поищу корову: энó велѣла найти ее... она непременно за переваломъ, въ кустахъ: я опять поднимусь туда. Скажи энó, что тебя послала Ай... Эзень болзынь!

И она убѣжала быстро вверхъ по извиистой тропѣ точно проглотившаго ее лѣса.

— Тамъ Петръ ¹⁾ пришелъ, догналъ насъ, только лошади вонъ въ томъ аилѣ, тамъ, гдѣ вы меня оставили, о. Макарій, тутъ, недалеко... Можетъ быть, Господь васъ посылаетъ сюда и встрѣчу вамъ далѣ съ ребенкомъ.

— Правъ ты, другъ мой... Какъ спуститься бы скорѣе?..

А самъ даже за грудь взялся привычнымъ движеніемъ: такъ заныла она старой болью отъ быстрой ходьбы.

Его молодой спутникъ впереди нарочно замедлилъ шагъ, но старецъ торопилъ его.

— Скорѣй, скорѣй, что медлишь? ишь, хитришь ради немощи моей, другъ мой, Стефанъ Васильевичъ. Пойдемъ, голубчикъ! а пока я буду тутъ проповѣдывать, ты потрудишься дойти до Петра и скажи ему, гдѣ я; согрѣйте чай, отдохните: знаю, будетъ заботиться онъ, а если тихо обойдутся съ вами то и вы сюда оба придете... Впрочемъ нѣтъ, лучше я къ вамъ: тамъ, вѣдь, киржаки живутъ, души затемненные, учатъ этихъ бѣдныхъ дѣтей горъ алтайскихъ, что мы ихъ враги... Да, у нашей юной миссіи два зла тутъ: камы и киржаки... Берегись ихъ, чтобы зла они тебѣ по пути не причинили.

И, долгимъ взглядомъ проводивъ спутника, опять тихо запѣлъ свою любимую пѣснь: „Ночь не свѣтла невѣрнымъ, Христе“, спускаясь усталыми ногами къ аилу.

Какая-то высокая и сильная женщина вышла изъ ближайшей юрты, которая, въ количествѣ пяти, ютились въ долину у быстрой горной рѣчки съ небольшими заводами подъ навѣсомъ тала; рѣчка ласково плескалась, спадая съ камней крохотными водопадами, и играла на солнцѣ струями. Женщина прикрыла ладонью глаза и изумленно вперила ихъ въ

¹⁾ Лисицкій, старецъ изъ сосланныхъ, сотрудникъ о. Макарія.

подходившаго къ ней отъ опушки лѣса и, видимо, только что сошедшаго съ горы миссіонера.

А тотъ, ласково кланяясь ей, заговорилъ съ нею по алтайски.

— Дѣвочка Ай послала меня сюда, миловидная дѣвочка, которая пошла искать корову своей матери. Она сказала, что у матери доброе сердце, и что она знаетъ и не любитъ камовъ. Я—абызь изъ Улалы, и мнѣ хочется поговорить съ матерью дѣвочки Ай... Ты знаешь ее?..

— Это — я,—протянувъ впередъ сложенные вмѣстѣ руки, поклонилась ему глубокимъ поклономъ алтайская женщина.— Вотъ моя юрта: мужа моего нѣтъ дома, но проходи, гость: я тоже хозяйка ея. Тамъ мой боламъ Тигенекъ: насъ немного— всего четверо, да аилъ у насъ маленькій, не такой, какъ тотъ за горой... Гдѣ же твоя лошадь?.. я бы разсѣдлала ее.

— Моя лошадь тамъ, за горой; я не одинъ: тамъ мой помощникъ и старецъ съ нимъ. Благослови тебя Христосъ за ласковое слово путнику.

— Аэто,—досталъ онъ сахаръ,—твоему боламчику отъ абыза.

— Спасибо!—опять кланяясь, сказала она, принимая подарокъ.—Вотъ сюда, абызь, подъ эту черемуху: тутъ тебя солнце не будетъ печь... ты усталъ: ишь, какой слабый. Садись на эту колоду... Хорошо у насъ тутъ въ аилѣ, если бы не Кагырь!—понижила она голосъ.—Сегодня, вотъ, тихо, а въ другіе дни сущее наказанье: наѣдутъ къ нему дураки съ аиловъ, а онъ и примется камлатъ: гудить въ бубенъ, ореть, и до того доскачетъ, что валяется потомъ дня два... Вотъ и сегодня послѣ вчерашняго спить: самъ хворый, а жадный... И кому богатство копить?.. одна Косьту и та—хилая, хилая: ни по чемъ ей ни жизнь, ни радость... Да, вонъ, она сидитъ, абызь, на солнышкѣ... Видишь?

Дѣйствительно, глаза о. Макарія различили за аиломъ на камнѣ тонкій силуэтъ подростка дѣвочки, сидѣвшей, облокотясь на руку.

— Такъ вотъ всегда: какъ завалится онъ спать послѣ камланья дня на два, сидитъ она тутъ, все кашляетъ и думаетъ... Хорошо имъ богатымъ: всѣ на нихъ работаютъ... Есть много бѣдныхъ: киржачка Анна коровъ доить и молоко убираетъ, а этой и сумы не поднять съ ячменемъ,—презрительно сказала она, показывая на дочь кама.—Моя Ай такая уда-

лая: она уже все умѣетъ дѣлать... Прости, абызь, Тегенекъ плачетъ, и надо еще стереть соль... Горе съ большимъ хозяйствомъ: у меня, вѣдь, пятнадцать коровъ доится... Камъ не смѣетъ меня задирать, а будь мы бѣдные...

— Сейчасъ, сейчасъ, Тегенекъ, боламчикъ мой.

И она кинулась въ юрту, откуда слышался дѣтскій плачь.

— Ой, ой, мой Тегенекъ! ишь, захотѣлъ ѣсть, а ячмень не готовъ, и соль не растерта, глупый боламчикъ...

Миссіонеръ съ мягкой улыбкой покачалъ головой: какъ могъ онъ говорить о Богѣ этой занятой матери? надо было отвлечь ея мысли.

О. Макарій поднялся и пошелъ къ юртѣ. Кинувъ взглядъ на задумчивый силуэтъ дѣвочки Косьту на облитомъ солнцемъ камнѣ, онъ было повернулъ къ ней, но лежавшія около нея собаки поднялись и заворчали на него.

Въ это время звонкій и веселый голосъ зазвенѣлъ на опушкѣ:

— Не туда, абызь: вотъ сюда... Мама, мама! это—гость, что же ты не идешь?

Мать опять выглянула изъ юрты.

— Нашла корову, Ай?..

— Нѣтъ!

— Такъ иди же туда, куда говорила я, до Анны: она съ ихъ коровами ходитъ. Не заботься о гостѣ: вотъ успокою Тегенека и угощу его чаемъ.

— Погоди, абызь.

Ихъ разговоръ привлекъ вниманіе дочери кама: она повернула къ абызу блѣдное худенькое личико, но не пошевелилась на своемъ камнѣ.

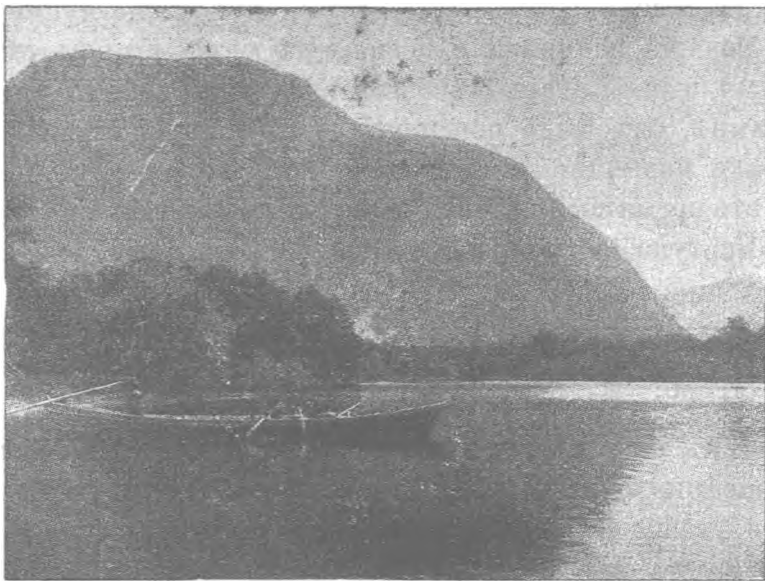
Абызь вошелъ въ юрту, гдѣ хозяйка возилась съ ребенкомъ, котораго только что накормила. Толстый черноголовый мальчикъ не хотѣлъ идти съ рукъ: онъ требовалъ, чтобы мать держала его, и миссіонеръ терпѣливо ждалъ, когда онъ угомонится.

Мать, наконецъ, положила его въ люльку, небольшой продолговатый ящикъ изъ бересты; просунувъ ножку этой люльки въ ременную петлю, отчего ящикъ-люлька приподнялась вершка на четыре надъ поломъ, она начала двигать ее изъ стороны въ сторону, что заставило замолчать маленькаго алтайчика.

— Спаль-бы,—говорила она,—у, глупый... А тутъ эта корова: совсѣмъ она отъ рукъ отбилась, абызь, прямо горе

съ ней: такая дикая... Ай качнула бы его, а я бы стерла соль и ячмень... Вотъ какой боламчикъ беспокойный: басмакъ третій день беру въ руки. Ладно, было ячменю готового много... Конечно, у другихъ кричатъ боламчики, а имъ и горя мало: дѣлають, а у меня ихъ—всего двое, и я ужъ лучше брошу работу, чѣмъ ребенка.

— Ты хорошая мать,—сказалъ о. Макарій,—но я сегодня помогу тебѣ; дай, я буду качать дитя, какъ ты, и успокою его: качанье не помѣшаетъ мнѣ говорить, а ты будешь тереть соль и ячмень.



...Творецъ огромныхъ океановъ, которые болѣе въ тысячи разъ -- и еще болѣе!—Алтынъ-Нора...

Онъ сѣлъ на суму около ребенка и сталъ медленно двигать люльку, а мать благодарно закивала головой.

— Такъ, такъ: ты славный человѣкъ, абызъ! и какъ умѣешь водиться: смотри, боламчикъ смѣется съ тобой! а наши камы... Ай и сейчасъ боится Кагыра: такой худой человѣкъ.

— Гляжу я на миръ долины вашей благословенной, на эти маленькія нивы ячменя и на стада, пасущіяся тамъ, въ котловинахъ, и думаю, что все ваше горе въ томъ, что не любите вы Бога, отъ котораго васъ отдалили камы. Бога, который сотворилъ и горы, и небо, всю эту красоту, и по волѣ Котораго бѣгутъ рѣки, идетъ дождь на ваши поля и травы, кото-

рыя вырастають такъ обильно для вашего скота!—ласково и убѣдительно заговорилъ онъ.

Она прислушалась, насыпавъ соль на басмакъ.

Въ отверстіе для дыма падали лучи солнца и озаряли косымъ свѣтомъ сѣдую голову въ скуфейкѣ, тонкое неодолимо симпатичное лицо абыза Макарія, качавшаго ея маленькаго сына.

— Великій Кудай неба и земли и тѣхъ звѣздъ, что, какъ



...Если бы онъ имъ вѣрилъ, абызъ, то приносилъ бы за меня жертвы, а то онъ камляетъ людямъ, а за меня не хочетъ камлаты!..

огни, блещутъ на небѣ, Творецъ огромныхъ океановъ, которые болѣе въ тысячи разъ—и еще болѣе!—Алтынъ-Нора, этотъ Кудай любилъ, когда приходилъ на землю, простыхъ и бѣдныхъ такихъ, какъ ты. Въ такіе же ясные дни приходилъ Онъ къ ихъ порогу, садился и училъ, что надо любить другъ друга, такъ сильно любить, чтобы даже душу свою отдавать за враговъ.

Женщина слушала со вниманіемъ, а онъ говорилъ о великой любви Христа просто, безыскусственно, и дитя, успокоенное его качаніемъ и тихимъ, проникновеннымъ голосомъ, лежало покойно. глядя на его лицо.

Ни проповѣдникъ, ни женщина не замѣтили легкой тѣни, заслонившей входъ, и тоненькой фигуры дочери кама, прижавшейся лицомъ къ косяку входа: она слушала, вся уйдя въ слухъ, и ея блѣдное лицо все разгорѣлось пятнами яркаго румянца.

Какъ мягко звучалъ тихій голосъ и какія слова: каждое ложилось ей въ душу и ласкало ея слухъ!.. Еще бы! вѣдь, ей, Косьту, осталось немного жить: не даромъ ныла у ней грудь, и мучилъ кашель. Отецъ лѣчилъ ее, отецъ боялся ее потерять, бѣдный отецъ, котораго она любила и боялась, когда во время камланья съ нимъ дѣлалась страшная позѣвота, и дикіе крики наполняли воздухъ, судороги сводили ему руки и ротъ, его всего корчило, и у него дергались даже глаза. Косьту знала, что черные духи владѣютъ отцомъ, и боялась его, боялась /своей страшной вѣры, которая ничего не сулила послѣ смерти: а старый абызъ говорилъ объ иномъ; онъ говорилъ, что тогда, когда смерть схватитъ человѣка, и порвется его душа, тамъ на небѣ будетъ другая жизнь, и ак-неме понесутъ человѣка безъ тѣла, но такого же, какъ онъ былъ, только невидимаго, туда въ высоту, къ Кудая, отнимутъ его у кара-неме, потому что Кудай добръ, а кара-неме Его трепещутъ... Ахъ, какъ хорошо тамъ на небѣ! не даромъ ее тянетъ туда неодолимо.

Дѣвочка Ай, пригнавшая корову, и лаявшія на подъѣзжавшихъ спутниковъ абыза собаки не отвлекли вниманія: слишкомъ хороши были эти новыя неслыханныя слова.

— „И какой добрый, какой безконечно добрый былъ Богъ... абыза: ему не надо было жертвъ, не надо камланья... Онъ училъ только любить и слушаться добрыхъ и за это—цѣлое небо... Милый, старый абызъ! хорошо, что онъ пришелъ, пока ея душу еще не подрѣзала смерть, какъ скошенную траву... Надо поговорить съ абызомъ!“

И она рѣшительно двинулась къ старцу, переступивъ порогъ юрты своихъ сосѣдей.

Хозяйка удивленно взглянула на нее, но привѣтливо отвѣтила на поклонъ этой рѣдкой гостыи, а миссіонеръ, оставляя ребенка, ласково улыбнулся ей:

— Ты пришла слушать, дитя?—спросилъ онъ.

— Я уже все слышала, абамъ!—сказала она кротко.—

Мнѣ немного осталось прожить, хотя я еще молода: жадная улюмъ тянется ко мнѣ и знобитъ меня холодомъ, когда людамъ жарко; она скоро заледенитъ мое сердце, а я боюсь кара-неме, абызъ! боюсь темноты и такъ люблю небо и звѣзды! Я люблю солнце и мѣсяцъ и хотѣла бы уйти туда на рукахъ ак-неме, когда душа моя оторвется отъ тѣла и лопнетъ, какъ шелчинка... Научи меня, какъ сдѣлать такъ, чтобы Кудай принялъ и меня.

Подошедшая Ай стала покачивать брата, внимательно слушая, а миссіонеръ, вставъ, положилъ руку на голову Косьту.

— Это легко, такъ легко и просто сдѣлать, дитя, если твоя душа, хотя немного, можетъ Его любить. Когда Онъ былъ на землѣ, къ Нему приходили дѣти, и Онъ любилъ ихъ, и теперь съ неба Онъ любитъ всѣхъ и видитъ сердце каждого: Онъ видитъ и твое... Можешь ли ты полюбить Его, добраго, кроткаго, милосерднаго?.. Хочешь ли креститься? потому что только тѣмъ, кто полюбитъ Христа и, повѣривъ въ Него, приметъ крещеніе, откроются небесныя двери, хотя Онъ любить всѣхъ и тебя, бѣдное, больное дитя.

— Она—дочь кама, абызъ,—сказала хозяйка,—и отецъ проклянетъ ее: онъ никогда не дастъ ей креститься, потому что любить ее!

— Онъ дастъ,—сказала дѣвочка твердо,—а не дастъ, я уйду сама... убѣгу... вѣдь, ты знаешь, тетя, что злыя кара-неме и курюмесь ждутъ насъ, и ничего добраго мы не увидимъ отъ нихъ, когда наши тѣла похолодѣютъ, а тутъ—Богъ и небо... О, тетя! пойдемъ вмѣстѣ къ Кудая и ты, Ай! Пусть гнѣвается отецъ: я хочу любить твоего Бога, абызъ, и вѣрю Ему, потому что Алтай, такой большой и красивый, Онъ создалъ, какъ ты рассказывалъ, Одинъ, а наши боги ничего не могутъ сдѣлать... отецъ даже не любитъ говорить о нихъ... Если бы онъ имъ вѣрилъ, абызъ,—съ страстной печалью воскликнула она,—то приносилъ бы за меня жертвы, а то онъ камлаетъ людямъ, а за меня не хочетъ камлатъ. А онъ любитъ меня, любитъ, абызъ, повѣрь мнѣ: зимой, въ мятели и бури ищетъ онъ для меня куропатокъ и разъ чуть не замерзъ, ходя за ними. Онъ знаетъ, что только ихъ кровь и парное молоко унимаютъ мой кашель: я у него одна... Поговори съ

нимъ, абызъ!., Къ вечеру онъ проснется: я тогда пойду посмотрю его: онъ страшно спитъ... во снѣ приходятъ черные духи и мучаютъ его: онъ кричитъ и мечется... Страшно быть камомъ, абызъ! .

— Страшно, дитя... Но иди на солнце: ты дрожишь, а тутъ сыро въ юртѣ; иди, я тебѣ дамъ горячаго чаю... Вонъ тамъ—мои: они скипятятъ его намъ, потомъ я напою тебя лекарствомъ, отъ котораго ледяной холодъ не будетъ тебя томить. Кто знаетъ, можетъ быть, ты станешь жить, будешь здоровой и крѣпкой: на этихъ горахъ много цѣлебныхъ травъ, и я приложу все силы, чтобы Христосъ, спасая твою душу, продлилъ и твою земную жизнь; я буду молиться Ему... Ты, вѣдь, любишь Алтай?...

— Я люблю его, абызъ, вѣдь онъ мой: я тутъ родилась и выросла... но грудь таки ноетъ, и кровь идетъ у меня изъ горла... Нѣтъ, поскорѣе учи меня и, пожалуйста, крести: здѣсь тяжело жить, тяжело смотрѣть на отца... Когда я уйду туда и увижу Кудая, я попрошу Его послать отцу ак-неме, хранителей, какъ говорилъ ты ѣджѣ, чтобы они охраняли его отъ черныхъ и увели туда, гдѣ буду я.

Она закашлялась, хватаясь за грудь, и, выйдя изъ юрты, сѣла на сваленное бурей дерево.

Дѣвочка Ай, вышедшая за нею, грустно глядѣла на нее: по умненькому личику ея шли тѣни глубокой думы.

— Тамъ не хворають у Кудая?—спросила она мисіонера пытливо.—Тамъ хорошо, абызъ?..

— Хорошо,—сказалъ онъ съ непоколебимой вѣрой.—Такъ хорошо, что моя душа давно томится и рвется туда, а Кудай посылаетъ мнѣ жизнь: Онъ хочетъ, чтобы я много, много людей научилъ любить Его. И вотъ я хожу по долинамъ и горамъ и зову къ Нему: идите, идите къ Отцу, милыя Ему дѣти! И тебя зову, дѣвочка Ай, твою мать и эту бѣдную кысъ... стану звать ея отца и другихъ, пока хватить силъ: у меня болитъ грудь, и тѣло хило и слабо, но пока я могу, все буду ходить и звать васъ, простыхъ сердцемъ, и тамъ, на небѣ, на этомъ синемъ голубомъ тенгередѣ, ак-неме, свѣтлые ак-неме съ бѣлыми крыльями, которые уносятъ изъ міра человѣческія души къ Богу, будутъ радоваться тому, что ты, дѣвочка Ай, и ты, блѣдная кысъ, слушаете меня и начинаете любить Того, Кого такъ любить мое сердце...

Высокій старецъ Петръ подошелъ къ нему и принялъ

благословеніе: онъ любилъ своего о. Макарія глубоко и преданно заботился о немъ, какъ о ребенкѣ, этотъ человѣкъ, видавшій много горя въ жизни.

— Чаю, отецъ мой?.. Когда ѣли?.. А чай готовъ уже: мы его еще тамъ у аила скипятили со Стефаномъ Васильевичемъ и перенесли сюда, а сейчасъ онъ опять закипѣлъ... Вонъ туда, подъ черемуху... Охъ, и денекъ: солнце, кажется, свѣтитъ сегодня устанетъ: глядите, ни отмѣтки на небѣ, а съ горы тутъ на звѣзды глядѣть хорошо будетъ и на Алтай: трудно только подняться вамъ будетъ...

— Какъ тебя зовутъ, дѣвушка!.. Давно ли хвораешь?..

— Ее зовутъ Косьту,—вышла изъ юрты хозяйка съ толканомъ и курмачемъ въ рукахъ,—она—славная кысь.

— А хвораю давно!—сказала Косьту.—Говорятъ, отецъ простудилъ меня: онъ забылъ огонь послѣ камланья, и очагъ потухъ... на отцѣ была шуба, а я спала около очага безъ нея: я была очень маленькая и простыла тогда; а все-таки расла, какъ осина, сухая и тонкая.

— А мать?—спросилъ о. Макарій.—Почему не поберегла тебя мать?..

— У меня не было матери,—печально отвѣтила она, потупивъ лицо, сидя на сваленной бурей соснѣ, чья вершина уходила далеко почти къ самому порогу жилища кама, ея отца.

Изъ третьей юрты вышли пожилая женщина и инородецъ, очевидно ея хозяева. Они подошли къ гостямъ аила и, закуривъ трубки, сѣли подлѣ костра разведеннаго спутниками о. Макарія.

Маленькій Тегенекъ, видимо уснувшій, не мѣшалъ матери, и она присоединилась къ слушателямъ о. Макарія.

А онъ опять училъ, позабывъ о чаѣ, и его слова заставляли Ай вздыхать, а на темныхъ глазахъ блѣднолицей Косьту вызывали слезы.

— Вонъ, опять ѣдутъ къ твоему отцу!—сказалъ, вынимая трубку изъ рта, флегматичный алтаецъ, перебивая слова о. Макарія, котораго, видимо, плохо слушалъ.

Обернувшись, всѣ увидѣли ѣхавшихъ гуськомъ трехъ алтайцевъ, которые вели за собой соловую лошадь.

— Камлатъ!—протянула мать.—Ай калакъ... Опять напугаютъ боламчика... Бѣги, скажи отцу, Косьту, добудися его.

Косьту еще болѣе поблѣднѣла: она взяла руку о. Макарія и сказала горестно:

— Опять замучаютъ лошадь... о, абызь! попроси твоего Бога, чтобы абама не могъ камлатъ: пусть всѣ кара-неме убѣгутъ отсюда.

Алтайцы въ своихъ странныхъ одеждахъ уже подѣзжали. Громкій лай собакъ привѣтствовалъ ихъ, но, какъ только они подѣхали къ группѣ людей и слѣзли съ лошадей, собаки прекратили лай и стали обнюхивать пріѣзжихъ.

— Кто вы?—спросилъ обитатель аила.

И, когда пріѣзжіе поздоровались и объяснили, откуда они и зачѣмъ, онъ указалъ имъ юрту Кагыра, которому они привели коня, дѣйствительно, для камланья.

— Абызь,—умоляюще сказала опять Косьту,—не пускай ихъ!

— Камъ спить,—выступилъ о. Макарій,—дочь говоритъ, что онъ боленъ: я тутъ часа три и еще не видалъ его; садитесь съ нами, гости, и поговоримъ, а коней привяжите... Почему вы хотите камлатъ?

— У насъ всѣ женщины въ аилѣ и всѣ дѣти хвораютъ, абызь!—отвѣтилъ сухощавый калмыкъ.—Шибко горятъ, какъ въ огнѣ; Кагырь хорошій камъ: шибко умѣетъ камлатъ: и Ульгень и Эрликъ его слушаютъ.

О. Макарій бросилъ кружку съ чаемъ, которую было взялъ въ руки; его глаза зажглись, и онъ заговорилъ съ глубокимъ убѣжденіемъ:

— Не поможетъ онъ, не поможетъ, потому что и боговъ этихъ нѣтъ; а демонамъ, которымъ онъ камлаетъ, пріятно мучить людей: они никогда не отступятся отъ нихъ и не помогутъ, а вашихъ родныхъ томить болѣзнъ горячки: пришла въ аилъ и жгетъ ихъ тѣла, сушитъ уста: камланье не поможетъ... хотите, я помогу имъ, поѣду съ вами, а эта бѣдная лошадь останется жива?.. Наша вѣра учитъ, что тотъ блаженъ, кто и скотовъ любить.

Но инородцы не слушали его словъ.

— Нѣтъ, абызь!—качали они головами.—Нѣтъ. Кагырь такъ покамлаетъ, что болѣзнъ уйдетъ отъ насъ; онъ шибко мастеръ камлатъ; уйдетъ болѣзнъ... наши отцы, дѣды и всѣ наши предки камлали.

— Я не могу остановить васъ!—тихо, съ печалью въ голосѣ сказалъ онъ; но опять торжественно и убѣжденно

воскликнулъ:—только Господь не допуститъ, пока я здѣсь, совершиться камланью, мой милостивый Господь!

И это глубокое убѣжденье, силой звучавшее въ слабомъ голосѣ, заставило успокоиться сердце Косьту: она повѣрила абызу: вѣдь, его Богъ былъ сильнѣе всѣхъ боговъ и добрѣе; Онъ знаетъ, какъ тяжело мучается лошадь, когда ей ломаютъ спину... Абызь скажетъ ему, чтобы онъ послалъ ак-неме, и эти ак-неме остановятъ ея отца.

— Тебя просятъ,—дернула ее Ай,—Косьту, они говорятъ тебѣ.

— Иди, разбуди намъ кама,—кланялись ей.—Пожалуйста: шибко надо камлатъ. Побуди, что долго спитъ? уже полдень прошелъ давно.

— Я не пойду,—угрюмо нахмурилась она.—Идите сами: вчера онъ камлалъ и усталъ: его всего дергаетъ, и кара-неме мучаютъ его во снѣ, я уже будила его утромъ и мочила ему голову водою, а теперь не буду, я сама устала, и у меня нѣтъ силъ трясти его.

— Ну, тогда, мы сами,—переглянулись нерѣшительно алтайцы.—Ой, дѣвочка, побуди, пожалуйста!!

— Нѣтъ!—рѣшительно отвѣтила она,—будите сами: я боюсь юрты: отецъ всегда такъ страшно храпитъ! я ночевала даже у нихъ,—указала она на мужа съ женою,—въ нашей юртѣ страшно: черные духи живутъ въ ней у отца, они пьютъ кровь ногами: онъ спитъ какъ мертвый, и сердце перестаетъ биться въ его груди, онъ бѣлѣетъ весь, какъ снѣгъ на бѣлкахъ, и, просыпаясь, хватается за грудь и говоритъ, что его душилъ курюмесь; онъ когда-нибудь умретъ такъ.

— Мы пойдемъ!—сказалъ невысокій сѣдой алтаецъ.—Ты, видно, хочешь дружить съ абызомъ,—недружелюбно поглядѣлъ онъ на дѣвушку,—а мы будемъ лѣчить нашихъ больныхъ по старому.

И, повернувъ къ дѣвушкѣ спину, онъ, а за нимъ и его спутники пошли къ юртѣ Кагыра, ведя за собой лошадей.

— Абызь, они идутъ, абызь!—схватила блѣднолицая дѣвушка руку о. Макарія.

— И пусть,—сказалъ онъ твердо.—Я тебѣ сказалъ, что пока я тутъ, они не будутъ камлатъ; я не уѣду долго, если будетъ нужно.

— Выпейте чаю, о. Макарій,—сказалъ Стефанъ Васильевичъ,—онъ весь перекипѣлъ... Вы устали, вѣдь, уже вечерѣетъ...

— Пейте вы съ Петромъ,—отвѣтилъ онъ мягко,—я подожду еще; мое сердце болитъ что-то... Что это?..

Всѣ три алтайца, какъ пришибленные выскочили изъ юрты съ испуганными лицами.

— Они увидали тамъ кара-неме!—сказала, вскочивъ, мать Ай.—Они бѣгутъ, абызь...

И сама испуганно топталась вмѣстѣ съ другими.

Блѣдные пальцы Косьту впились въ руку миссіонера; она сама побѣлѣла, какъ снѣгъ на горахъ, и тихо шептала:

— Ой, абызь, что тамъ? калакъ! Абызь, что случилось у насъ?..

— Абызь!—вскричалъ высокій. Онъ—Кагырь—мертвый... и какой страшный: сидитъ, скорчился, руками вцѣпился въ бубенъ и глазами глядитъ... Ой, страшно такъ... Мы его позвали, ничего не отвѣчаетъ. Подошли, а онъ холодный весь... Ой, какъ страшно!

Руки Косьту тоже похолодѣли, и стоявшій близко Стефанъ Васильевичъ поддержалъ ее, зашатавшуюся и залившуюся слезами.

— О, абамъ, абамъ!—рыдала она.—Тебя задушили они... Абызь, они задушили его, и я не успѣла упросить Христа, твоего Бога... о, абызь, я боюсь глядѣть на него... Проклятые кара-неме, проклятый Эрликъ: они задушили его, моего бѣднаго абама, а онъ служилъ имъ всю жизнь!!

О. Макарій кротко утѣшалъ ее.

— Неужели вы и теперь будете камлатъ?—сказалъ онъ почти строго пріѣхавшимъ къ нему.—Завтра поутру, когда отдохнутъ ваши кони, я поѣду къ вамъ въ аилъ: посмотрю и полѣчу вашихъ больныхъ. Отдохните тутъ...

— У тебя есть родные, Косьту? Бѣдное дитя!.. Теперь Отецъ Небесный будетъ отцомъ твоимъ, а мы позаботимся о тебѣ.

И онъ пошелъ къ юртѣ Кагыра, оставивъ на рукахъ у женщинъ его плачущую дочь.

Кагырь былъ дѣйствительно мертвъ; его лицо носило слѣды ужаса. Онъ сидѣлъ, прислонясь къ стѣнѣ юрты, и

глядѣлъ туда, гдѣ стояли курмιάжки, уродливые курмιάжки, передъ которыми висѣло сомо; руки впились въ бубень, словно онъ хотѣлъ имъ заслониться отъ чего-то страшнаго.

Одноаилецъ его Позучакъ осѣдлалъ лошадь и поѣхалъ къ зайсану, жившему верстахъ въ пятнадцати отъ аила, съ докладомъ о смерти, а женщины принялись собирать покойника всѣ, кромѣ дочери, продолжавшей плакать, и Ай, ушедшей качать братишку.

О. Макарій грустно пилъ чай. Чего не видѣли его глаза тутъ, въ Алтаѣ! Болѣзни и скорби людей близки были чуткому сердцу, не даромъ онъ пришелъ сюда издалека со словами любви на устахъ и полнымъ любви сердцемъ; зачѣмъ ранѣе медлилъ онъ посѣтить этотъ аилъ за дальностью его отъ Умалы?.. Кто знаетъ, можетъ быть тогда доброе слово коснулось-бы потемнѣвшей души, и камъ былъ бы спасенъ: вѣдь онъ любилъ Косьту, можетъ быть ради нея сердце его отворотилось бы отъ ужасныхъ демоновъ.

— О. Макарій! Господь съ вами: учите, что унынiе грѣхъ смертный!—примѣтилъ состоянiе его души чуткій старецъ Петръ.—Судьба... Божiй предѣлъ... вкусите пищу-то. Господь, душу дочери спасая, попустилъ смерть его... Смотрите, вечеръ какой благословенный. На гору поднимаемся, имъ теперь не до насъ будетъ: наѣдетъ родня, заголосятъ... знаете! А дѣвочка Косьту—Божiя, она ужъ теперь отъ Христа не отворотится, за отца молиться будетъ бѣдная.

И старикъ подалъ своему любимому начальнику глиняную кружку съ перекипѣвшимъ чаемъ и черные сухари, изъ плохо выпеченнаго хлѣба, которые едва размокали въ чаю.

— Потомъ на гору, можно на лошадяхъ подняться!—сказалъ Стефанъ Васильевичъ.—Хорошо видны бѣлки: ночь лунная будетъ.

— Пойди,—поднялся о. Макарій, выпившiй чай,—погляди, собираются путники наши бѣдные... забота ихъ гложетъ... можетъ быть до другого кама?..

— Куда вы?.. Почему не дадите отдохнуть лошадямъ?..

— Къ себѣ, абызъ,—угрюмо сказалъ сѣдѣющiй иноходецъ,—тамъ, вѣдь, хвораютъ наши... дай лѣкарства, когда хотѣлъ полѣчить: нашъ аилъ далеко, и путь труденъ: перевалы, бома есть, брода глубоки: всплываетъ лошадь... ты—

старъ: тебѣ трудно ѣхать къ намъ... расскажи, что дѣлать намъ надо, какъ давать лѣкарство твое, чтобы ихъ не палило жаромъ?..

— Я поѣду самъ!—сказалъ онъ твердо.

— Ты, Петръ, останешься тутъ, у Ай и ея матери: утѣшь дѣвочку Косьту, будешь учить ее молитвамъ, когда она немного отойдетъ, а я съ Стефаномъ—туда: больные ждутъ. Тутъ у насъ есть лѣкарства, и ты, другъ, на свободѣ вале-ріаны набери: тебѣ Ай покажетъ дорогу-тропку на ту вершину: тамъ много ее въ камняхъ... Ты знаешь, какая?..

И принялся помогать сѣдлать лошадь Стефану Васильевичу.

Инородцы тоже стали помогать имъ, удивленные готовностью миссіонера ѣхать въ ихъ далекій уголь черезъ перевалы и бома.

— Мы тихо, абызъ, поѣдемъ,—сказалъ самый младшій изъ нихъ, доселѣ не вступавшій въ разговоръ,—завтра утромъ будемъ дома. Твоя лошадь, однако, тряская: сядь на мою...

— Ничего, другъ мой... ничего: я привыкъ. У тебя-то кто боленъ тоже?..

— Мать!—печально сказалъ молодой инородецъ.—Вся горитъ: улюмъ уже захватила ее... О, абызъ! она—добрая мать, и мое сердце болитъ за нее: эта лошадь моя, но я бы съ радостью отдалъ еще двѣ, если бы мать стала здорова: она выводила меня одна, когда медвѣдь задралъ отца на охотѣ; я люблю ее, абызъ, и, если бы камы взялись ее лѣчить и попросили бы у меня весь скотъ, я бы отдалъ его съ охотой.

— Ты—добрый сынъ,—сказалъ о. Макарій.—Богъ далъ мнѣ малое умѣнье врачевать тѣло; я самъ похожу за твоею матерью, другъ мой..

— Что ты, Петръ?.. Неохота отпустить меня, старецъ мой?.. Ничего!..

— Какъ черезъ перевалы-то будете переѣзжать?.. грудь-то свою забыли? Охъ, забота мнѣ съ вами! А огородъ нашъ... польютъ ли его тамъ?..

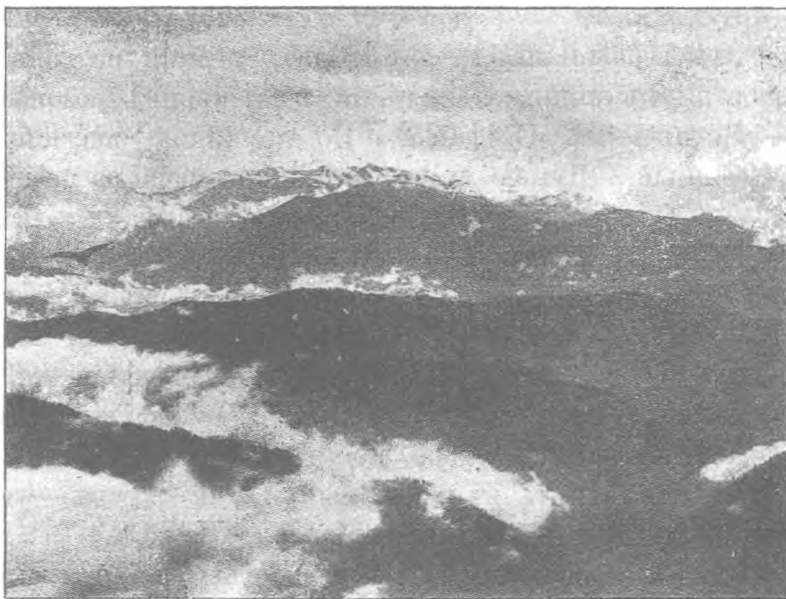
— Ахъ ты, душа добрая, Марѳа евангельская: заботишься о земномъ!—невольно улынулся о. Макарій,—вѣдь, не долго я пробуду тамъ... не мѣсяцъ же. Отсюда тебѣ недалеко: съѣзди, попровѣдай, дѣвочку возьми съ собой: пусть развлечется, посмотритъ на жизнь крещеныхъ... Ну, Христосъ съ тобою!

Утѣшь ее, скажи, что поѣхалъ я больнымъ помочь... Поклонъ мой нашимъ и ей. Христосъ ее храни, бѣдную.

— А, это ты, Ай,—милая?.. Молиться я за тебя буду, чтобы сердечко твое Христа полюбило: ты славное, умное дитя, походи за Косьту, какъ за Тегенекомъ: Косьту нуждается въ твоей помощи... Хорошая дѣвочка, бѣдная Косьту.

И маленькая алтаечка долго слѣдила за уѣзжавшими путниками, пока они поднимались на перевалъ.

— Славный абызь!—шептала она сама себѣ.—Хорошій абызь... Я утѣшу Косьту, когда она придетъ, а туда въ юрту не пойду, потому что боюсь кама Кагыра.



Алтари Твои, Господи силъ, Царю мой и Боже мой!

II.

Цѣлое море вершинъ!

О. Макарій засмотрѣлся на нихъ, погружавшіяся въ сумракъ вечерній. Отовсюду поднимались задумчивые строгіе силуэты. Было холодно тутъ, на высотѣ перевала, но красота вида заставила позабыть и боль въ груди и этотъ холодъ.

— Господи Боже, какъ хорошо!—сказалъ онъ тихо своему спутнику.—Алтари Твои, Господи силъ, Царю мой и Боже мой!. Вонъ Куминскіе бѣлки, а тамъ далѣе, сынъ мой ми-

лый, вѣчные снѣга... Красота какая! А вонъ и лампы зажглись: не могу я равнодушно любоваться на природу Божию: сердце трепетать начинаетъ слабое и дивится... Смотри, какъ загораются звѣзды:

„Онѣ пламенѣютъ одна за другой

Въ молитвѣ горячей, въ молитвѣ святой“...

— И подумать, что это міры, Стефанъ, такіе же, какъ нашъ, можетъ-быть, большіе міры... Сколько силы въ словѣ этомъ, когда насъ частичка одного міра поражаетъ... Гляди, какъ волны на морѣ, горы!..

— Будетъ еще перевалъ по-утру, другъ мой?—обратился онъ къ молодому инородцу.

— Будетъ.

— Это хорошо! люблю я смотрѣть утрами на горы, какъ туманы станутъ подниматься на нихъ изъ низинъ, розовые всѣ...

— Усталъ ты, Стефанъ?.. Не научился еще спать на сѣдлѣ, бѣдный... Думаю я, чтобы пришло сюда за нами много другихъ дѣлателей и вездѣ бы прошли по горамъ этимъ отъ края и до края, вездѣ бы рассказали о Христѣ... Неужели это будетъ?.. Душа у меня несовершенна: я человѣкъ немощный и слабый, но мой духъ паритъ, какъ подумаю, что среди этихъ горъ по тихимъ долинамъ зазвонятъ колокола, и въ храмы пойдутъ алтайцы крещенные... много крещеныхъ... конечно, это будетъ не скоро, но это будетъ, Стефанъ!.. Если бы я могъ посмотрѣть на крещеный Алтай оттуда,—указалъ онъ на небо,—моя душа радовалась бы тамъ!!

— Вы все говорите о смерти, отецъ мой!—сказалъ Стефанъ Васильевичъ.—Живите долго и учите: такого уже не будетъ на Алтаѣ.

— Такіе будутъ, сынъ мой: придутъ, отовсюду придутъ. Скажи имъ мой привѣтъ тогда, хотя они меня и не будутъ знать.

— Отецъ мой!—горестно сказалъ Стефанъ Васильевичъ.

— Ну, ну, не огорчайся, слушай-ка.

Въ тишинѣ наступающей ночи отъѣхавшій отъ нихъ далеко молодой инородецъ запѣлъ:

Терсіенен салкын кананда,

Терменгэй камыш каканда

Терменгэй камыш баштары?

Текші тууганды саназам
Тежильгенъ косътой яне келет ¹⁾).

Грустью звучалъ молодой голосъ.

— Эта душа будетъ спасена,—сказалъ о. Макарій.—Кто много любитъ, тотъ спасется, а его душа томится и любить... Что это, они точно исчезаютъ?.. Да... это спускъ, Стефанъ, подтяни подпруги у лошади... вотъ такъ... Помогни и мнѣ, Господа ради: силы слабыя у меня, а все жизнь... меня съ дѣтства такимъ сдѣлала она слабосильнымъ... бываетъ это съ людьми часто. И у тебя силы не много, Стефанъ, но сила Божія и въ немощи совершается; только не инокъ ты будешь: сердце у тебя безъ поддержки истомится... молодъ ты, и боюсь я оставить тебя одного: надо тебѣ подругу вѣрную, чтобы она тоже стала миссіонеромъ и тебѣ въ трудахъ помогала... Развѣ есть грѣхъ въ бракѣ честномъ? Показывай тогда примѣромъ своей жизни, какъ жить должны люди...

— Темно тамъ...

Низина тонула во мракѣ: луна еще не взошла, а свѣта звѣздъ не было достаточно освѣтить глубокую и узкую долину, въ глубинѣ которой звенѣла и металась по камнямъ горная рѣка, надъ которой поднимался туманъ, сливавшійся со мглою.

— Гдѣ же они сгинули? а дорогу-то мы и не знаемъ!—сказалъ Стефанъ Васильевичъ. — Какіе безпечные: уѣхали далеко!

— Нѣтъ! тутъ ждуть: слышу я, кони фыркнули...

— Абызъ, ты тутъ?.. Сюда, тутъ не круто: я жду... тутъ глубокий бродъ будетъ, подъ переваломъ, конь всплываетъ... присталь ты?..

Забота была въ голосѣ говорившаго.

— Ничего, не усталъ,—успокоилъ его о. Макарій.—Темно стало. Тебя зовутъ Педеръ, кажется?..

— Да, Педеръ,—откликнулся голосъ изъ мглы.—Наши уже далеко: они не вѣрятъ, что ты вылѣчишь нашихъ, абызъ, а я вѣрю... И какая хорошая твоя вѣра: ѣдешь куда, самъ

¹⁾ Когда вѣтеръ дуетъ снизу,
Какъ не колыхаться вершинамъ камыша?
Если подумаю о родныхъ моихъ,
Изъ худыхъ (продырявленныхъ) глазъ слеза идетъ.

не знаешь ты, только бы помочь: у насъ такъ не дѣлають... не дай-ка я каму коня, онъ не поѣдетъ ко мнѣ и не станетъ молить бога за меня, а лѣчить—какже!.. у твоего Бога добрые камы, абызъ.

— Нашъ Богъ—Богъ страдающихъ и печальныхъ: Онъ приходилъ на землю, лѣчилъ болѣзни наши и училъ добру. Онъ научилъ насъ любить людей и помогать имъ, а наградою намъ будетъ другая жизнь тамъ, гдѣ тенгереде сіяетъ звѣздами... Вонъ и мѣсяцъ!.. Теперь станетъ свѣтло. Кричатъ. Это тебя зовутъ, Педеръ...

— Что это, точно птица бѣлая бьется тамъ?.. А, это потокъ: вотъ какая мятежная вода!..

— Держи короче поводъ, Стефанъ: круто... не поскользнулась бы лошадь.

Но алтайскія лошади знали осторожность и тихо ступали, зорко глядя передъ собою.

Луна поднималась изъ-за горъ, и первые блѣдные лучи освѣтили путникамъ и волны горной рѣки и темную опушку бора, подступавшаго къ ней. Скоро заплескалась вода, ближе... совсѣмъ ближе... потянуло сыростью, и кони вступили въ воду, обдавшую брызгами усталыя лица путниковъ.

Свѣтлая заря свѣтлаго дня наступала, поглощая тьму. Трудная бессонная ночь была пройдена. Два старшіе спутника-алтайца заѣхали во встрѣчной аилъ на отдыхъ, а истомленные путники съ Педеромъ всю ночь проѣхали до аила: о. Макарій самъ захотѣлъ этого — больные не ждали, а они были здоровы и поѣтому должны торопиться; а теперь, слава Творцу за все: Онъ помогъ—путь уже пройденъ.

— Вонъ, близко!—сказалъ Педеръ,—тамъ, гдѣ плывутъ, сливаясь, розовые отъ зари туманы.

— Ночь прошла. Господи, помоги разсѣять свѣтомъ Твоимъ мракъ молодой души Педера! пошли умѣнья и силъ, чтобы исцѣлить недугъ матери алтайскаго юноши и приобрѣсть его сердце!

И вдругъ забота о молодомъ спутникѣ охватила о. Макарія.

— Ахъ, неразумный я... Сынъ мой милый, какъ же ты? въ аилѣ горячка, видимо, а ты усталъ и ослабѣлъ: раскинь-ка палатку тутъ, на горѣ, а мы одни спустимся внизъ; раскинь шатеръ нашъ убогій: я приду къ тебѣ сюда; напейся чаю,

лягъ и спи... спи, пока не возстановятся силы: тогда и на дѣло ко мнѣ, если увижу, можно это. Что?.. Нѣтъ?.. Стефанъ, ты забылъ, что послушаніе паче поста и молитвы!

И уѣхалъ впередъ въ низину, гдѣ просыпался зараженный горячкой аилъ, вершить свое святое и трудное дѣло.

Яркое солнце было высоко; давно ушла мгла, только въ юртѣ Педера царила она: тамъ у ложа старой женщины, охраняя ея покой, сидѣлъ старецъ-миссіонеръ: онъ давно далъ ей лѣкарство и теперь клалъ компрессы на ея горѣвшій лобъ. Надо было отходить ее, и онъ вѣрилъ, что отходить: эта жизнь была дорога ему. Она являлась залогомъ спасенія человѣческой души, а ради этого спасенія онъ готовъ былъ перенести все!

И въ своемъ глубокомъ смиреніи старецъ теперь со слившимися отъ утомленія глазами думалъ о тѣхъ, кто заботилъ его, о своемъ любимомъ Стефанѣ, о горѣ, о дѣвочкѣ Косьту, дочери кама, и старцѣ Петрѣ, о многихъ тамъ, въ Улалѣ, больныхъ и страждущихъ, о всѣхъ, кромѣ себя, не сознавая своего подвига, незамѣтнаго подвига жизни, отданной людямъ далекаго отъ людей Алтая, прекрасной дикой страны, въ которую онъ первый принесъ слово Христово.

— Господи, сколько страданій!—шептали его губы.— Пошли сюда, въ эти милыя горы, Отецъ мой Небесный, сильныхъ духомъ и тѣломъ людей на помощь имъ, страдающимъ, темнымъ, не знающимъ Тебя, Возлюбленный мой, потому что они тоже Твои заблудшія дѣти!





Гдѣ великановъ-горъ вершины, при лунѣ,
Застывшія стоятъ и дремлютъ въ тишинѣ.



Миньона Сѣвера.

(Подражаніе Гёте).

Ты знаешь ли тотъ край, гдѣ коротка
весна,
Гдѣ горъ стоятъ высокія громады,
Гдѣ съ шумомъ, какъ стрѣла, несутся
водопады,
Гдѣ темный лѣсъ шумитъ, и гладь
озеръ свѣтла?



Ты знаешь ли, мой другъ, ты знаешь ли тотъ край,
Который я люблю?..

Его зовуть „Алтай“.

* * *

Ты знаешь ли тотъ край, гдѣ звѣзды блещутъ ясно,
Гдѣ ночь морозная особенно прекрасна,
Гдѣ великановъ-горъ вершины, при лунѣ,
Застывшія стоятъ и дремлютъ въ тишинѣ?
Ты знаешь, дорогой, ты знаешь ли тотъ край,
Покинутый, родной?..

Его зовуть „Алтай“.

* * *

Ты знаешь ли тотъ край, гдѣ то стоитъ село,
Въ которомъ я жила?—Мнѣ все тамъ было мило:
И храмъ, и старый домъ, и садикъ, и русло
Родной рѣки, и та, съ простымъ крестомъ, могила...
Ты знаешь ли, отецъ, ты знаешь ли тотъ край,
Куда я рвусь въ тоскѣ?..

Его зовуть „Алтай“.



... Гдѣ съ шумомъ, какъ стрѣла, несутся водопады.





Владиміръ, архіепископъ Казанскій и Свяж-
скій, бывшій Начальн. Алт. миссіи.

Въ былые годы.

(Памяти Архіепископа Владиміра, почившаго въ Казани).

I.

Въ миссіи его звали орломъ.

И, дѣйствительно, было что-то орлиное въ его взглядѣ: большіе, умные глаза смотрѣли смѣло и бодро на Божій міръ, въ нихъ свѣтилось что-то проникновенное и бодрящее, ихъ взглядъ умѣлъ пробуждать энергію въ человѣкѣ, и не мудрено, что миссіонеры шли за нимъ по его слову на всякое трудное дѣло, охотно и съ любовью подчиняясь ему.

Быстрый въ движеніяхъ, съ ясною рѣчью, добрый, чуткій и отзывчивый, онъ являлся образцомъ для молодыхъ и старыхъ, и алтайская паства полюбила этого Улу-абыза, какъ отца.

Конечно, онъ зналъ каждого миссіонера: всѣ они ему были близки, и всѣхъ онъ любилъ привязчивымъ сердцемъ, мягкимъ и чуткимъ, какъ сердце ребенка, такъ же, какъ онъ

любилъ и свою дикую паству, только къ этой любви примѣшивалась печаль объ ихъ слабостяхъ и забота объ ихъ душахъ. Въ его сердцѣ жила еще одна любовь, прочная, крѣпкая и сильная—любовь къ краю, въ который пришелъ онъ съ горячимъ желаніемъ отдать свои силы на служеніе ему, и этотъ край стоилъ его любви, полный суровой красоты и величія, съ уходящими въ небо горами и горными цѣпями, съ тихими долинами, гдѣ только говоръ рѣкъ и водопадовъ нарушалъ тишину, съ синими глазами озеръ и вѣчной зеленью хвойныхъ лѣсовъ, поднимавшихся до снѣжныхъ поясовъ, съ лентами водопадовъ на кручахъ, гомономъ птицъ въ лѣтніе дни и дикимъ завываніемъ падеръ въ зимнія непогоды.

Лѣтомъ онъ, не сходя съ коня, ѣздилъ отъ стана къ стану, самъ надзираая за всѣмъ и горя желаніемъ нести Божіи слова шире и далѣе, и часто жаловался своимъ діаконамъ на время; ему казалось, что оно летитъ неудержимо быстро, что онъ мало вершитъ дѣла на славу Божію и на благо Алтая и спѣшилъ, вставая ранѣе всѣхъ и ложась позднѣе всѣхъ, воздѣлывать ниву Божію, раскиданную по разнымъ угламъ огромнаго края.

Миссіонеры у него тоже были хорошіе: всѣ они желали и умѣли работать, только одному—ученику основателя миссіи о. Стефану Ландышеву мѣшали вершить Божіе дѣло уже угасшія силы, всѣ принесенныя на алтарь труда, а остальные работали, не покладая рукъ: и о. Василій Вербицкій, ученый священникъ, кромѣ труда по миссіи несшій трудъ бытописателя Алтая, и пламенный, совсѣмъ еще молодой, игуменъ Макарій, прошедшій всѣ стадіи тяжелыхъ послушаній, и тихій, задумчивый, ревностный къ дѣлу іеромонахъ Иннокентій, іеромонахи Антоній и Дометіанъ, и цѣлая семья священниковъ, изъ которыхъ зоркое око начальника миссіи особенно примѣтило способнаго и умнаго Филарета Синьковского и тихаго серьезнаго труженика о. Константина Соколова, зятя старѣйшаго сотрудника миссіи, перваго инородца-священника о. Михаила Чевалкова.

II.

Былъ ясный, лѣтній день, чудный день послѣ грозы, пролетѣвшей надъ Алтаемъ, и въ чистомъ воздухѣ чувствовался ароматъ хвои особенно сильный. Хотѣлось вдыхать его полною грудью, что и сдѣлалъ раннимъ утромъ архимандритъ Вла-

диміръ, вышедшій на крыльцо миссіонерскаго домика въ станѣ Катандинскомъ, у подошвы высокихъ горъ.

— Хорошій день!—сказалъ онъ молодому діакону Ландышеву, подававшему ему воду для умыванья въ желѣзномъ ковшѣ.—Ахъ, кабы намъ эти двѣсти верстъ до Онгудая перелетѣть въ сутки, во время бы успѣли!.. Вѣдь есть же, навѣрное, дорога ближняя. Смотри-ка, діаконъ, а вѣдь о. Константинъ насъ сегодня опередилъ: успѣлъ уже и требу совершить!—указалъ онъ, быстро отирая лицо полотенцемъ, на подѣзжавшаго молодого священника, котораго сопровождалъ пожилой инородецъ въ своей странной шапкѣ и шубѣ, снятой съ одного плеча, изъ подъ которой выставлялась синяя дабовая, никогда не мытая рубашка.

— Откуда?—спросилъ архимандритъ своимъ звучнымъ голосомъ, поворачивая умное, красивое лицо къ подѣзжавшимъ.

Священникъ быстро спѣшился и, подойдя къ крыльцу быстрой, молодой походкой, сказалъ:

— Изъ аила. Ночью онъ меня увезъ къ больному: оспа у нихъ сильная.

— Вотъ что,—быстро спросилъ по алтайски архимандритъ, обращаясь къ инородцу,—ты съ горъ?

— Да, да, оттуда.

— И, видать, не молодой... Чай, знаешь Алтай хорошо: охотникъ, поди?..

— Какже, какже—охотникъ: умѣю бить бука, тропы знаю, на аю (медвѣдя) кожу!—хвастливо заговорилъ спѣшившійся инородецъ, кланаясь Улу-абызу.

— Видать тебя, что бывалый!—съ неувимой улыбкой въ глазахъ сказалъ архимандритъ.

— Вотъ, діаконъ, и ты, о. Константинъ, собирайтесь-ка, а я вмѣсто чаю разспрошу его о дорогѣ,—бросилъ онъ своимъ и обратился опять къ инородцу.

— Видишь, голубчикъ, надо намъ въ Катанду, а дороги не знаемъ прямой... шибко надо. Нѣтъ-ли какой нибудь тропы, чтобы путь укоротить можно было? Я, вотъ, тутъ умываюсь да говорю, а у самого сердце рвется скорѣе этотъ путь перелетѣть... ужъ больно времени мало намъ на него осталось.

По лицу инородца разлилась улыбка, и онъ заговорилъ быстро, бросивъ обычную медлительность и вынувъ трубку изо рта.

— Есть така дорога... прямо есть, абызъ: только верстъ 70 будить всего вмѣсто сотъ двухъ: черезъ горы прямо ѣхать нада... Ну, дорога: стѣна сбоку, стѣна снизу, а тамъ—рѣка глубоко, тутъ—гора высока, а тропа узенька, узенька... упадешь—башку сломишь, не упадешь—сламно будетъ!—коверкая русскія слова, которыя онъ вставлялъ для ясности въ алтайскую рѣчь, трактовалъ инородецъ.

— Я три раза былъ тамъ...—съ вьюкомъ разъ. Сердце охъ-охъ тукало!.. Ничего—проѣкалъ, а Тамыръ упалъ: дождь былъ, скользко—конь остуился... эзень-болзынъ (прощай) Тамыръ.

— Ну, „эзень-болзынъ“—это плохо!—опять усмѣхнулся архимандритъ,—жалко будетъ, если кому-нибудь эзень-болзынъ сказать прійдется... Ну, да Господь поможетъ... Поѣдешь съ нами—поведешь насъ?..

— Старый я,—нерѣшительно сказалъ инородецъ,—молодой былъ—не боялся, а теперь жутко... Въ прошломъ году Тегенекъ тамъ шею сломалъ, въ третьемъ—Тибанъ и Канташъ убились.

— Ну, тебѣ не пристало—старому тарбальдину (беркуту) бояться,—съ упрекомъ сказалъ архимандритъ.—Господь сохранить, нашъ Великій Господь, Котораго милость съ тобою будетъ... Ты долженъ потрудиться для него, Павелъ... Тебя, вѣдь, Павломъ зовутъ? Помню три года назадъ крестили... Такъ, вѣдь?..

— Такъ, такъ, абызъ, такъ, такъ... Я съ тобою не разъ ѣздилъ въ Тюдралу, помнишь?..

— Ну, вотъ, видишь, голубчикъ, и сегодня ты насъ проведи. Въ восемь выѣздъ назначенъ... покорми коня и—въ путь... чего же бояться? Дѣло Божіе! Христосъ ангеламъ своимъ заповѣдаетъ, и на рукахъ возьмутъ насъ, да никогда преткнемъ о камень ногу свою. У меня спутники смѣлые; діаконъ, толмачъ, о. Антоній и о. Константинъ.

— Ты что—за мною?.. Легокъ на поминѣ,—обернулся онъ къ вышедшему на крыльцо священнику,—про васъ говорю ему.

— Имъ и пропасти, и тропы знакомы, Павелъ, чадо наше новокрещенное... Согласенъ?..

— Ну, ужъ, ладна,—неувѣренно протянулъ Павелъ,—

только व्यюки маленькіе пусть сдѣлають... узко... да крѣпче осѣдлать надо лошадей... охъ, плохая дорога!

— Ладно, ладно,—уже изъ комнаты крикнулъ ему архимандритъ,—чай пей сейчасъ, да погоди,—пошлю сахара и сахарей тебѣ... о пути не думай...

И повеселѣвшій съ улыбкой вошелъ въ комнаты.

— Ну, вотъ,—обратился онъ къ спутникамъ,—и тропу нашелъ, прямую тропу, други мои... Чай вамъ тропы не страшны?!. Подумайте, экономіи будетъ на ней 130 верстъ, а ждуть тамъ какъ насъ!.. Право, у меня на душѣ праздникъ...

— Спасибо тебѣ, о. Константинъ, что ты мнѣ Павла добылъ.

Миссіонеры—молодой о. Константинъ и іеромонахъ Антоній, конечно, не заговорили объ опасности, а у веселаго діакона разгорѣлись глаза: онъ любилъ опасности, любилъ алтайскія тропы и трущобы: недаромъ онъ родился тутъ и выросъ, и недаромъ его начальникъ шутливо называлъ его „природнымъ“ миссіонеромъ.

О. Константину были знакомы горныя тропы по карнизамъ бомовъ, и его сердцу на минуту стало тревожно: вспомнились дѣтскія головки, мелькнуло въ глазахъ лицо жены, но, онъ отогналъ мысль объ опасности, помогая совершаться быстрымъ сборамъ.

III.

Дорога была особенно красива. Поднимаясь въ высоту незамѣтно по руслу рѣки, она уходила въ вѣчно зеленую трущобу изъ-подъ сводовъ лѣса на скалистые уступы, съ которыхъ открывался восхитительный видъ на вспѣненную, еще полную послѣ дождей, рѣку въ долинѣ, гдѣ гомонили птицы, и ласковое солнце заливало купы чернолѣсья, подобравшіяся къ водѣ. Эти долины чередовались одна за другою и уходили глубже внизъ по мѣрѣ постепеннаго подъема. Сосны тоже стали уходить внизъ изъ объекта зрѣнія путниковъ: ихъ замѣнили кедры, глубоко запускавшія среди скалистыхъ породъ мощные корни, пошла пихта, а потомъ только аржанъ или верескъ стлался по камнямъ на пути сравнительно небольшой кавалькады.

Павелъ на крѣпкомъ сѣромъ иноходчикѣ ѣхалъ впереди, за нимъ діаконъ, два проводника съ выючной лошадей, о. архимандритъ и іеромонахъ Антоній, его братъ, спокойный и серьезный человекъ, привыкшій къ Алтаю и его опаснымъ дорогамъ, и, наконецъ, о. Константинъ, за которымъ ѣхалъ еще одинъ изъ сотрудниковъ миссіи.

Къ полдню забрались высоко.

Зеленый Алтай остался подъ ногами: тутъ было царство скалъ и вереска, да еще травы, высокой и крѣпкой, цѣплявшейся за каждую горсть земли среди камней.

Видъ отсюда открывался обширный: стройными силуэтами рисовались на синемъ небѣ горныя гривы; точно волны зеленого моря, изгибами тянулись по нимъ лѣса, сверкали ленты рѣкъ и вѣчные снѣга бѣлковъ искрились и лучились на солнцѣ.

Дорога была неудобна, трудна, но опасностей особенныхъ не было, и лошади шли ходко, преодолевая разстояніе.

Архимандритъ шутилъ, равняясь съ которымъ-нибудь изъ путниковъ, когда горная площадка позволяла дѣлать это.

— Великолѣпная дорога. Отмахнемъ въ жару, а ночью будемъ на мѣстѣ. Отдохнуть бы нужно дать сейчасъ конямъ, да пророчить Павелъ, что опасныя мѣста надо пройти до сумерекъ... Кони крѣпкіе, выдержатъ...

И оглядывалъ всѣхъ веселымъ взглядомъ.

О. Антоній ѣхалъ безъ разговоровъ, по обычаю углубившись въ созерцаніе дикой красоты, созданной Творцомъ, а отецъ Константинъ былъ задумчивъ, тоже пристально вглядываясь впередъ, гдѣ изъ-за поворота надвигалось на нихъ ущелье узкой долины.

Лошади начали забираться все выше и выше.

Архимандритъ на послѣднемъ широкомъ откосѣ сказалъ о. Константину:

— Ты что-то мыслишь, отче?..

— Мыслию о многомъ, отецъ архимандритъ!—отвѣтилъ о. Константинъ.

— Небось, страхи себѣ представляешь, на утесы глядя?—указалъ архимандритъ впередъ.

— Страха нѣтъ,—просто отвѣтилъ миссіонеръ, а только, отецъ мой, хорошо миссіонеру-монаху передъ опасностью: ему

не вспомнятся маленькія ручки дѣтей, которыя къ нему тянутся, и умоляющіе глаза жены-подруги.

— Ты правъ,—кивнуль головою архимандритъ,—тебѣ тоже испытывать опасности приходилось, но Господь—наша помощь... не думай о семьѣ, а мысли о дѣлѣ... Смотри, какъ путь укоротили и на красоту Божию любуйся... Что это тамъ въ низинѣ, среди лѣса трепещется бѣлое?... Господи!.. вотъ—слѣпой—водопада не разглядѣлъ... Словно птица мечется...

— Гляди-ка, діаконъ...

— Эй—эй!—кричалъ Павелъ, уже обогнувшій изгибъ горы,—осторожно нада—тропа подъ солнцемъ не обсохла... Тише... одна за одной... одна за одной...

Всѣ невольно улыгнулись этой оригинальной командѣ и потянулись другъ за другомъ въ прежнемъ порядкѣ, вступая на каменистую тропу.

Изъ низины потянуло сыростью. Солнце изъ-за высокаго горнаго массива, точно срубленнаго въ половинѣ къ низу, освѣщало только часть глубокой долины и противоположныя горы, оставляя въ тѣни и потокъ, чуть слышно гремѣвшій внизу, и тропу, съ которой вѣяло прохладой.

Лошади какъ-то подтянулись и мѣрно гулко застучали копытами по камнямъ.

Заднимъ иногда было видно переднихъ, и невольно кружилась голова при взглядѣ на эти фигуры, лѣпившіяся у холодной каменной громадной стѣны, которой, казалось, не будетъ конца.

Путешествіе тянулось благополучно.

— Вонъ,—говорилъ Павелъ діакону Ландышеву,—маленько—и ладна будетъ—шире и къ спуску пойдетъ... Ишь, шире стаеъ кое-гдѣ... Худое мѣсто это.

— Чего худого?—съ нѣкоторой долей разочарованія сказалъ тотъ,—жутко глядѣтъ внизъ и только.

Но онъ словно напророчилъ.

Въ концѣ каравана кто-то вскрикнулъ. Послышался глухой стукъ, и что-то большое сорвалось съ тропы, сметая вывѣтрившіеся камни за собою.

Проводникъ издалъ короткій характерный крикъ:

— Калакъ! (тошно).

И блѣдный діаконъ, забывъ объ опасности, поднялся на

стременахъ, широко открытыми, полными испуга глазами глядя туда, въ низину, гдѣ шелкали камни, и хрустѣла поросль подъ чѣмъ-то большимъ и тяжелымъ.

— О. Константинъ!—слетѣло съ губъ архимандрита, моментально оглянувшася назадъ.

Онъ остановилъ лошадь и свернулся съ нея къ стѣнѣ съ мертвенно блѣднымъ лицомъ, даже глаза закрылъ на минуту, чтобы открыть ихъ для ужаса.

Испуганный проводникъ шарашился на тропѣ около вьючной лошади. Сзади него виднѣлось тоже испуганное лицо со-трудника миссіи, а о. Константина и его большую сивую лошадь точно смело съ тропы.

Какое-то изнеможеніе охватило сердце архимандрита. Онъ опять закрылъ глаза на мигъ, и изъ этой мгновенной тьмы къ нему потянулись крохотныя дѣтскія ручки малютокъ отца Константина.

— Впередъ!—командовалъ Павелъ,—очищай дорогу...тамъ свободнѣе... Эй-эй, убился онъ.

Діаконъ тоже спѣшилъ.

И всѣ они съ ужасомъ глядѣли внизъ... Вдругъ разомъ облегченно вздохнули.

— Веревку!.. чумбуръ!—послышался взволнованный голосъ архимандрита,—скорѣе...

— Подержися, о. Константинъ... вотъ, теперь берись: держимъ крѣпко.

И благодарнымъ взглядомъ на мигъ взглянулъ на небо, склонившись опять надъ пропастью, въ которой, держась за кустовидную траву, висѣлъ о. Константинъ, блѣдный, но спокойный тѣмъ страннымъ спокойствіемъ, которое охватываетъ человѣка въ минуту гибели.

И за чумбуръ онъ взялся, не торопясь, осторожно и такъ же неторопливо хватался за камни, помогая себѣ, только на минуту отдавшись слабости, когда его вытянули на тропу; эта слабость заставила его закрыть глаза и голову упасть на грудь, но опять это только было на минуту.

— Слава Богу... сохранило... Какъ это случилось?—спрашивалъ все еще блѣдный архимандритъ.—Ну, о. Константинъ, хороша пословица: „смѣлымъ Богъ владѣетъ“, но видно Писа-

нію лучше слѣдовать и хранить, не искушая Господа, жизни ваши... Лошадь, видно, твоя поскользнулась?..

— Поѣдемте, отецъ мой, за полдень ужъ... пойду я пѣшкомъ: минуемъ мѣсто это...—попросилъ о. Константинъ,—я расскажу тамъ... Лошадь, вотъ, бѣдная разбилась, и не видать ее въ глубинѣ.

Они скоро прошли конецъ тропы, и архимандритъ свободно вздохнулъ на широкомъ поворотѣ.

Тутъ, немного ниже, расположились отдыхать.

О. Павелъ и одинъ изъ проводниковъ вызвались спуститься козьею тропой къ водѣ и снять съ лошади сѣдло. Діаконъ порывался идти съ ними, но его остановили.

О. Константинъ былъ немного блѣденъ и жалѣлъ лошадь, невольно закрывая глаза.

— Самъ себѣ отчета отдать не могу, какъ это случилось,—говорилъ онъ,—у вьючной что-то порвалось—ремень какой-то, задержалъ ее проводникъ... словомъ, безъ предупрежденія, неожиданно остановился, ну, а моя слѣдомъ за лошадьми шла, невольно попятилась и скользнула нога... тропа не просохла—скользящая... Мигъ—былъ—не помню, какъ я изъ стремянъ ноги выпустилъ... крѣпкія кованныя стремяна и гладкія: нога свободно въ нихъ была; видно Господь по слову Вашему, о. архимандритъ, ангеловъ послалъ охранять насъ... Видите—не погибъ: кустъ—трава крѣпкая въ руки скользнула—не помню какъ... живъ помощью Божіей, вотъ, лошадь бѣдная... Боюсь я опять за тѣхъ, что пошли: не сорвались бы—скалы сырыя, скользкія.

— Не бойся: пѣшему охотнику въ скалахъ не страшно, да и много ниже тутъ,—успокоилъ его архимандритъ,—вѣдь время-то съ полчаса прошло послѣ случая... Вонъ онъ высоко стѣны горныя, а тутъ просторнѣе—долина... солнце уже къ вечеру, а, смотри, все почти свѣтомъ полно. Кони наши сами шагу прибавили на спускѣ... Ну, а я этой тропы болѣе посмотрѣть не желаю: слишкомъ большую жертву за ее чуть не пришлось отдать... Не ушибся ты, ничего?.. Ну, слава, Богу, будешь помнить путь нашъ короткій.

— Гдѣ у насъ діаконъ, о. игумень?

Помогавшій разводить костеръ о. игумень быстро оглядѣлся и невольно улыбнулся:

— Ушелъ по тропамъ: недаромъ онъ въ Алтаѣ родился... Не бойтесь, о. архимандритъ, тутъ уже, говорятъ, не опасно.

— Ахъ, послушникъ... ахъ, вольница!..—ворчалъ архимандритъ.

Но его глаза привлекла картина, открывшаяся отсюда.

Теперь рѣка поворачивала къ западу, и солнце, уходившее туда-же, золотило ея волны, покрытыя бѣликами у камней.

Живописныя и причудливыя поднимались надъ нею горы, тянуло свѣжестью. Особенно ясны были контуры горъ на эмалистой синевѣ неба и чистые абрисы съ вѣчными снѣгами уже недалекихъ вершинъ.

Такимъ величавымъ міромъ вѣяло тутъ.

Глаза архимандрита стали особенно мягкими и добрыми: діакону не грозилъ уже выговоръ: его спасла красота алтайской глуши.

А тамъ выше, въ тѣснинѣ, подъ навѣсомъ огромнаго многосаженнаго бома два инородца снимали съ мертвой бѣлой лошади сѣдло, переговариваясь между собою:

— Ишь, спина переломана... Ой, ладно абызъ успѣлъ траву схватить, ладно... голову бы расшибъ, кости расшибъ и въ рѣку—вонъ она какая!

Молодой діаконъ, пробравшійся къ нимъ, большими голубыми глазами, полными думы, глядѣлъ то на мрачный утесъ съ карнизомъ на высотѣ, гдѣ часъ назадъ лѣпились они безъ страха, какъ горныя козы, то на метавшуюся между камней рѣку, надъ которой на острой скалѣ лежалъ трупъ лошади, скользнувшей сюда съ кручи. Его сердце охватила невольная жуть при мысли о томъ, кто могъ бы лежать тутъ, если бы не совершилось чудо. И къ нему, глядясь въ его мысленныя очи, потянулись крохотныя ручки, и зазвучали умоляющіе голоса, но онъ только печально улыбнулся.

— „Имъ ли—миссіонерамъ—съ ихъ орломъ можно было думать объ опасностяхъ? Вѣдь, для нихъ они и пошли сюда всѣ—и самъ онъ—архимандритъ, и они—о. Макарій, о. Константинъ, всѣ, всѣ, потому что слишкомъ много было дѣла, высокаго и великаго дѣла; для спасенія тысячъ, что значили ихъ жизни? вѣдь, не даромъ же они всѣ были призваны на служеніе этимъ прекраснымъ горамъ и тихимъ людямъ!“

— Эй!—бодро сказалъ онъ,—скорѣе кончайте и до становища: о. архимандритъ живо снимется, какъ только вздохнуть лошади.

— Постой, не торопись, молодой абызъ... Ёхать сгоряча могъ, а теперь ему отдыхъ надо!—сказалъ степенно Павелъ.

— Вонъ чего задумалъ, да онъ насъ на конѣ ждетъ. Живо надо торопиться: мы не женщины, чтобы хворать отъ того, что смерть въ глаза заглянетъ... Онъ не такой.

И пошелъ быстро по тропѣ туда къ каравану, а за нимъ торопливо потянулись инородцы съ сѣдломъ.

— Ну, вотъ, и пути конецъ. Въ сіяніи звѣздъ передъ зарею дѣло начатое поутру совершаемъ, слава Богу!—сказалъ архимандритъ, когда передъ ними въ покоѣ ночи показалось селеніе Онгудай.

— Ты перенесъ только много, о. Константинъ... Да, Господь тебѣ это въ книгу подвиговъ твоихъ, незамѣтныхъ для людей, впишетъ.

— Тогда онъ впишетъ туда, отецъ мой, и вашъ страхъ за меня!—тихо сказалъ священникъ,—и заботу всѣхъ: она выше моей невольной оплошности.

— Ну, и аминь: пусть будетъ по твоему!—мягко сказалъ архимандритъ,—мнѣ хорошо думать, что вы, такіе труженники добрые,—силы мои иныя... Слава Богу: миссія не угаснетъ съ вами!

И онъ былъ правъ, этотъ смѣлый проповѣдникъ Божьяго слова, потому что ихъ было много такихъ, какъ онъ, не знавшихъ страха, любившихъ всею душой свое дѣло, свою паству и свой прекрасный дикій край, которому несли и отдавали они свои молодые силы.





Епископъ Владиміръ.

Въ мертвомъ аилѣ.

(Памяти архіепископа Владиміра Казанскаго).

Больше сея любви никтоже имать, да
кто душу свою положить за други своя (Ев.
отъ Іоанна, гл. 15, стихъ 13).

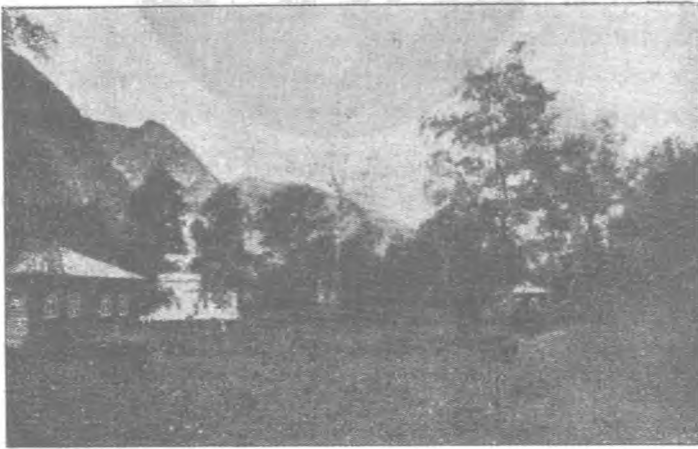
У подошвы замыкавшихъ долину горъ серебристою поло-
сою начиналось озеро, звѣзды въ высотѣ темносиняго неба
казались больше и прекраснѣй, а быстрый Чолушманъ, слов-
но радуясь тишинѣ и покою, съ тихимъ шумомъ несъ въ Те-
лецкое озеро свои бурныя волны.

Около большой юрты, построенной изъ бересты и кольевъ,
сидѣло нѣсколько человѣкъ; они разговаривали... Среди гор-
таннаго говора инородцевъ порою слышалась русская рѣчь,
и ясно раздавался среди тишины звучный голосъ, то говорив-
шій по-русски, то произносившій слова на алтайскомъ языкѣ;
что-то убѣдительное было въ раздѣльно и ясно произносимыхъ
словахъ, такъ что внимательно слушавшіе алтайцы даже вы-
нули трубки изо-рта и жадно слѣдили за рассказомъ.

Луна поднималась все выше и выше, залила долину цѣ-

лымъ моремъ серебристыхъ лучей, легла мягкими тонами на траву, деревья и кустарники и ясно выдѣлила изъ темноты фигуру говорившаго человѣка. Это былъ монахъ, съ лицомъ уже не первой молодости; волосы на его головѣ, волнистые и не особенно длинные, обрамляли бѣлый высокій лобъ, а глаза—большіе, каріе, взглядывали ласково и участливо поверхъ очковъ на слушавшихъ его дикарей.

— Вотъ ты говоришь, бачка, что Богъ добрый... все видитъ... всѣмъ помогаетъ!—началь одинъ инородецъ послѣ минутнаго молчанія, наступившаго за окончаніемъ рѣчи миссіонера,—а, вотъ, въ аилѣ, у дальнихъ сопокъ, люди съ голода



Видъ на Чолушманскій монастырь.

мрутъ: скотъ пропалъ, крутъ, пыштакъ—нѣту... чегень тоже... курмачу купить—денегъ нѣтъ... толканъ—вышелъ... а Богъ не видитъ, не поможетъ!..

— Гдѣ это, ты говоришь?

И взволнованный миссіонеръ быстро поднялся.

— Вотъ неразумные!.. да что-же вы мнѣ давно не говорите?!.

— Ну, о. діаконъ, собирайся скорѣе!—обратился онъ къ блондину съ веселымъ молодымъ лицомъ.—Буди толмачей... Гдѣ-то они?.. Распорядись, чтобы лошадей сѣдлали и скорѣй туда!.. Съѣстное—что есть—съ нами заберемъ!..

— Далеко это?—опять обратился онъ къ инородцу.—Ты собирайся, неразумный!.. вотъ видишь—Богъ-то тебѣ и вну-

шилъ сказать, что они тамъ голодаютъ, а ты молчалъ... значитъ, ты и вина тому, что помощь къ нимъ не шла во время... Ну, а скажи мнѣ—почему вы сами-то не увезли имъ ничего съѣстнаго?

— Боялись, бачка! Я нечаянно къ нимъ попалъ... У нихъ люди помирали... боялись, что и къ намъ хворь пристанетъ!..

Миссіонеръ махнулъ рукой; онъ быстро прошелъ за юрту, гдѣ въ рощицѣ слышались голоса и ржанье лошадей, и, въ ожиданіи окончанія сборовъ, присѣлъ на широкій камень и грустно задумался надъ тѣмъ, о чемъ онъ только что услышалъ... Думалъ о тѣхъ, обреченныхъ на смерть, оставленныхъ всѣми; думалъ о томъ, какіе жестокіе люди—эти дикари, въ средѣ которыхъ онъ прожилъ лучшіе годы своей жизни. И тутъ-же оправдывалъ ихъ, этихъ дикихъ дѣтей природы, къ которымъ привыкъ, которыхъ любилъ своимъ одинокимъ сердцемъ. Цивилизованные люди, пожалуй, еще болѣе бездушно относятся къ чужому горю, чѣмъ эти бѣдняки. Мало по малу онъ забылся, подавивъ въ себѣ овладѣвшія имъ мысли, какъ онъ всегда дѣлалъ въ случаяхъ, когда понималъ, что нужно дать покой усталому тѣлу, и уснулъ тутъ-же, на камнѣ, прислонившись спиною къ дереву и склонивъ начинающую сѣдѣть голову на грудь...

Луна, осыпавшая землю щедрыми лучами, какъ будто желая дать ему покой, не пробивалась сквозь густую листву дерева, прикрывшаго его лицо своими вѣтвями; однообразный шумъ водопадовъ заглушалъ шумъ въ рощицѣ... Онъ спалъ, какъ дитя, и его лицо дышало тихимъ покоемъ.

Діаконъ, искавшій его около юрты, наконецъ, нашелъ его здѣсь, хотѣлъ разбудить, но раздумалъ: ему стало жалко будить его, да и самого усталость морила и, сходявъ въ рощицу, онъ сдѣлалъ тамъ какое-то распоряженіе; потомъ вернулся къ спящему съ волосяной веревкой отъ сѣдла, окружилъ этой веревкой камень, на которомъ спалъ миссіонеръ, обезопасивъ мѣсто отъ змѣй, боящихся запаха пропитанной конскимъ потомъ веревки, и самъ прикурнулъ тутъ же, на другомъ концѣ камня, положивъ руку подъ голову... Нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ на небо, на горы, слушалъ шумъ водопадовъ; но все это скоро исчезло изъ его слуха, и онъ уснулъ крѣпкимъ, молодымъ, здоровымъ сномъ...

Утро встало чудное, росистое, ясное... Деревья какъ-то привѣтливо трепетали свѣжей листвою... Птицы пѣли; чирикали неумолчно... Стучали дятлы въ глухой, непроходимой тайгѣ... Цвѣты раскрывались, полные росы, а Телецкое озеро, приливая, шумѣло, набѣгая на берегъ и облизывая прибрежныя скалы. Никакой драмы не отражалось въ настроеніи природы...

По едва замѣтной тропинкѣ, поматывая головой и позвякивая удилами, осторожно и ровно ступали маленькія алтайскія лошади одна за другой; молчаливо сидѣли всадники, любясь окружающимъ, и только проводникъ что-то бормоталъ по привычкѣ алтайцевъ, пѣлъ или скорѣе говорилъ о всемъ, что попадалось на глаза, самъ себѣ на своемъ странномъ языкѣ.

Мѣстность становилась еще болѣе дикой; тропинка вилась вдоль бурной и широкой рѣки, несшейся съ камня на камень, и уходила вглубь горъ, постепенно подымаясь; лошади прыгали черезъ старыя деревья, упавшія на нее, скользили по скалистымъ откосамъ, лѣпились на узенькихъ карнизахъ бомовъ.

Всадники задумчиво смотрѣли на эти дикія и величественныя картины, развертывающіяся передъ ихъ взоромъ: рѣдко кто словомъ перебрасывался!

Въ полдень остановились въ холодной котловинѣ, сжатой со всѣхъ сторонъ скалистыми уступами; напились чаю изъ котелка, дали передохнуть лошадямъ, поѣли и опять двинулись... Къ вечеру проводникъ обѣщалъ довести ихъ до цѣли. Миссіонеръ безпокоился и подгонялъ коня; онъ еще утромъ, проснувшись, расспросилъ хорошенько инородца о голодающихъ въ айлѣ, узналъ время, когда тотъ ихъ видѣлъ; оказалось, что съ того времени прошло уже 2 недѣли.

Вотъ и айлъ. Три—четыре юрты бѣлѣлись на небольшой полянкѣ; ни одна собака не залаяла при приближеніи путниковъ. Мертво и тихо было кругомъ, только лѣсъ шумѣлъ листьями, подъ поднявшимся къ вечеру вѣтромъ.

Миссіонеръ, завидѣвъ юрты, сталъ еще нетерпѣливѣе; онъ быстро соскочилъ съ коня и торопливо пошелъ къ нимъ, точно пѣшкомъ онъ скорѣе могъ достигнуть до юртъ. Другіе тоже спѣшили. Входныя отверстія юртъ въ наступающихъ

сумеркахъ казались страшными: „что-то тамъ, за ними?“ Діаконъ опередилъ миссіонера и исчезъ въ одномъ изъ отверстій... вслѣдъ за нимъ и другіе... Нашли двухъ мертвецовъ и одну умирающую женщину; она попросила пить и указала слабой, исхудалой рукой на слѣдующую юрту:

— Тамъ—дитя!

Оставивъ около больной двухъ человѣкъ, они пошли туда; тамъ они нашли умирающаго старика и дѣвочку лѣтъ шести, исхудалую до ужаса, но живую и даже не больную; ея занялись сейчасъ же. Въ третьей-никого не было: люди ушли изъ нея, должно быть... А въ четвертой, въ берестяной люлькѣ, отчаянно, жалобно надрываясь, плакалъ крошечный ребенокъ, а рядомъ на полу лежала мертвая мать; рука ея была приподнята и такъ и застыла, протянутая къ ребенку; грудь открыта; она, и умирая, хотѣла, видимо, подняться и накормить ребенка каплями молока, оставшимися въ ея истощенной груди..

Всѣ стояли взволнованные, подавленные; тяжелое чувство безграничной жалости и печали охватило всѣхъ.

Монахъ-миссіонеръ нагнулся надъ колыбелью; на него глянули свѣтлые глазенки; ребенокъ, обрадовавшись живому лицу, пересталъ плакать, и вдругъ крошечный ротикъ улыбнулся, маленькія ручки протянулись къ нему.

Миссіонеръ взялъ его на руки. Это была дѣвочка-язычница мѣсяцевъ десяти, крупная и здоровая, хотя похудѣвшая и, видимо, страшно голодная; она все понимала и не шла ни къ кому кромѣ полюбившагося ей монаха... Онъ улыбнулся этому капризу и, завернувъ ребенка покрѣпче въ свое дорожное одѣяло, сѣлъ съ нимъ около разведеннаго костра. Толмачъ размочилъ сухарей въ вскипѣвшей водѣ и накормилъ обоихъ дѣтей. Всѣ занялись хлопотами: кто ухаживалъ за больными, кто хоронилъ мертвыхъ... Женщина, покормленная и заботливо уложенная на мягкую подстилку, слабымъ голосомъ рассказывала о томъ, какъ они голодали, какъ всѣ, кто могъ и былъ здоровъ, разбродились въ поискахъ пищи, а онѣ, ослабѣвшія, не смогшія уйти, остались умирать... Сиротки заснули, одна на рукахъ миссіонера, другая, прикорнувъ возлѣ него, на разостланныхъ кочмахъ и чердекахъ.

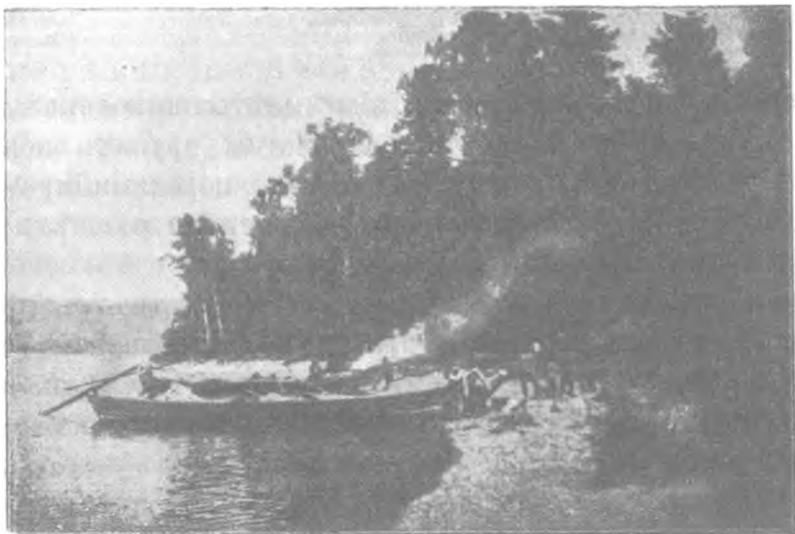
Небо покрылось тучами, и только рѣдкія звѣзды мигали въ просвѣтахъ этихъ тучъ; вѣтеръ колебалъ пламя костровъ,

и люди, ходившіе около нихъ, казались какими-то странными существами при свѣтѣ колеблющагося пламени. Лицо миссіонера было печально; онъ съ нѣжной ласкою смотрѣлъ на лежавшаго на колѣняхъ ребенка, крохотная ручка котораго сжимала палецъ его руки: дѣвочка и во снѣ не отпускала его; чувство горячей нѣжности закралось въ его сердце къ этому осиротѣвшему ребенку; онъ думалъ объ ея судьбѣ, объ ея будущемъ. Иногда взглядъ его добрыхъ глазъ останавливался на другомъ личикѣ, и печальная улыбка пробѣгала по губамъ...

— „Никого не было“—думалъ онъ,—„одинъ былъ, и вотъ—двѣ жизни, двѣ заботы... бѣдныя... бѣдныя!“

И склоняся къ крохотному личику, миссіонеръ тихо поцѣловалъ теплый лобикъ маленькой язычницы...





...Озеро нѣжилось въ тихихъ берегахъ; солнце, проникая въ воду, золотило камешки, казавшіеся прекрасными въ водѣ...



На Телецкомъ озерѣ.

*Памяти Архіепископа Владиміра
(г. Казани).*

Переплетаясь надъ озеромъ, тихо дремала поросль, поднимавшаяся до темныхъ сосенъ и могучихъ кедровъ, широко раскидавшихъ вѣтви надъ скалами.

Озеро нѣжилось въ тихихъ берегахъ; солнце, проникая въ воду, золотило камешки, казавшіеся прекрасными въ водѣ, странные, пористые камешки. А у самой воды зацвѣтали стебли лука; камыши и папоротники переплелись съ крыжовникомъ, опускавшимся къ нимъ съ уступовъ, съ крушиной, ольхой, черемухой и смородиной, которыхъ тѣснили и гнали къ озеру лѣсные владыки—сосны и кедры, заповившіе верха.

Узенькіе листы барбариса и алые цвѣты шиповника зеленѣли и алѣли среди болѣе темной листвы другихъ породъ, а скалы, выступая изъ нихъ, то бѣлѣли породами мрамора, то выставляли зеленые яшмовые выступы, то розовѣли или плитами сѣраго мрамора тянулись къ свѣту.

Земля выставляла на солнце свое богатство, и рѣдкіе путники съ восхищеніемъ смотрѣли на эти дѣвственныя, вѣка стоявшіе нетронутыми, берега. Водопады гулко шумѣли, стремительно падая съ уступовъ, и нѣжныя красавицы козы прекрасными умными глазами глядѣли на озеро изъ-за стволовъ родного лѣса, а горы поднимались одна выше другой; оснѣженныя, точно покрытыя на вершинахъ покровами, онѣ уходили въ небо, и облачка курились на нихъ, какъ дымъ кадильный на жертвенникѣ Создателя міра, въ благодарность за созданную Имъ красоту.

Такъ казалось красивому старику въ одеждѣ священника съ карими умными глазами, глядѣвшими поверхъ очковъ на эту прелесть въ чудное іюльское утро изъ слегка качавшейся по легкой зыби озера большой лодки, въ которой гребло 12 алтайскихъ гребцовъ. Старика окружали два священника, молодой голубоглазый діаконъ, два-три пѣвчихъ, келейникъ, толмачъ и еще одинъ господинъ, видимо не принадлежащій къ духовному міру. У него было доброе умное лицо, и онъ тоже любовался на красоту, открытую передъ ними.

— Да,—продолжая начатый разговоръ, сказалъ священникъ,—вотъ тутъ мы съ тобою, діаконъ, помнишь? едва не нашли конецъ себѣ.

— Вы себѣ представить не можете, голубчикъ,—обратился онъ къ господину,—какъ эта красота въ бурю мѣняется! А мы, миссіонеры, видали это мѣсто зимою въ декабрѣ. Печально оно и страшно. мой другъ.

Онъ даже закрылъ глаза, представивъ себѣ этотъ чудный Божій міръ оснѣженнымъ и мертвымъ.

— Зеленъ вся трауромъ кажется,—послѣ минуты молчанія началъ онъ опять,—а озеро съ заберегами бѣлыми—бездонной полыньей; глубина, вѣдь, страшная тутъ... бездонная глубина!

— Помнишь, дьяконъ?

Дьяконъ кивнулъ головой и ушелъ на носъ, заглядѣвши на дали.

— Жили мы съ нимъ въ Кебезени. Миссіонеръ мѣстный уѣхалъ: боленъ былъ... пути—последніе, и пришлось намъ съ дьякономъ его замѣнить: не отрывать же отъ стада пастыря? живемъ въ глуши тихо: дьяконъ мой тосковалъ тогда: малютку схоронилъ единственнаго, жену къ роднымъ увезъ и весь въ дѣло ушелъ, отъ тоски спасаясь... И въ одинъ день холодный пріѣхалъ къ намъ инородецъ, натерпѣвшійся голоду и холоду, и доложилъ, что посланъ изъ монастыре Чулушманскаго: „отецъ-де игумень умираетъ и причаститься пожелалъ!“

— Какъ, говоримъ, пробрался?

— Да всяко, говоритъ, страшно... на лодочкѣ плылъ и берегомъ четыре дня... И рѣшили мы тоже пробраться: не бросать же было старика, кончавшаго жизнь, безъ послѣдняго утѣшенія? берегомъ да водою, только бы буря нехватила... дьякона я съ собой взять побоялся, но онъ мнѣ въ ноги упалъ: „возьми, о. архимандритъ!“ Ну и взялъ... не сталъ противиться... признаться—радъ былъ спутнику такому... труденъ путь тутъ зимою, но все ничего: подвигаемся... верстъ 40 до ночи проѣхали. Заночевали въ палаткѣ. Но съ ночи еще вѣтеръ подулъ снизу. Я смѣюся: подгонять насъ будетъ! а проводникъ хмурится... угрюмый сталъ. Ъдемъ, значить, у озера—страшное, черное выскакиваетъ на ледъ, бьется... снѣгъ обдаетъ водою... хлестнетъ такая волна изъ пучины и ледъ расколеть силой удара могучаго. Мы дальше ѣхать старались отъ воды... къ полдню снѣгъ пошелъ... глаза слѣпить... вѣтеръ воеетъ ужасный, и точно изъ пушекъ стрѣляютъ: это отъ тяжести волнъ ледъ трещить! Проводникъ съ лошади слѣзъ: дорогу ищетъ къ камнямъ прибрежнымъ... О дальнѣйшемъ пути мы мысль покинули; въ умѣ только и на языкѣ: гдѣ бы бурю переждать. А кругомъ—ревъ, свистъ... ужасъ. Внезапно все это покрылъ ужасный ударъ... Ну, думалось мнѣ, что гибну я, и, крикнувъ заглушенно, я схватился за шею упавшей лошади. А среди хаоса и ужаса и я, и дьяконъ, и проводникъ увидали, что передъ нами поднялась черная стѣна и обдала насъ холодными брызгами, а ледъ заколебался подъ ногами. Проводникъ дико вскрикнулъ: лошадь его

ухнула въ раскрывшуюся бездну и тянула его за собой, а онъ въ паническомъ ужасѣ не могъ распутать повода, врѣзавшагося ему въ руку. Помню, какъ дьяконъ выхватилъ ножъ дорожный и, бросивъ лошадь, подползъ къ самому краю льдины, у которой, обливаемый черной водой, бился проводникъ; нѣсколькими ударами ножа онъ обрубилъ поводъ и освободилъ руку проводника, а лошадь обрушилась въ пучину. Теперь онъ велъ насъ просто по инстинкту, все прямо, повернувъ отъ разверзшейся бездны; и мы то шли ползкомъ, то, поднимаясь, брели среди слѣпившаго глаза снѣга и треска льда, а лошади тащились за нами. Какъ онъ не потерялъ голоса, бѣдный!—кивнулъ архимандритъ на дьякона,—кричитъ: „сюда!.. сюда!..“ а мы за нимъ, какъ овцы за проводникомъ!.. и—вывелъ: изъ тьмы прямо на насъ точно надвинулась огромная скала берега, нависшая вонъ тамъ, смотрите... видите эти щели, голубчикъ, глубокія, промытыя водою? онъ хорошо укрыли насъ отъ непогоды. Тутъ и проводникъ опомнился... набрали хворосту много и грѣлись у костра... помню это пламя, то взвивавшееся къ небу, то почти утихавшее и стлавшееся по льду. Уснуть мы боялися, боялися разбить палатку, голодомъ и холодомъ проведя эту ужасную ночь. А когда мы засыпали, дьяконъ будилъ насъ, зная, что сонъ—наша гибель. Видите, человѣкъ онъ не большой и не сильный, а сила его, голубчикъ, въ сердцѣ смѣломъ была.

— Слышишь, дьяконъ, я говорю о чемъ-то смѣломъ сердцѣ?

Тотъ потупился и заглядѣлся на скалы берега, точно былъ виновенъ въ чемъ, а архимандритъ тихо улыбнулся доброй улыбкой и продолжалъ:

— На утро точно и не было бури: еще ночью унялась она... снѣгъ только валилъ до утра; а утро встало ясное морозное, и чудно было глядѣть, гдѣ вчера бездны были, пучина открытая—все льдомъ затянуло: зима мосты быстро куетъ. Путь свой продолжили мы, но о. Варсонофія въ живыхъ не застали: безъ насъ упокоился онъ... такъ, видно, суждено было отъ Бога. Отдохнули мы въ монастырѣ и назадъ пустились, схоронивъ его. Но часто мнѣ снится эта буря зимняя, и, не повѣрите, другъ мой, иногда просыпаюсь я и кричу: „ахъ, дьяконъ, дьяконъ... погибаетъ!“

— А вы, отецъ дьяконъ, видите сны такіе?—спросилъ спутникъ архимандрита, смотря на молодое, спокойное, симпатичное лицо.

Тотъ поднялъ глаза, выпуклые, ясные, голубые, и они загорѣлись смѣлостью.

— Не подумайте, что лгу,—сказалъ онъ просто,—я люблю такія бури... люблю и не боюсь ни капельки ни обваловъ горныхъ, ни бурь, ни грозъ; вѣдь все это ничто, если нѣтъ воли Божіей на смерть твою; а воля Его есть—не удержишься. Дѣтей какъ бережемъ... жизни, кажется, не жалѣемъ, а они уходятъ. И еще бы перенесъ бурю такую—на дикую природу поглядѣлъ.

— Вотъ и поговорите съ нимъ... Душа мятежная!—опять усмѣхнулся архимандритъ.—Ну, а я старъ... и не хотѣлъ бы испытать того ужаса. Лучше, вотъ, на міръ этотъ, на красоту любоваться.

И онъ заглядѣлся ясными темно-кариими глазами на скалы и на горы, на темную зелень береговъ, и на спокойную рябь Телецкого озера, на которое солнце, склоняясь къ западу, клало золотистые тоны, оттѣняя темные выступы береговъ и ленты водопадовъ, летѣвшія съ кручъ въ бездну этого небольшого, но бурнаго озера.





Катунскіе бѣлки,—ледникъ А. Геблера.

Памяти Архіепископа Владиміра.

Тихій лѣтній вечеръ, послѣ знойнаго дня, представляется намъ. Солнце уже скрылось за горнымъ кряжемъ Алтая, сплошь одѣтымъ разнообразною хвоею. Въ узкой долинѣ разбросанъ калмыцкій аилъ, нѣсколько юртъ и избушекъ; а близъ ихъ—убогая деревянная церковъ. Горныя мохнатыя вершины тѣсно окружаютъ аилъ; вечернею зарею окрашены онѣ въ розовый, голубой, синій, фіолетовый колеры; а долины уже „полны свѣжей мглой“, прозрачной, насыщенной ароматомъ хвои. Вечернія тѣни въ горахъ не поддаются описанію, а шумъ и рокотъ горныхъ водъ ласкаютъ слухъ. Вотъ по синему небу, необык-

новенно глубокому, проплыла одинокая тучка; вотъ, изъ-за нея блеснула блѣдная звѣздочка; еще и еще—надъ горой засверкала. Вотъ, надъ вершиной огромный, матовожелтый кругъ полнолунія медленно поднимается изъ могучаго, дѣвственнаго лѣса. Мягкій, протяжный, пріятный звукъ по ущелью пронесся, и полилась серебристая пѣснь православнаго колокола по долинамъ Алтая... Чу! Слышно пѣніе. Православная семья „дикарей“, на родномъ языкѣ своемъ, дружно поетъ пѣснь Сотворившему вся.—„Е тыным, Каанды алка. Е Каан Кудайм, Суреенду улу Сен еден“... ¹⁾ Напѣвъ чрезвычайно простъ; но что-же такъ неотразимо заполняетъ и слухъ, и сердце? „Дѣти природы“ поютъ: душа ихъ поетъ хвалу Господу; религиозное чувство простаго сердца переполнило; отъ избытка сердца льется гимнъ Вседержителю... Истинно, какъ бы изъ устъ младенецъ—хвала сія... И языкъ ихъ—чисто дѣтскій, неподражаемый; и дѣтскими очами смотрятъ они на изображеніе насъ ради Распятаго, на твердь небесную, чудное твореніе Его; и нѣтъ теперь въ душѣ ихъ капли сомнѣній: тамъ одна чистая, дѣтская вѣра... „Тулар аралап сулар агат... Тулар бажинда сулар турат... Е Каан пудургенин кайкылу“... ²⁾ Они хорошо понимаютъ слова Псалмопѣвца. Чудный куполь нерукотвореннаго храма Божія надъ ними и въ глубинѣ его лампы теплятся вѣлѣніемъ Божиимъ... „Э ончозын іайаган Каан, Саа алкыш іессін“... ³⁾ Не вмѣстилъ убогій храмъ, деревянный и ветхій, молящихся; у стѣнъ его, на лонѣ природы, совершается вечернее богослуженіе; едиными усты, единымъ сердцемъ славословіе поютъ Всевышнему люди-дѣти...

И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой

Внимали той пѣснѣ святой...

Кто научилъ и вразумилъ васъ, дѣти Алтая? Кто прибризилъ, кто, на рамо воспримъ, ко Христу принесе васъ, идолослужителей? Кто эти блаженные ⁴⁾ чудотворцы, муки духовнаго рожденія васъ воспріявшіе и лучами доброты своихъ страну сію озарившіе?.. Всѣ они десницею Божіею вписаны въ сердца ваши и память ихъ—въ родъ и родъ.

¹⁾ Благослови, душе моя, Господи. Господи, Боже мой, возвеличился еси зѣло.

²⁾ Посредѣ горъ пройдутъ воды... На горахъ стануть воды... Дивны дѣла твои, Господи.

³⁾ Слава Ти, Господи, сотворившему вся.

⁴⁾ Матѣ. 5, 11, 10.—Апокал. 22, 14.

Вотъ одинъ изъ нихъ, какъ мѣсяцъ ясный среди яркихъ звѣздъ... Почти двадцать лѣтъ вѣщалъ онъ Алтаю глаголы живота вѣчнаго. Еще на пути сюда горѣло сердце о. архимандрита Владиміра любовію божественною; обильными слезами оросилъ онъ начало пути и трудовъ своихъ апостольскихъ, напутствуемый молитвами и благословеніемъ старца праведнаго, великаго святителя земли русской Іереміи, въ Нижнемъ-Новгородѣ... А прощаясь съ Алтаемъ послѣдній разъ, онъ (уже епископъ Ставрополя-Кавказскаго) рыдалъ на горнемъ мѣстѣ Улалинскаго храма... Немалое число лѣтъ миновало послѣ того, какъ оставилъ онъ управленіе миссіею, а заботы о ней не оставляли его, и душа его болѣла не только за весь Алтай, а и за cadaго алтайца. Онъ всѣхъ и cadaго носилъ въ любвеобильномъ сердцѣ своемъ отеческомъ до самой кончины своей.

Но пусть лучше самъ святитель свидѣтельствуеть о семъ. Обремененный трудами новой епархіи, недугами своими, лѣтами преклонными, не можетъ онъ оторвать изумительной любви своей отъ далекаго прошлаго. Съ Кавказа слово его, сильное, святое, любви полное, течетъ на Алтай; епископъ пишетъ письмо къ обыкновенному горцу, инородцу, тѣмъ только и знатному, что изъ идолопоклонства приведенъ онъ въ ограду Христову...

„Возлюбленное чадо мое о Христѣ,

Сергѣй Павловичъ!

Посылаю тебѣ, во имя Пресвятой Троицы, три рубля. Хотя этотъ даръ мой и ничтоженъ, но ты, зная, что я посылаю его въ знакъ своей любви къ тебѣ, примешь этотъ даръ съ великою любовію и благодарностію.

Подумай-же, чадо мое, рожденное мною въ святой купели крещенія, подумай, сколько большею любовію и благодарностію должна быть всегда исполнена душа твоя къ Отцу Небесному, къ твоему Спасителю-Сыну Божію, Иисусу Христу, къ твоему Освятителю-Духу Святому, ко всей Троицѣ Единосущной, во имя которой крещенъ ты отъ меня въ водахъ Чолушманскихъ.

Когда былъ ты малъ, то крещенію своему радовался по дѣтскому разуму, именно потому, что „абызъ“ тебя взялъ на свое попеченіе, что ты, поэтому, не останешься раздѣтъ и го-

лодень, что отчимъ твой не будетъ уже тебя бить немилосердно за горсть курмача, потихоньку съѣденнаго. Но теперь ты уже, по Милости Божіей, человѣкъ взрослый. Думалъ-ли ты, другъ Сережа, о той безконечной любви, какою возлюбилъ тебя Господь? о тѣхъ несказанныхъ милостяхъ, о тѣхъ величайшихъ дарахъ Божіихъ, какіе тебѣ дарованы? о томъ особенномъ попеченіи промысла Божія, какое Господь показалъ тебѣ? Думалъ-ли объ этомъ хорошенько, и проникалось-ли сердце твое живѣйшею благодарностію, горячѣйшею любовію къ Небесному Отцу твоему? Пора, пора, милый мой, стать мужемъ, совершеннымъ по разуму и по сердцу. Не укоряя тебя, сіе пишу, а какъ чадо мое возлюбленное тебя наставляю на добро и о добрѣ Божіемъ тебѣ напоминаю.

Вспомни: кто ты былъ и чѣмъ ты сталъ? и чѣмъ всѣ милости Божіи заслужилъ? Когда подумаешь, то согласишься, что ничѣмъ, что все тебѣ дала даромъ Божія любовь.

Родился ты въ предѣлахъ Китайскихъ, отъ отца язычника, и темнаго, и нишаго. Еслибы обстоятельства отца были не дурны, то самое лучшее было-бы съ тобой только то, что ты остался бы живъ и выросъ здоровъ; но и ты, какъ отецъ твой, какъ вся родня твоя, какъ всѣ твои предки, до послѣдней минуты земной жизни своей остался-бы темнымъ язычникомъ, идолопоклонникомъ, а по смерти пошелъ-бы туда, куда, какъ знаешь теперь, идутъ души всѣхъ некрещенныхъ. Не говорю о томъ, что земной свой вѣкъ прожилъ-бы ты кочевымъ соенцемъ, не только не видѣлъ-бы, но и не слышалъ, какъ живутъ люди добрые, народы просвѣщенные; заботился-бы весь свой вѣкъ только о хлѣбѣ, то есть какъ-бы сытымъ все быть, а ни разу не подумалъ-бы о небѣ, о вѣчной жизни; однимъ словомъ былъ-бы получеловѣкъ, полуживотное неразумное. Но, вѣдь, и сего мало. Вѣдь, ты родился, когда на родной твоей землѣ былъ голодъ великій; когда и у достаточныхъ людей не доставало пропитанія, тѣмъ паче—у твоего бѣднаго родителя; когда не только въ аилахъ, но и по дорогамъ валялись безъ призора трупы соенцевъ, умершихъ съ голода...

Страшное было время. И вотъ, однако-жъ, Господь устроилъ такъ, что ты съ своею матерью и по смерти своего отца не умеръ съ голода, остался живъ. Мать твою почти

задаромъ купилъ чолушманецъ, чтобы продать съ барышомъ дома. Видно, онъ не былъ жестокой человѣкъ, позволилъ матери твоей взять тебя съ собою, а не бросилъ въ Соенахъ на съѣденіе собакамъ (тамъ всегда это бываетъ). И вотъ ты, Божиимъ промысломъ, какъ Авраамъ изъ земли халдейской въ землю обѣтованную, на рукахъ матери принесенъ изъ темнаго Китая въ свѣтлую, святую Русь... Думаль-ли ты, размышляль-ли ты объ этой милости Божіей къ тебѣ, дорогой мой Сережа? Упала-ли когда-нибудь, при мысли объ этомъ, изъ глазъ твоихъ слеза благодарности къ Богу? Падаль-ли ты, размышляя объ этомъ, падаль-ли когда на колѣни передъ Богомъ, столько тебя возлюбившимъ, такъ тебя пожалѣвшимъ, отъ голодной смерти тебя избавившимъ?..

Но и тутъ не конецъ милостямъ Божиимъ къ тебѣ. Главная ждала тебя впереди. Попади ты съ матерью къ какому-нибудь калмыку алтайскому, не бѣдному и не злому, онъ бы вскормилъ, вспоилъ и вырастилъ тебя, какъ сына или хотъ кул-ошкш. Что вышло-бы изъ тебя? Такой-же, какъ и онъ, калмыкъ полудикій. Правда, когда сталъ-бы ты большимъ, можетъ быть, встрѣтился-бы съ какимъ-нибудь миссіонеромъ, услышалъ-бы отъ него разъ-другой о христіанской вѣрѣ, о святомъ крещеніи. Но, слушая его, повѣрилъ-ли бы ему? послушался-ли его? Мало-ли на Алтаѣ калмыковъ, десятки разъ слышавшихъ слово Божіе и умирающихъ некрещенными? Могло случиться, что и твое сердце съ годами, съ возрастомъ жизни твоей, ожесточилось-бы, уши твои стали-бы глухими, и ты, проживши много лѣтъ въ землѣ святой, христіанской, такъ бы и умеръ некрещенымъ язычникомъ, а можетъ быть—богопротивнымъ камомъ. Но Господь, Милостивый и Премудрый, что съ тобою устроилъ? Мать твоя досталась нищему человѣку при Телецкомъ озерѣ, нищему да и жестокосердому. Женившись на матери твоей, онъ не считалъ тебя не только сыномъ, но и человѣкомъ, а развѣ—собакой худой. Да и свою собаку порядочный человѣкъ жалѣетъ больше, нежели тебя твой неродной отецъ. Давно это было, но я какъ сегодня вижу на твоёмъ дѣтскомъ тѣльцѣ раны и струпы отъ побоевъ этого жестокаго и немилостиваго калмыка. Какъ сейчасъ, вижу твое дѣтское лицо сухое, сморщенное, какъ у стараго старика, со складками кожи на щекахъ, на лбу, подъ глазами, какъ у

восьмидесяти-лѣтней старухи; только твои глазенки ярко свѣтились, съ жадностью глядѣли,—гдѣ-бы увидать что-нибудь съѣстное; вижу обрывки какой-то мерзкой шубенки на голыхъ, грязныхъ, никогда не мытыхъ плечахъ..! И что-же? Вѣдь, онѣй немилостивый человѣкъ былъ твой благодѣтель, онѣ былъ орудіемъ благодѣи Божіей къ твоему счастью тѣлесному, а паче—душевному, къ добру временному, а паче—вѣчному. Его нищета, заставлявшая тебя голодать, его жестокость, заставлявшая тебя страдать, вѣдь, и навели тебя на мысль уйти



Видъ Кумуртукскаго миссіонерскаго стана.

отъ него и отъ матери твоей въ хорошую землю, къ абызу, креститься. И для этого Господь устроилъ дѣло наилучшимъ образомъ, послалъ за тобою не простаго абыза, а самого начальника абызовъ, меня, грѣшнаго архимандрита. Вѣдь не остановись мы на томъ берегу Телецкаго озера на короткое время, ты не спустился-бы на берегъ, не уѣхалъ-бы съ нами, —и тогда еще, Богъ знаетъ, что съ тобою было-бы. А, вѣдь, тогда останавливаться на берегу томъ мнѣ не было никакой надобности; я сдѣлалъ это по просьбѣ Павла Дмитріевича Тренихина: ему надобно было видѣться по своему торговому дѣлу со стариками: Чокомъ, Маскачакомъ и другими пелинцами.

И, вотъ, ты, руками архимандрита и его о. діакона (Мих. Вас. Чевалкова), въ первый разъ отъ рожденія (по свидѣтельству бабушки твоей, матери нероднаго отца), съ мыломъ вымытъ былъ въ водѣ Телецкаго озера, одѣтъ въ бѣлую новую

рубашку, напоенъ чаемъ съ сухарями, которыхъ ты раньше не видалъ, покормленъ и говядиной, которой запаха давно не слышалъ.—Помнишь-ли ты это? не забылъ-ли? Если не забыть, то размышлялъ ли о такой милости Божіей къ тебѣ, благодарилъ-ли отъ всего сердца за это Милосерднаго Отца Небеснаго?.. Думаю, что ты уже забылъ; а я, Сережа, не забылъ и, вотъ, сказываю тебѣ, какъ, сидя со мною рядомъ на большой лодкѣ, когда мы отъ Пели плыли къ монастырю, ты что-то держалъ на колѣняхъ въ рубашкѣ и мнѣ показывалъ. Это оказались сухари, тебѣ казакомъ Федоровымъ на дорогу данные. Тебѣ приказано безъ спросу не ѣсть, и вотъ ты, хотя уже сытый, глядя на такое съѣстное богатство, спрашиваешь меня: „можно-ли тебѣ это ѣсть, когда захочешь?“ Отвѣтъ получилъ: „можно“, и въ твоихъ глазахъ видна была мысль: „вотъ, дескать, какое время пришло: когда хочу и сколько хочу, ѣсть могу“. Безъ сомнѣнія, не помнишь ты и это: когда мы сѣли въ лодку плыть по Телецкому, ты увидалъ на берегу нѣсколько зеренъ проса, просыпаннаго Тренихинымъ, при продажѣ пелинцамъ, схватилъ меня за руку и, указывая на эти зерна, какъ будто что дорогое, твердилъ: „тару!“... давая разумѣть, что надо собрать, и услышалъ отвѣтъ, что у насъ дома—больше есть.

А что всего важнѣе, что всего дороже, къ чему тебя Господь и создалъ и къ чему тебя изъ-за границы, изъ Китая живого перевелъ, это совершилось на Чолушманѣ, при храмѣ Усть-Башкаусскомъ. Моею рукою грѣшною, юный соенецъ Козорокъ, въ освященныхъ водахъ Чолушмана, крестился во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, получилъ святое имя Сергій, сдѣлался сыномъ Божиимъ по благодати, получилъ въ святомъ мѣропомазаніи печати дара Духа Святаго, а въ церкви Усть-Башкауской, Свято-Алексіевской, сдѣлался причастникомъ Тѣла и Крови Христовой, вкусилъ отъ источника безсмертнаго пищи небесной, сталъ наслѣдникомъ небеснаго царства, вновь родился чистымъ не только по тѣлу, но и по душѣ, получилъ для себя отъ Господа спутникомъ жизни ангела хранителя, а въ Павлѣ Дмитріевичѣ—второго отца, крестнаго.—Вспоминаешь-ли ты, Сережа, объ этихъ милостяхъ Божіихъ? объ этихъ дарованіяхъ любви Божіей къ тебѣ? Чувствуетъ-ли душа твоя благодарность Богу за эти дары? Чув-

ствуешь-ли сердце твое любовь къ Богу, твоему Благодѣтелю, твоему Спасителю, кровь Свою за тебя на крестѣ пролившему, ею тебя очистившему, отъ діавола освободившему, отъ козней и когтей камскихъ избавившему?

Не ты одинъ,—сотни многія крестятся каждый годъ на Алтаѣ; но тебѣ, въ сравненіи съ ними, больше милостей, больше любви показано. Крещенъ ты былъ на Чолушманѣ; но не оставленъ на Чолушманѣ.

Ты не помнишь, Сергѣй Павловичъ, а я хорошо помню разные случаи съ тобою въ Чолушманскомъ монастырѣ. Укажу на одинъ. Мнѣ надобно было оставить васъ въ монастырѣ, ненадолго съѣздить съ Михаиломъ Васильевичемъ на Улаганъ. Передъ этимъ, нашъ бывшій Козорокъ былъ веселъ, сытъ, одѣтъ, приласканъ; онъ ходилъ, заложа руки за спину, и пѣлъ стихами соенскими свою судьбу: какъ ему жилось хорошо при отцѣ родномъ, какъ тогда стоилъ онъ добраго коня, какъ онъ при неродномъ отцѣ сталъ ничего не стоить, какъ тебя стали обижать, бить, въ голодѣ держать; какъ теперь тебѣ хорошо, ты уже никого не боишься, никто тебя не посмѣетъ обидѣть, иначе—ты абызу скажешь... И вдругъ ты видишь, что меня провожаютъ куда-то, я уже сажусь въ сѣдло; тебѣ показалось, что я уже совѣмъ уѣзжаю, значитъ, тебя оставляю на прежнюю несчастную, беззащитную жизнь; ты схватился крѣпко своими рученками за стремя сѣдла моего, съ дѣтскимъ крикомъ и слезами, и ручонки твои замерли, такъ что едва-едва могли изъ нихъ выручить стремя и успокоить тебя обѣщаніемъ скорago возвращенія моего.—Этотъ случай тебѣ рассказываю для того, чтобы высказать тебѣ желаніе мое и просьбу мою. Какъ ты крѣпко уцѣпился, было, за стремямое, чтобы не разлучиться со мной, по твоему мнѣнію, своимъ благодѣтелемъ и покровителемъ, такъ, другъ мой, держись и паче того крѣпко держись вѣрою и любовію Господа Бога, единого истиннаго Благодѣтеля и Покровителя твоего.

Помнишь-ли, Сережа? Нѣтъ, не помнишь, что было, когда на возвратномъ пути ненадолго останавливались мы на томъ берегу Телецкаго озера, гдѣ я взялъ тебя сперва.—Увидѣвши спустившихся сверху пелинцевъ, ты смутился духомъ, боялся, какъ-бы они тебя не отняли, и все время, пока мы тутъ были,

ты все около меня держался, тебѣ было не до чаю, не до ѣды. Затѣмъ, когда время наступило плыть, ты прежде всѣхъ забрался и засѣлъ въ лодку, но все еще не совсѣмъ спокойный. Только ужъ когда я и всѣ спутники наши вошли въ лодку и она двинулась отъ берега, ты не только успокоился, но пришелъ въ особенную радость, всталъ на свои ножки дѣтскія и, обращаясь къ оставшимся на берегу пелинцамъ, держалъ имъ такую рѣчь: „прощайте, кланяйтесь матери, кланяйтесь ребятамъ (товарищамъ-сверстникамъ), скажите имъ, что я въ хорошую землю поѣхалъ“... Затѣмъ Сергѣй нашъ усѣлся на носу лодки и началъ съ зажмуренными глазами интересное представленіе, на соенскомъ нарѣчьи, какъ камы камлаютъ. Представленіе было такъ картинно, переходы отъ медленнаго, тягучаго пѣнія стиховъ къ быстрой болтовнѣ такъ оригинальны, что всѣ, бывшіе въ лодкѣ, не могли удержаться отъ смѣха; а гребцы-чолушманцы нерѣдко бросали весла отъ смѣха неудержимаго. Кончивъ это занятіе, своимъ этимъ насмѣшливымъ изображеніемъ язычества какъ-бы навсегда распростившись съ міромъ язычества, Сергѣй обратился мыслию и сердцемъ къ міру христіанскому, къ той хорошей землѣ, въ которую поѣхалъ, къ царству Христову на землѣ, сталъ вспоминать тѣ молитвы и святыя слова, какія только онъ успѣлъ услышать и не забыть, то- „Э Каан Кудай Іисус Христос“, то- „Э Каан кайрлагын“ и тому подобное. Кто его всему этому научилъ? Я тогда думалъ и теперь думаю, что это душа, хотя дѣтская, но святымъ крещеніемъ Божіею благодатію просвѣщенная, хотѣла, сама того не вѣдая, воспѣть, восторжествовать побѣду надъ темнымъ міромъ языческимъ и выразить свою радость о вступленіи въ царство любви Христовой.

Разсказываю тебѣ, друже мой, объ этомъ не ради того только, чтобы разсказать забытую исторію. Нѣтъ, изъ сказаннаго особенно не забудь и часто вспоминай свои слова: въ хорошую землю поѣхалъ. Тогда ты самъ хорошенько не понималъ, что говорилъ. Теперь ты выросъ, понимаешь-ли весь смыслъ этихъ словъ? Понимаешь-ли вполне, Сережа, насколько лучше китайской языческой земля русская, православная? Понимая это, цѣнишь-ли вполне Божій даръ? Благодарить-ли за это Бога-Благодѣтеля? Дышетъ-ли, живетъ-ли сердце твое любовію ко Христу Спасителю, къ церкви святой, къ братьямъ-

христіанамъ? Жалѣешь-ли о своихъ единоплеменникахъ, остающихся до смерти и погибающихъ въ безднѣ языческой, въ служеніи діаволу?

Въ хорошую землю поѣхалъ. Да,—въ хорошую. Но есть еще лучше этой. Гдѣ-же? спросишь. Тамъ, куда вознесся твой и мой Спаситель, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, куда Онъ тебя и всѣхъ насъ зоветъ, гдѣ Онъ всѣхъ насъ ждетъ съ любовію. Чтобы въ ту „хорошую землю“ достигнуть, надобно приготовиться доброю жизнью на настоящей землѣ. Какъ ни хороша теперешняя земля, но все-же на ней встрѣчаются болѣзни, печали, воздыханія и смерть; а тамъ уже нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія, но жизнь безконечная, въ радости вѣчной. Вотъ куда, друже мой, заранѣе готовься; вотъ куда заблаговременно собирайся. Дай Богъ тебѣ со мною, благополучно проплывшему нѣкогда Телецкое озеро, благополучно переплыть все житейское море и достигнуть вѣчной спасительной пристани, безопасно пристать къ берегу небесной блаженной земли и вѣчно жить тамъ съ Богомъ и со святыми.

Я сказалъ, что ты, крещеный на Чолушманѣ, не былъ оставленъ на Чолушманѣ. Думаю, что ты не забылъ и никогда не забудешь, куда былъ ты привезенъ и гдѣ ты провелъ ранніе годы твоей юности. Улала, Улалинскій храмъ, Улалинскій нашъ домъ, слѣпецъ дѣдушка Максимъ, котораго ты въ церковь водилъ, а онъ тебя училъ по русски разговаривать, Улалинское училище, гдѣ ты училъ грамоту, письмо, а главное—Божій законъ, православную вѣру, священную исторію, святыя молитвы, священное пѣніе, а въ церкви—молебную службу великомученику Пантелеимону и прочее,—все это, я вѣрю, ты хорошо помнишь и удержишь съ любовію въ сердцѣ своемъ. Дай, Господи! Но только все это считай за дары любви Божіей къ тебѣ, дары такіе, какіе не только всѣмъ, но и частію многимъ не достаются на долю. Цѣни-же все это, милый мой; за любовь Божію плати любовію къ Богу; страшись Его, Милосердаго, огорчить не только дѣломъ худымъ, или словомъ худымъ, но и мыслию худою. Не забывай въ молитвѣ покойнаго дѣдушку Максима и всѣхъ своихъ добродѣтелей, добру тебя учившихъ.

Докончу ужъ рѣчь свою сказаніемъ о милостяхъ Божіихъ къ твоимъ роднымъ; и эти милости ты долженъ помнить, и

за нихъ благодарить.—Помнишь, какъ я внушалъ тебѣ молиться Господу Богу за твою родную мать, чтобы, далъ Богъ, и она крестилась? Твоя дѣтская молитва была услышана. Когда мы съ тобой пріѣхали на Чолушманъ въ побывку, то мать твоя уже была православною христіанкой, а у нея на рукахъ—послѣ тебя родившійся, братишка твой Макарій... Помнишь, какой онъ былъ болѣзненный? Помнишь, что мать твоя, жалѣя его, согласилась съ нимъ разстаться, отдать его намъ, въ пріютъ Улалинскій? Помнишь, какой изъ него вышелъ ребенокъ чистенькій, здоровенькій, умненькій, ласковый, въ раннія лѣта богомольный, благодаря материнскому уходу Софьи Васильевны и прочихъ сестеръ пріюта?—Потомъ мать твоя не утерпѣла, сама пришла въ Улалу. Для чего это такъ устроилось? По милости Божіей. Ей Господь не судилъ долго жить; а умереть ей всего было лучше въ Улалѣ. Помнишь, вѣдь, она послѣдніе дни прожила въ улалинской больницѣ, въ томъ же домѣ, гдѣ и пріютъ, подъ попеченіемъ тѣхъ же сестеръ, которыя ухаживали за Макарушкой? Тутъ она приготовилась встрѣтить и встрѣтила смерть по христіански. Не милость-ли это Божія къ ней? и не слѣдуетъ-ли тебѣ за это благодарить и любить Господа? Теперь ты и дома, и приходя въ церковь, можешь молиться за свою родную мать съ отрадною вѣрою, что молитва твоя о ея душѣ будетъ на пользу ей, а особенно—воспоминаніе ея на проскомидіи.—А Макарушка? Дорогое, незабвенное дитя! Онъ, вотъ, раньше насъ съ тобою dospѣлъ на тотъ свѣтъ. Дай Богъ и намъ быть тамъ, гдѣ онъ теперь. Скончался въ дѣтскомъ возрастѣ; любящій Господь рано позвалъ его къ Себѣ; для чего? 1) чтобы, когда онъ вырастетъ, злоба людская не измѣнила на худое непорченный разумъ его, и лѣсть людская своимъ коварствомъ не прельстила его на злыя дѣла; 2) для того, чтобы, переселившись на жительство къ ангеламъ небеснымъ, вмѣстѣ съ ангелами онъ молился за тебя, родного брата своего, остающагося на землѣ. Не есть-ли это особенная милость Божія къ нему и къ тебѣ? Какъ не благодарить тебѣ за это Бога, какъ не платить за Его любовь своею любовію?

Не легко было тебѣ разстаться со мною, когда я оставлялъ миссію, а особенно—когда совсѣмъ уѣзжалъ изъ Сибири. Но, вѣдь, и мнѣ было жалко, въ числѣ многихъ другихъ, осо-

бенно тебя, мое чадо по духовному рожденію. Можетъ быть ты, по юношеской разсѣянности, и забывалъ меня грѣшнаго; а я нигдѣ тебя не забывалъ. Хотѣлось мнѣ знать и я, по возможности, узнавалъ, гдѣ ты и что съ тобой? Слышалъ я, что ты, духовно родившую, вскормившую, научившую тебя миссію оставилъ и удалился куда-то на-сторону... Надобно-ли тебя увѣрять, что я объ этомъ крайне поскорбѣлъ? Невольно спрашивалъ я себя: неужели наши и миссіи труды оказались напрасными? Боялся, какъ-бы ты не попалъ въ такое общество, къ такимъ людямъ, которые тебя, еще неутвердившагося, молодого человѣка, могутъ сбить съ хорошей дороги и направить на худую. Теперь слышу, что Сергѣй мой возвратился къ своей кормилицѣ миссіи и поступилъ на служеніе ей, въ должности толмача. Весьма радуюсь и благодарю Бога. Да утвердитъ и укрѣпитъ Онъ тебя во истинномъ пути; да будешь слуга Божій, слуга святой церкви, слуга спасенія ближнихъ, усердный, нелицемѣрный, трезвый, богобоязненный, кроткій, учительный, заботливый о собственной чистотѣ, тѣлесной и душевной, стараясь прежде всего себя учить святому закону — и чтеніемъ, и добрыми дѣлами, а потомъ и другихъ — какъ святыми разказами, такъ и примѣромъ жизни своей.

Видишь, сколько милостей къ тебѣ Божіихъ: великихъ и особенныхъ? За нихъ благодари Господа не только сердцемъ, не только словами молитвы усердной, но и дѣлая добро для людей, какое только сможешь; любовь къ Богу покажи любовью къ людямъ.

Когда ты еще былъ ребенкомъ, я думалъ: вотъ, Сергѣй вырастетъ, научится и вѣрѣ православной, и благочестію христіанскому, будетъ этому учить другихъ; и въ душѣ его возсіяетъ свѣтъ Христовъ, онъ не утерпитъ, чтобы этимъ свѣтомъ не подѣлиться съ другими; когда пойметъ, какъ благъ Господь, то не утерпитъ, чтобы другимъ не рассказывать о дѣлахъ благодати Божіей, изображенныхъ въ священномъ писаніи; самъ узнаетъ евангеліе Христово, и не утерпитъ, чтобы не возвѣщать сіе евангеліе другимъ невѣдущимъ. Кромѣ близкихъ по жительство алтайцевъ, далеко за границей у Сергѣя есть его близкіе по плоти, родня его отца и матери, соенскій народъ, погибающій безъ вѣры во Христа. Теперь еще рано; но когда прійдетъ Сергѣй въ зрѣлые годы, не по-

тянетъ-ли его на мѣсто родины его, быть тамъ благовѣстникомъ? Конечно, къ этому надо приготовиться и приготовиться хорошенько, сперва тутъ дома, подъ крыломъ миссіи, сперва напрактиковаться надъ алтайцами, а потомъ, когда Господь позоветъ,—двинуться и дальше Алтая... Дай Богъ, чтобы это желаніе мое когда-нибудь исполнилось, если на то будетъ воля Божія; а пока работай, друже, на томъ мѣстѣ, на которомъ поставленъ.

Видишь, чадо мое возлюбленное, какъ много написалъ я тебѣ. Старая рука моя водила перомъ по любви отеческой и по заботливости о тебѣ... Мои лѣта достигли возраста старости, да и дѣлъ по службѣ не мало. Поэтому не только такое длинное письмо, но и коротенькое едва-ли когда соберусь написать тебѣ, если-бы и еще пришлось мнѣ сколько-нибудь прожить на этомъ свѣтѣ. Поэтому сіи строчки прими, Сережа мой, какъ послѣднее предсмертное отеческое завѣщаніе и наставленіе на всю твою жизнь. По временамъ прочитывай его съ такою-же любовію, съ какою писано. И до старости доживешь, вспоминай меня въ своихъ молитвахъ; не забывай, когда и умру,—что былъ вотъ на этомъ свѣтѣ человекъ, грѣшный архіерей, который Сергѣя Павловича любилъ, какъ родного сына, и больше родного сына...

Призываю на тебя, чадо мое, Божіе благословеніе: на твое тѣло и душу, на занятія и труды твои, на отдыхъ твой, на молитву твою, на доброе чтеніе и добрыя бесѣды твои, на мысли твои и добрыя намѣренія твои.

Недостойный Епископъ Владиміръ, бывшій Бійскій, потомъ Томскій и Семипалатинскій, нынѣ Ставропольскій и Екатеринодарскій. 3 марта 1888 года. Губернскій городъ Ставрополь Кавказскій.

Если захочешь доставить мнѣ утѣшеніе, напиши о себѣ подробно и откровенно, какъ сынъ отцу“.

Такъ-же отечески и еще съ большею любовію относился святитель къ сотрудникамъ своимъ, и духовнымъ и свѣтскимъ. Вѣра, любовь, ревность его въ дѣлѣ Божіемъ были необычайны, изумительны, чисто апостольскія. Нѣкоторыми фактами, лично намъ извѣстными, вспомняемъ наставника нашего, иже глагола намъ слово Божіе.

„Дикъ и страшенъ верхъ Алтая, вѣченъ блескъ его снѣ-

говъ“,—сказалъ поэтъ. „Алтай великолѣпенъ, какъ Аѳонъ“,—писалъ одинъ изъ начальниковъ миссіи. Каждый изъ нихъ своимъ окомъ смотрѣлъ и оба—правы. А мы прибавимъ: Алтай—чудное твореніе Божіе. Это особый мірокъ, прекрасный и своеобразный, совершенно чуждый шума, суеты, лжи цивилизованныхъ колоній и доселѣ сохраняющій какъ-бы печать первозданной красоты. Съ вершинъ Алтая человѣкъ видитъ море горъ, одну краше другой, видитъ множество водъ, всюду—лѣса вѣковѣчные: на горахъ—опять горы, до поднебесья, и тамъ—вѣнцы серебра бѣлоснѣжнаго. Внизу, иногда подъ ногами, и бури гласъ, и дождь; а на вершинѣ—гласъ хлада тонка, невозмутимая, святая тишина и мирно солнышко сіяетъ. Смотритъ человѣкъ въ необъятную высь лазурную, смотритъ и внизъ, на ущелья бездонныя и, подавленный грандіознымъ величіемъ картины, десницею Божіею изображенной, ощущаетъ онъ нѣчто необычайное въ существѣ своемъ: сознаніе тѣлеснаго ничтожества своего, высокій восторгъ, необыкновенный подъемъ духа. Здѣсь вдали отъ людской суеты, человѣкъ чувствуетъ себя ближе къ небу, и мысли его невольно измѣняютъ обычное свое неизмѣнное теченіе.

„Тамъ—суета, вражда и битва,

Здѣсь—миръ, любовь, за всѣхъ молитва“...

Здѣсь туристъ, интеллигентъ маловѣрующій, пишетъ на скалѣ: „грѣшникъ, нѣтъ мѣста здѣсь твоимъ страстямъ“...

„Любовь Спасителя міра къ горнымъ высотамъ перешла и къ послѣдователямъ Его. Часто вершины Алтая видятъ стопы благовѣстника, возвѣщающаго миръ. Восходя на горы заоблачныя, носитъ онъ въ сердцѣ Христову любовь; въ дивныхъ красотахъ Алтая Творца созерцаетъ онъ; душа его исполняется трепетнымъ радованіемъ, уста—Богохваленіемъ; немощное тѣло духовно укрѣпляется на труды благовѣстія... А труды эти, по истинѣ, ужасны бываютъ. Не говоря уже о козняхъ вражескихъ, по пятамъ слѣдующихъ за работникомъ Христовымъ, самый путь, самые способы передвиженія, смотря по времени года и мѣстности ¹⁾, являютъ миссіонеру многое множество препятствій, бѣдъ и скорбей.

¹⁾ Совершившаго трудный путь, блаженной памяти миссіонера іеромонаха о. Смарагда, увлеченный начальникъ миссіи спрашиваетъ: „да какъ это вы?“ А онъ спокойно отвѣчаетъ: „верхомъ, пѣшкомъ, на лодкѣ“...

Приснопамятный о. архимандритъ Владиміръ многократно бывалъ на Телецкомъ озерѣ, въ Чолушманѣ; не разъ слѣдовалъ оттуда въ Улаганъ, подъемомъ Іолузунъ. Это почти отвѣсная стѣна, съ зигзаго-образною тропою по уступамъ ея, на протяженіи около трехъ верстъ. Съ вершины этой стѣны путникъ видитъ еще большую стѣну на противоположной сторонѣ ущелья, а надъ нею—гору „въ шапкѣ золота литого“, съ вѣчнымъ снѣгомъ, съ потоками снѣжныхъ водъ, падающими съ головокружительной высоты; а внизу, въ самомъ ущельѣ, —довольно обширную рѣку Чолушманъ, въ видѣ ленточки, людей и лошадей—какъ точки... Бывшій Томскій губернаторъ, Андрей Петровичъ Супруненко, спустившись съ этой стѣны и, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, сказалъ: „сохрани, Господи, меня и дѣтей моихъ отъ подобнаго путешествія“...

Однажды о. архимандритъ, побывши на Чуѣ и китайской границѣ, проѣхалъ на грозный Архытъ, къ киргизамъ-Кираевцамъ. Времени потрачено было много; а нужда надлежала побывать еще и въ верховьяхъ Катуні-рѣки, въ Катандѣ, на Уймонахъ. Съ Архыта туда (чрезъ Усть-Чую)—далеко, а надо скорѣе: „Нѣтъ-ли короткой дороги?“—„Есть,—говорятъ проводники бывалые,—только опасно: страшныя мѣста тамъ есть; лучше лишнихъ сто верстъ объѣхать“. Подумалъ о. архимандритъ, сѣлъ на лошадь и говоритъ: „прямо на Уймонъ съ Богомъ“.

Ѣдутъ. Погода—ненастная, дождливая. Между спутниками, на остановкахъ, только и рѣчи о невозможности проѣзда въ такую непогодъ. Тревожное настроеніе увеличивается, по мѣрѣ приближенія. Опытные ѣздоки поговариваютъ, что надо вернуться. О. архимандритъ молчитъ весь путь, погруженный въ молитву. Наконецъ, вотъ и остановка. Спутники отказываются ѣхать: грунтъ и камни мокры; тропа—для одной лошади съ выюкомъ,—неровная; на этомъ пути „прискорбномъ“ то справа, то слѣва—обрывы въ черное ущелье: тамъ смерть ждетъ неосторожнаго путника... Опытный глазъ о. архимандрита находитъ смѣлѣйшаго изъ проводниковъ. Убѣжденный, упрощенный, обнадеженный обѣщаніемъ помощи Божіей, проводникъ слѣзаетъ съ коня, беретъ его за поводъ и идетъ на вѣрную смерть. А о. архимандритъ, воззрѣвъ на небо, съ обнаженною головою, кратко молится, осѣняя путь благословеніемъ и, со словами: „съ нами Богъ!“ отправляется вторымъ, не сходя съ лошади.

Умное животное каждый почти шагъ, прежде чѣмъ опереться, ощупываетъ почву: инстинктивно оно боится пропасти. Спутники, пораженные смѣлостію передовыхъ, остановились было; но затѣмъ поспѣшили за ними, кто верхомъ, кто пѣшкомъ. Нѣсколько десятковъ минутъ страшныхъ, мучительныхъ, долгихъ, казавшихся днями... Гробовое молчаніе,—только развѣ сдвинутый ногою лошади камешекъ застучитъ по скаламъ, на полетѣ въ бездонную пропасть, и замретъ его стонъ въ глубинѣ... Но вотъ, вдали,—радостный крикъ передового: „Кудайга-а-а ба-а-а-ш!“ (слава Богу)... О. архимандритъ, достигши безопаснаго ровнаго мѣста, гдѣ проводникъ уже ожидалъ его, сошелъ съ лошади, снялъ шляпу, перекрестился, до земли поклонился и зарыдалъ... Черезъ нѣсколько минутъ благополучно прибыли остальные спутники; радость написана была на лицахъ ихъ; шумному говору и восклицаніямъ не было конца. Послѣ отдыха отправились въ дальнѣйшій, уже не столь опасный, путь, славя Бога.

Неохотно, всегда тревожно оставлялъ Алтай о. архимандритъ по дѣламъ службы. И всегда—спѣшилъ. Изъ Бійска, на примѣръ, до Томска (520 в.) онъ не болѣе двухъ—трехъ разъ отдыхалъ на станціяхъ или у священниковъ; на весь этотъ путь тратилъ не болѣе двухъ сутокъ. Даже будучи Бійскимъ Улу-абызомъ (Епископомъ), онъ бралъ съ собою въ путь только одного діакона; а сей, умудренный опытомъ, всегда запасался для себя немудрою снѣдію. Ночью, на ѣздѣ, о. діаконъ подтянетъ къ себѣ мѣшокъ съ припасомъ и утоляетъ свой голодъ. „Ты что тамъ, дьяконъ, ѣшь?“—„Каральку (калачъ), Ваше Преосвященство“.—„А... и—ладно, хорошая?“—„Славная, Ваше Преосвященство“.—„А ну-ка, дай“. Просимое получено, и епископъ черствымъ хлѣбомъ подкрѣпляетъ силы свои...

Весна 1881 года застала Епископа Владиміра въ Томскѣ. Сначала тепло раннее погнало снѣгъ, Томъ поднялась, и 2-го апрѣля начался ледоходъ. Соеобщеніе съ зарѣчной стороною совершенно прекратилось; трактъ переведенъ на ст. Яръ. Была уже шестая седмица св. четыредесятицы. Владыка рвался въ Алтай: надо поспѣть въ родную миссію къ Свѣтлому празднику заблаговременно. Внезапно настала стужа съ рѣзкимъ вѣтромъ. Томскій исправникъ (Ив. Ст. Л—въ) потребовалъ справки о переправѣ и, получивъ рапортъ Спасскаго волост-

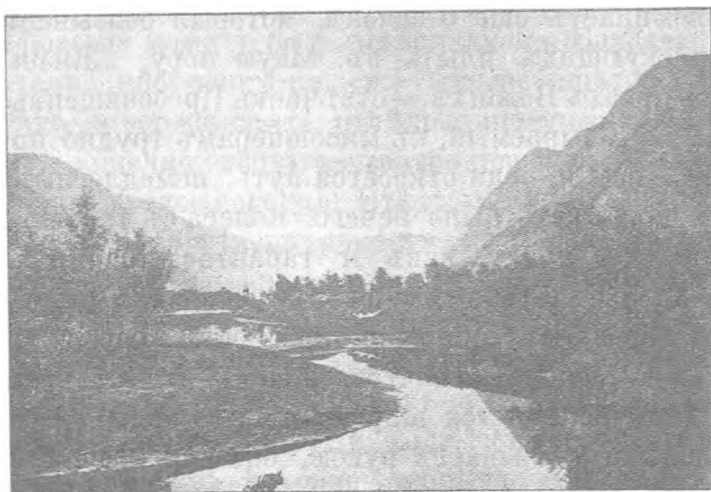
ного правленія о томъ, что переправа, за ледоходомъ, невозможна, пишетъ: „Ваше Преосвященство! прилагаемый рапортъ я получилъ сію минуту. Если и теперь Вашему Преосвященству угодно будетъ отправиться, то черезъ два часа я выѣду на Яръ, чтобы, по возможности, устроить переправу для Вашего экипажа; хотя сомнѣніе въ успѣхѣ моихъ мѣропріятій не оставляетъ меня“. Владыка отвѣчаетъ: „И. С—чѣ! хотя ваше личное отправленіе есть мѣра чрезвычайная, но въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ (которые, надѣюсь, со мною впередъ никогда не случатся), я обращаюсь къ вамъ съ чрезвычайною просьбою—отправиться. И я считаю за лучшее то же черезъ два часа (т. е. въ 4 ч.) скорѣе отправиться. Рапортъ Спасскаго волостного правленія говоритъ, что перекладная почтовая повозка можетъ быть переплавлена. Полагаю, значитъ и—тарантасъ? ибо много-ли онъ больше почтовой повозки; можно, вѣдь, и колеса снять, отдѣльно переправить. Не говорю о поклажѣ. Конечно, все это—завтра утромъ. А намъ-бы съ вами хоть въ Ярское сегодня. Итакъ, и мнѣ къ 3-мъ часамъ коней надобно, ибо теперь до 4-хъ часовъ ждать нѣтъ причины, а все-же раньше—посвѣтлѣе. Преданнѣйшій слуга вашъ, Епископъ Владиміръ“¹⁾. Этотъ самый исправникъ еще 9-ти лѣтнимъ мальчикомъ лежалъ въ Томской семинарской больницѣ и послѣ никогда не забывалъ посѣщеній и утѣшеній о. инспектора Владиміра, который, года четыре спустя, нарочно пріѣхалъ въ одно изъ духовно-учебныхъ заведеній г. Москвы (проѣздомъ черезъ нее), чтобы отыскать и приласкать, и гостинцами надѣлить того-же мальчика, сына Алтайскаго миссіонера.

Пришлось исполнить желаніе Преосвященнаго. А вѣтеръ крѣпчалъ, холодъ усилился, уровень воды въ Томи понизился и ледоходъ задерживало. Посланъ на Яръ земскій засѣдатель (Григорьевъ), ѣдетъ исправникъ; изготовлена большая лодка; свыше 100 человекъ народа собрано. Владыка ночевалъ въ Спасскомъ и прибылъ въ Яръ утромъ 6 апрѣля, въ великій понедѣльникъ. Онъ озябъ, а квартира—холодная. На рѣкѣ трескъ, ломка, шумъ и свистъ вѣтра; густая масса льда, прижимаясь къ берегу, на ходу стираетъ палки и доски въ мелкую щепу; смотрѣть страшно и стоять холодно—руки ко-

¹⁾ Письмо это и послѣдующія—у автора воспоминаній.

ченѣють. Плыть рѣшительно никто не соглашается, толпа шумить;— „тутъ—прямо смерть!“—Докладываетъ исправникъ Владыкѣ; а онъ, печальный, ходитъ по комнатѣ и остается непреклоненъ,—„надо спѣшить, давно ждутъ меня: надо сейчасъ-же плыть“. Полиція прибѣгаетъ къ средству, яко-бы согрѣвающему, смѣлость возбуждающему, и щедро угощаетъ народъ виномъ; а время идетъ, и опасность не уменьшается. Хотя ледъ уже несплошной, появляются свободныя отъ него небольшія водяныя поля, но каждую минуту они снова закрываются надвигающимися новыми массами льда, который съ трескомъ наваливается на переднія глыбы... Исправникъ рѣшительно заявляетъ Преосвященному, что плыть—опасно, что онъ отвѣтственнымъ лицомъ является за жизнь Владыки; что-то упоминаетъ еще о законѣ, который обязываетъ задерживать рискующихъ плыть въ такую пору. „Жизнь человеческая въ рукахъ Божіихъ,—отвѣчаетъ Преосвященный,—а законъ, вами указываемый, къ миссіонерамъ трудно примѣнить. Подождемъ еще и, если откроется путь, немедленно имъ воспользуемся“... Возражать было нечего. Колеса съ тарантаса сняты, поставлены въ лодку, какъ и тарантасъ осями на борта. Нашлось до двадцати смѣльчаковъ. А вотъ и самъ Владыка идетъ къ переправѣ, опираясь на трость; народъ обнажилъ головы, Преосвященный благословляетъ. Въ это время во всю ширину Томи появляется широкая полоса воды, свободной отъ льда. Владыка указываетъ рукою, спѣшно прощается съ исправникомъ, молча входитъ въ лодку, а за нимъ спѣшатъ перевозчики. Къ лодкѣ привязанъ канатъ и конецъ его оставленъ на берегу. Быстро отчалили отъ берега, быстро плывутъ; а сверху на нихъ еще быстрѣе надвигаются ледяныя поля, а ниже ихъ ледъ еле движется. Разстояніе между берегомъ и пловцами—болѣе 150 сажень; канатъ съ лодки опущенъ и тянутъ на берегъ. И въ то же время, въ нѣсколько минутъ, лодка—между льдами; слышенъ шумъ и трескъ льда... Сердце замерло у зрителей; а у лодки творится что-то ужасное; трудно разобрать: отъ рѣзкаго вѣтра глаза застилаетъ. Но вотъ, видно, что перевозчики всѣ—на льду, у лодки; одни рубятъ топорами ледъ у боковъ ея, другіе лодку раскачиваютъ; снова гребцы—въ лодкѣ и ринулись съ нею въ рѣку; дружно работаютъ весла; быстро летитъ лодка; пловцы уже

на срединѣ рѣки... Но вотъ, нѣсколько грудъ льда въ нѣсколькихъ пунктахъ стремятся на утлую скорлупу... Лодка лавируетъ между ними; а Преосвященный стоитъ и осѣняетъ путь крестнымъ знаменіемъ. Вотъ, еще разъ выскочили гребцы на ледъ, рубятъ его, лодку качаютъ, снова вскакиваютъ въ нее; еще нѣсколько дружныхъ взмаховъ веслами и пловцы—за рѣкою... Всѣ вздохнули съ облегченнымъ сердцемъ, всѣ, какъ одинъ человекъ, обнажили головы и набожно перекрестились. Крестился нѣсколько разъ и исправникъ; на глазахъ его слезы и думаетъ онъ: „если-бы и мои дѣтки за рѣкою ждали меня, и я-бы поплылъ“... „Какой-же это, Ваше В-родіе, Архіерей такой смѣлый?—спрашиваютъ мужики,—и ка-



Долина р. Чолушмана.

кая нужда ему такая, чтобы на смерть соваться?“...—„Это, братцы, миссіонеръ; онъ всегда въ такой бѣдѣ живетъ; сердце свое онъ Богу отдалъ; Богъ его и ведетъ теперь, Богъ и хранитъ“.—„Знамо, что—Богъ. А только и старики наши такого Архіерея не видывали; и не токмо что Архіерея, а и попа въ ледоходъ не плавливали“... Возвратившіеся ямщики извѣстили, что до первой станціи за переправой (Варюхиной) тарантасъ Епископа нѣсколько разъ погружался въ ложбинахъ въ вешнюю воду и багажъ былъ подмоченъ. Однако-же Владыка, претерпѣвъ различныя бѣды, въ пути семъ, перебрав-

шисъ еще черезъ нѣсколько рѣкъ, прибылъ къ паствѣ своей возлюбленной въ дни страстной седмицы, какъ и желала душа его...

Теперь онъ въ Горней странѣ; но и оттуда душа его, безконечно любившая Алтай, молится за него и его обитателей у Престола Создателя, сотворившаго міръ и людей, Создателя, любящаго своихъ избранниковъ, однимъ изъ которыхъ былъ Архіепископъ Владиміръ.





Весенній гимнъ.

Огромный старый лѣсъ по горнымъ
исполинамъ
Въ угрюмомъ полуснѣ въ снѣгахъ
стоитъ зимой,
И выше всѣхъ породъ надъ горною
вершиной
Кузук-агаш поднялся вѣковой...

* * *

Лѣсъ слушаетъ, о чемъ рокочутъ
бури,
И ждетъ иной поры, желанье затаивъ;
Онъ грезитъ о веснѣ одинъ: въ снѣгахъ заснули
Всѣ травы и кусты на склонахъ горныхъ гривъ.

* * *

Но это только сонъ: когда дохнетъ въ долину
Весенній вѣтерокъ, и солнце заблеститъ,

Зашепчутся тогда подъ снѣгомъ котловины,
Проснется поросль вся и вновь заговорить...

* * *

Каин распуститъ клейкіе листочки,
Душистый тімырыт вновь зацвѣтетъ тогда;
Терек и толоно свои откроютъ почки,
И бѣлый кой-чечек имъ поглядитъ въ глаза...

* * *

Засвищутъ торчики, алас-ару зальются,
По озерамъ куу большіе будутъ жить...
Прют-аркыши богато разрастутся,
И карлагаши гнѣзда станутъ вить...

* * *

Лѣсъ жадно слушалъ, о чемъ шумятъ потоки,
Какую вѣсть несутъ изъ-подо льда,
Марал и тегәнек уже зацвѣлъ высокій,
И по долинамъ разлилась вода...

* * *

Идетъ великій день—день свѣтлый Воскресенья
Того, Кто въ Свой Алтай прислалъ давно людей
Съ ученіемъ любви, обидъ и зла прощенья,
Пришедшихъ привести къ спасенью дикарей.

* * *

День свѣтлый близится, и въ мглѣ весенней ночи
Тамъ, въ глубинѣ долинъ, раздастся чистый звонъ,
И разгорятся звѣздъ задумчивыя очи,
Какъ звуки долетятъ до нихъ со всѣхъ сторонъ!..

* * *

Прислушаются къ нимъ и горныя громады...
Всѣ цѣпи горныя какъ будто-бы вздохнуть...

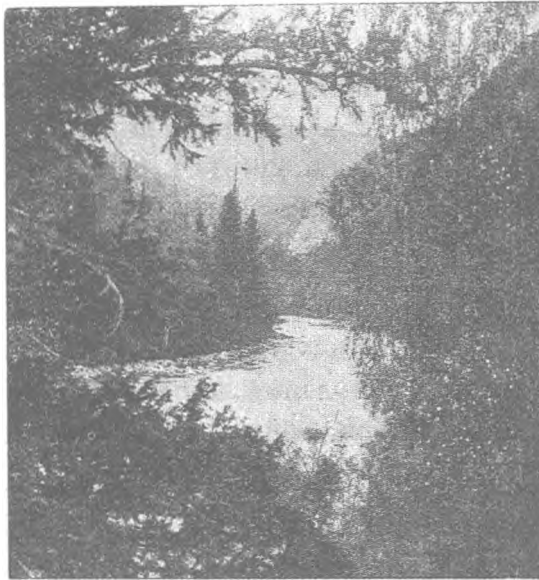
Зашепчутся по кручамъ водопады,
 Съ привѣтствіемъ къ камнямъ аржан-элен прильнуть...

* *
 *

И горныхъ кражей рядъ, кузук-агаш на кручѣ
 Притихли... слушаютъ... весь лѣсъ чего-то ждетъ...
 Лишь рѣки быстрыя бѣгутъ струей могучей...
 И вдругъ, природа гимнъ прекрасный запоетъ!

* *
 *

И горы тоже подхватили пѣнье!
 Въ долинахъ, у людей поютъ колокола...
 Несется отъ земли горячее моление:
 Христось... Христось воскресъ... и съ Нимъ весна пришла.



...Лишь рѣки быстрыя бѣгутъ струей могучей...



Иннокентій, епископъ Бійскій.

Ч у д о.



(Быль изъ миссіонерской жизни).

На крутомъ спускѣ въ долину рѣки Яломана о. Константинъ остановился, любуясь залитою солнцемъ долиной и порослью убѣгавшаго внизъ по скатамъ густого лѣса.

Псаломщикъ поправлялъ торбы, а совсѣмъ еще юный сынъ о. Константина тоже молчаливо любовался долиною, въ этотъ яркій, солнечный день казавшейся ему особенно красивой.

Они ѣхали съ проповѣдью въ аилъ.

Юноша—Иванъ Константиновичъ—любилъ эти поѣздки по дальнимъ аиламъ, любилъ забираться въ глушь, слушать шорохи лѣса и наблюдать его жизнь зоркими темными глазами. Зима въ далекомъ городѣ томила его, привыкшаго къ простору алтайскихъ долинъ, и онъ лѣтомъ отводилъ душу

съ отцомъ, чутко понимавшимъ красоту природы и любившимъ ее.

— Книга Творца—природа вѣчная,—говорилъ онъ сыну, —чудныя картины, Ваня... хороши... Дали-то, дали, погляди: ишь—бѣлки вдали горять на солнцѣ, какъ каменья драгоцѣнные... А тамъ—рѣка лучится лентой золотистою...

— А вонъ—айлы!—оживлялся юноша.

И оба вспоминали долгъ и подгоняли лошадей, чтобы скорѣе добраться до этихъ айловъ, гдѣ ихъ ждали души, тянувшіяся къ свѣту вѣры, который о. Константинъ несъ съ собою.

И сегодня они не долго любовались тутъ, на вершинѣ спуска къ Яломану.

— Въ жару отдохнемъ въ горахъ!—сказалъ миссіонеръ, —а пока торопиться надо въ яломанскіе айлы поспѣть: теперь народъ дома, и есть такіе, которые ждутъ.

Онгудай остался далеко. Яломанъ пѣлъ свою пѣсню, подражая большимъ рѣкамъ Алтая. Слишкомъ ужъ хорошъ былъ край, чтобы не шептаться о немъ говорливымъ струямъ.

И юношѣ Соколову, сыну миссіонера, казалось, что рѣка выговариваетъ ясно:—Красота, красота, красота,—падая съ камней и облизывая каменистые же берега своего русла.

— Вонъ тамъ, какъ въ лѣсъ подниматься,—указалъ о. Константинъ сыну,—такъ и привалъ сдѣлаемъ, чай сваримъ. Хорошо тамъ: лѣсины такія встрѣчаются, что не обхватишь... Ты еще на этихъ склонахъ, Ваня, не былъ. И, главное, близко айлы кругомъ: можетъ быть услышать, что мы станомъ расположились, и подойдутъ, запахъ дыма почуявъ... любопытные, вѣдь, знаешь, алтайцы наши, словно дѣти большія, на все новое глядѣть любятъ... Да и лошадямъ отдохнуть не лишнее: съ ранняго-то утра, поди, верстъ 40 проѣхали.

— Здѣсь и версты-то мѣрять не знаютъ!—скептически сказалъ псаломщикъ.

— А что же мѣрять ихъ?—вѣдь, алтайцамъ это не нужно, а путь миссіонера Господь вѣдаетъ!—откликнулся о. Константинъ;—до того мѣста, что мы отмѣтили, охотники опытные 70 верстъ считаютъ... Теперь за полдень, а мы туда къ закату пріѣхать должны... Пожалуй и правда, что верстъ сорокъ сдѣлали...

— Сюда правъ, повыше, вонъ, гдѣ ручей течетъ въ Яло-

манъ; по нему, видишь, аилы видно далеко—вонъ вправо и влѣво изъ-за деревьевъ береста виднѣется... а какія лиственницы!.. Смотри-ка, Ваня... люблю я лиственницу: красивое дерево. Хороши и сосны, прямые, какъ свѣчи, и ароматные, и кедры красивы могучіе, ну, а лиственница все-таки лучше: ты только посмотри!

Лѣсную тропу, тѣсясь, обступили деревья. Высокіе, могучіе стволы держали тяжелыя короны мягкихъ лиственницъ и пышныя вершины кедровъ они поддерживали, огромныя свѣчи-сосны, разбросавшіяся надъ порослью, и пронизанная солнечными бликами листва позволяла видѣть подножный пейзажъ, мелкую поросль, цѣлыя купы сосенокъ, мхи на скалистыхъ мѣстахъ и богатую яркую зелень травъ и папоротниковъ, перемѣшивающуюся съ кустами малины и цѣпкими ползучими плетями ежевики.

Уходя въ зеленые, поросшіе мхомъ, камни, гдѣ-то въ глубинѣ булькалъ ручей.

За поворотомъ тропы открылась чудная зеленая площадка, отъ которой точно отступили деревья, чтобы дать солнцу приласкать корни огромной лиственницы, шатромъ разбросившей вѣтви своей вершины.

— Вотъ такъ дубъ мамврійскій!—пошутилъ миссіонеръ, —я думаю, намъ двумъ, Ваня, ее не обхватить: какая могучая!.. Сколько ей лѣтъ, поди!.. Какая громадина; ишь куда ушла вершина! Ее если рубить, такъ надо мѣсяць надъ нею трудиться: такое дерево, какъ желѣзо... Хорошо тутъ отдохнуть подъ нею.

И, спѣшившись, путники, немного отойдя, залюбовались красотой горнаго великана.

А лиственница была, дѣйствительно, царицею могучаго лѣса: зеленая и огромная крѣпко и несокрушимо стояла она, царя надъ моремъ вершинъ, точно гордясь собою.

— Корни-то, папа, у ней, навѣрное, туда, къ роднику, уползли!—заглянулъ въ лощину юноша,—такіе же огромные, какъ она!..

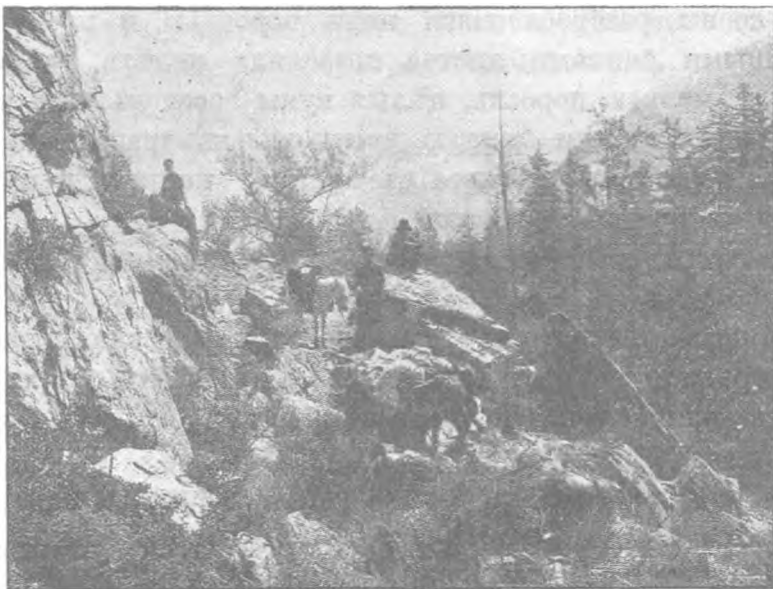
— Что ты задумался, папа?..

— А я думаю—какъ глубоко корни этого красиваго дерева впились въ землю, такъ же впились въ сердца алтайцевъ суевѣрія, и бороться съ ними иногда тяжело.

Онъ задумчиво сталъ вынимать изъ сумы сухари, а сынъ и псаломщикъ живо развели костеръ, на которомъ скоро чайникъ запѣлъ пѣсенку кипящей воды.

День былъ, дѣйствительно, чудный, немного парило, тишина царила въ воздухѣ, точно замершемъ въ истомѣ, такъ что и жужжаніе насѣкомыхъ, и шорохъ бѣлокъ ясно слышался чуткому уху.

О. Константинъ пилъ чай торопливо. Грусть, внезапно



...юноша—Иванъ Константиновичъ—любилъ эти поѣздки... любилъ забираться въ глушь, слушать шорохи лѣса...

охватившая его сердце послѣ пришедшаго ему въ голову сравненія, расла, сердце томилося чѣмъ-то и куда-то рвалось.

Замѣтивъ, что псаломщикъ ловко укладывается подъ тѣнью вѣтвей лиственницы, онъ сказалъ, обращаясь къ нему и сыну:

— А я вотъ что думаю: отдыхать, мнѣ кажется, рано, лучше ѣхать... что-то душа рвется отсюда: никто изъ айловъ не идетъ къ намъ; вѣдь, до одного съ версту не болѣе, да и другой совсѣмъ близко, нѣтъ, видно, желанія... алтайцы чутки, и дымъ отъ костра услышатъ, а разъ ихъ дымъ не привлекаетъ, стало быть они бесѣды не желаютъ... Собирайтесь-ка...

— Ваня, и ты задумался что-то?

Псаломщикъ поднялся неохотно: его манилъ отдыхъ въ

тѣни огромнаго дерева, но все-таки онъ принялся за укладку, и немудрые сборы скоро были кончены.

О. Константинъ еще разъ взглянулъ на лѣснаго великана, и они стали отъѣзжать, говоря о пути.

Точно что-то ухнуло по лѣсу, ухнуло и загрохотало, какъ грозный ударъ грома, и земля словно вздрогнула тутъ подъ ногами, и о чемъ-то зашептался вершинами тоже дрогнувшій лѣсъ, что-то захрустѣло и метнулося въ воздухѣ огромное, и, далеко отдавшись, эти мгновенные звуки заставили путниковъ обернуться и вскрикнуть.

Передъ ними на оставленной площадкѣ уже не высилось гордое дерево, сотни лѣтъ стоявшее тутъ: оно упало, точно подрубленное.

И, подѣхавъ обратно, съ невольнымъ страхомъ миссіонеры взглянули на этотъ поверженный колоссъ.

— Господи,—поблѣднѣлъ псаломщикъ,—придавило бы!.. Царица Небесная!..

Эхо, гудѣвшее тысячами голосовъ, вѣщая о гибели великана, неслоя по горамъ, будя долины.

И еще не замолкли его отголоски, какъ на прогалинѣ на неосѣдланныхъ лошадяхъ и пѣшкомъ стали появляться алтайцы, испуганные, блѣдные, съ ужасомъ глядя на дерево:

— Ай, ай!—толковали они.—Ай, калакъ (тошно)... сто лѣтъ стоялъ, больше стоялъ, давно стоялъ, Галданъ Царека видѣлъ... ой-ой, дерево сильный... еще бы стоялъ долго.. пошто упалъ?!

И они обступили опять спѣшившагося миссіонера.

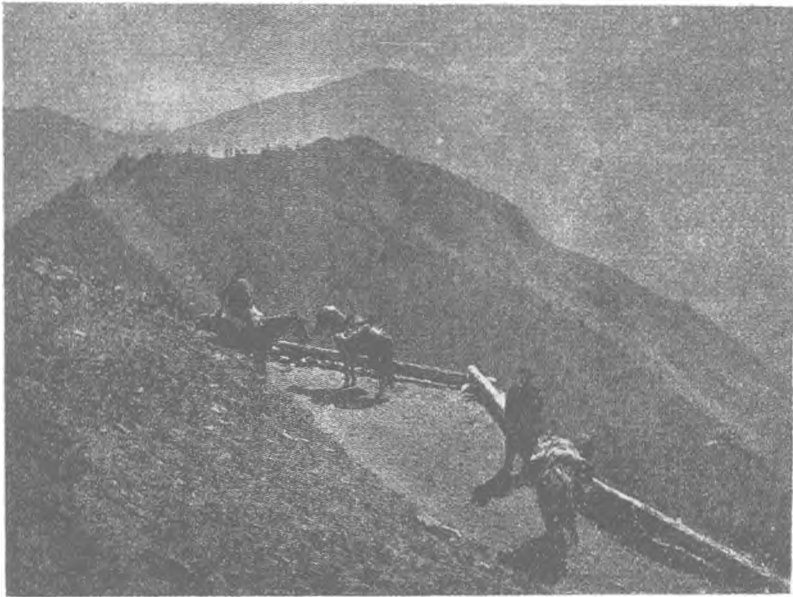
Крестясь широкимъ крестомъ, онъ, немного блѣдный, смотрѣлъ на нихъ, на сына, на дерево, и тысячи мыслей летѣли въ его головѣ, мѣшаясь съ благодарной молитвой объ избавленіи отъ гибели и съ радостной мыслью, что это—Божіе чудо, что такъ же, какъ цѣпкіе корни, вывернутые и оборванные, будетъ оборвано суевѣріе алтайцевъ, что это, видимо знаменіе Бога.

А псаломщикъ толковалъ алтайцамъ о томъ, что они сейчасъ пили и ѣли тамъ, гдѣ теперь лежалъ могучій стволъ.

О. Константинъ подошелъ къ дереву: выше его головы поднималось основаніе дерева, плотно примкнувъ къ землѣ однимъ бокомъ и закрывъ пепелище ихъ стоянки.

Невольная дрожь ужаса прошла по его тѣлу: Ваня, его Ваня, онъ самъ и псаломщикъ лежали бы теперь погребенными тутъ и даже прахъ ихъ истлѣлъ бы, пока люди съумѣли бы убрать эту громаду.

— Вишь, куда упала вершина, сколько сгубила и поломала лѣса!.. И какая сила бросила его? вѣдь и корни здоровые, цѣпкіе и сильные!.. вонъ какая огромная яма обнажилась... Ни вѣтра, ни бури—тишина... О, Господи, вершатся чудеса, Тебѣ Единому вѣдомыя!



... и сегодня они недолго любовались тутъ, на вершинѣ спуска къ Яломану.

А юноша Ваня взялъ его за руку и, указывая на алтайцевъ, взбравшихся сюда, сказалъ:

— Что они говорятъ, папа?.. Послушай...

— Да,—говорилъ какой-то пожилой инородецъ кучкѣ сородичей съ еще блѣдными лицами, косившимися на трепетавшія, безпомощно раскинувшіяся вѣтви,—такъ вотъ они, абызы, ѣздятъ, насъ обращаютъ къ Богу, а курюмесь злится: онъ злой!—опасливо оглянулся инородецъ.

— Злой... Да, да,—подхватилъ другой,—ты, Томашъ, говоришь правду: курюмесь хотѣлъ погубить его—абыза; погляди какое дерево дернулъ, какъ Мангды-Шире (легендарный бо-

гатырь), и бросилъ о землю: да долго собирался: ихъ ак-нэмэ (свѣтлые духи) хранили... Богъ не далъ ему сдѣлать имъ зло: у нихъ большой Богъ и не боится курюмеса, и Кагыра не боится, и Эрліка.

— Да,—сказалъ о. Константинъ взволнованно,—вы правы. Вотъ мы бы теперь лежали тамъ раздавленные, но Господь не захотѣлъ, потому что мы нужны Ему для того, чтобы спасти ваши души, которыя дороги для Господа... Вотъ оно дерево огромное, какъ говорите вы, злою силою брошенное... Смотрите, какіе корни—бревна: минута—двѣ и этотъ стволъ могучій могилой нашей сталъ бы, но Господь не захотѣлъ, понудивъ насъ уйти... Бѣдное дерево, жаль бѣдное и прекрасное дерево!

И ему, дѣйствительно, захотѣлося заплакать надъ этимъ сверженнымъ гигантомъ, чьи вѣтви, зеленныя и чистыя, все еще трепетали, какъ живыя, и чьи обнаженные корни безпомощно и уродливо торчали надъ теплой, рыхлой землей.

Онъ съ трудомъ отвелъ отъ нихъ глаза, чтобы взглянуть въ небо благодарнымъ взглядомъ, и съ глубокой вѣрой остановилъ ихъ на немъ.

Инородцы тихо расходились.

Тѣ, которые были на лошадяхъ, собрались съ ними, и, когда они двинулись, толкуя о случившемся, юный сынъ миссіонера, и самъ онъ еще разъ долгимъ взглядомъ посмотрѣлъ на сверженное дерево, плотно легшее поперекъ площадки.

Снова тишина воцарилась въ лѣсу, такъ же булькалъ ручей, такъ же жужжали осы и жуки, носились пестрыя бабочки, словно не совершилось нежданнаго событія, и только человѣческіе голоса нарушали тишину, говоря о немъ и пересказывая о событіи встрѣчнымъ, спѣшившимъ издали дознаться о грозномъ шумѣ, пронесшемся далеко, о событіи дня и о томъ, какъ посрамилъ Богъ христіанскій ухищренія курюмеса, пожелавшаго отнять ихъ жизнь.

Потомъ нерѣдко, проѣзжая въ долину Яломана горною тропой, миссіонеръ и его молодой сынъ съ волненіемъ объѣзжали гигантскій стволъ, лежавшій памятью о совершившемся, новой, проложенной въ объѣздъ его тропой.

Лиственница потеряла зелень: отъ времени и бурь обломались и отпадали ея вѣтви, но стволъ не могли сокрушить

ни снѣга, ни непогоды, этотъ, точно отлитый изъ желѣза, гигантскій стволъ.

И сейчасъ послѣ долгихъ лѣтъ лежитъ онъ въ глуши на горной тропѣ въ долинѣ рѣки Яломана, огромный, неподвижный и мертвый, не поддаваясь гніенію, какъ память о томъ, что Господь хранитъ своихъ слугъ, и Его ангелы, акнэмэ (свѣтлые духи) идутъ по ихъ пути, отводя на алтайскихъ тропахъ опасности отъ людей, посвятившихъ себя на служеніе Алтаю ради любви къ слабымъ созданіямъ Божиимъ, чьи суевѣрія они твердо надѣются сокрушить съ помощью Господа Бога.





...и Катунь засверкала совсѣмъ близко изъ-за кустовъ береговой поросли...

По аргутской тропѣ.

(Случай изъ жизни еп. Иннокентія Бійскаго).

Горы особенно отчетливо рисовались сегодня на фонѣ темносиняго неба, эти высокія горы, покрытыя то хвоей, то причудливыми извилинами скалъ, выступавшія передъ глазами еще молодого путника въ одеждѣ священника, ѣхавшаго торною тропею вмѣстѣ съ проводникомъ къ быстрой рѣкѣ, сверкавшей внизу тамъ, куда опускалась тропа.

— Благодатный день!—сказалъ онъ по-алтайски спутнику.—Переплыть легко будетъ и вьючнымъ лошадямъ... думаю я только, пройдутъ-ли они аргутской тропею?.. Анча говорить, что трудно.

— Пройдутъ!—меланхолически сказалъ инородецъ, медленно обернувъ голову на лошадей съ перекинутыми на сѣдлахъ сумами.—Пройдутъ... ничего... не бойся, абызъ.

Молодому миссіонеру, большими, голубыми, ясными глазами глядѣвшему на красивую картину горъ и на рѣку въ зеленой каймѣ лѣсовъ, подумалось, что выбирать нельзя иной дороги, кромѣ предстоявшаго и еще неизвѣстнаго пути по Аргуту: его ждали больные, страдающіе и дѣло... развѣ приходилось размышлять надъ дорогою алтайскому миссіонеру? Дѣло было выше опасенія! Да за нѣсколько лѣтъ служенія въ алтайской глуши онъ разучился бояться опасныхъ тропъ, бомовъ и бродовъ, всего того, что можетъ пугать людей, которые не обрекли себя, какъ онъ, на служеніе Алтаю.

Лошади привычной ступью опустились по уклону, и Катунь засверкала совсѣмъ близко изъ-за кустовъ береговой поросли, куда направились путники.

— Тутъ перевозъ есть... кони будемъ плавить, а сами—въ лодку... лодка, вотъ, плохой, совсѣмъ плохой!—мѣшая русскія слова съ алтайскими и коверкая первый, заговорилъ проводникъ.

— Эй, абшіяк (старикъ), эй! абыза надо перевезти скорѣе... эй какой такой глухой? скорѣе, говорю.

Что-то зашевелилось подъ кустами, свѣшивавшимися надъ невысокимъ яромъ, и старикъ, уже пожилой, сѣдой и косматый, вылѣзъ изъ-подъ нихъ, протирая глаза; онъ былъ одѣтъ въ старую одежду изъ шкуръ дикихъ козъ, покрывавшую короткіе, старые, засаленные штаны и синюю грязную рубашку изъ дабы, растегнутый воротъ которой обнажалъ сморщенную загорѣлую грудь. Онъ низко поклонился, протеревъ глаза, и, взглянувъ на священника, спросилъ:

— Куда надо?

— За Катунь,—сказалъ тотъ.—Знаешь дорогу къ Аргуту? Мы туда пробираемся... тамъ скорый путь намъ указали.

Старикъ потрясъ головою.

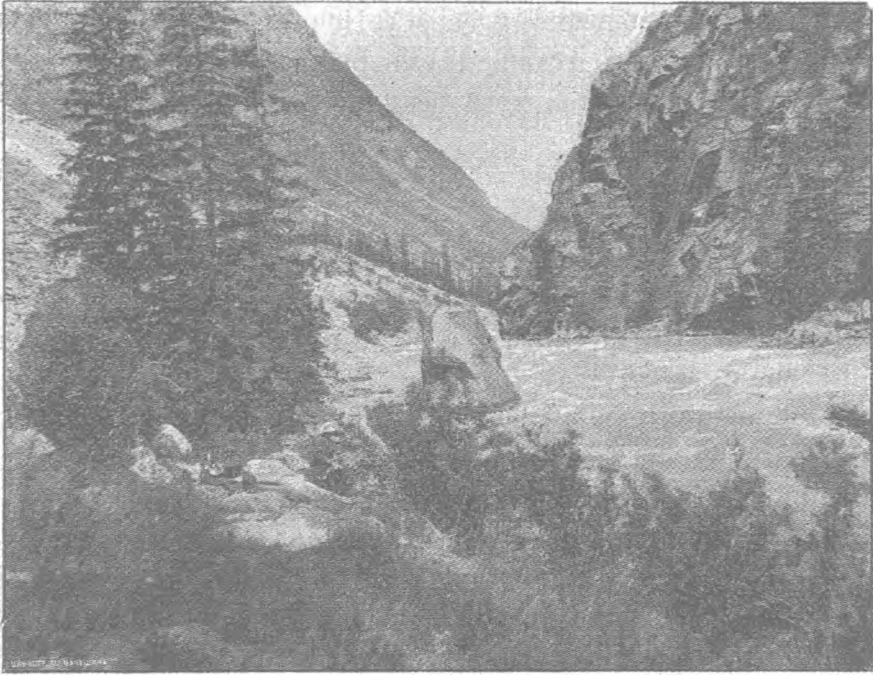
— Худой путь... шибко худой: коню—тѣсно, вьюку—тѣсно, человѣку—плохо...

И внезапно спокойно кончилъ:

— Иди, перевезу!

Катунь, сверкая и пѣнясь, казалась розовой; за малыми порогами въ полуверстѣ было сравнительно тихо: тамъ въ за-

води стояла лодка, при взглядѣ на которую миссіонеръ покачалъ головою. Это было странное корыто, сколоченное изъ досокъ, съ доброй полусотней плохо заткнутыхъ дыръ, имѣвшее какую-то оригинальную, чуть не четверугольную форму, на половину затопленное.



...—знаешь дорогу къ Аргуту? мы туда пробираемся...

— Да, вѣдь, въ ней потонуть можно?—невольно сказалъ онъ. —Она и безъ людей-то воды полна, а сядемъ—подъ воду уйдетъ.

— Ничего, какъ-нибудь, не утонемъ,—сказалъ его спутникъ,—ой, ой!.. Ой, плохой лодка!.. Вотъ онъ ее немножко затычетъ, воду выльемъ и славно переплывемъ... ой, ой какъ славно... тутъ худо совсѣмъ, а такъ—коня снесетъ: ихъ поведемъ за лодкой... ай, какъ плыть? однако, утонемъ!

— Гляди, какіе шести... мы ими работать будемъ!—старался ободрить его миссіонеръ.

— Весломъ работать, руками работать будемъ!—заговорилъ и перевозчикъ, словно обидѣвшійся на недовѣріе къ его лодкѣ.—День... свѣтло... бури нѣту... ну, упадешь, замокнешь, что такѣ? ты плавать умѣешь? лодка худой, а лучше нѣту...може и не утонемъ!

Миссіонеръ невольно улыбнулся надъ этими доводами, которые, медленно выливая какимъ-то грязнымъ черпакомъ воду, вразумительно приводилъ проводнику перевозчикъ. Онъ терпѣливо ждалъ, слѣзши съ коня, и глядѣлъ на цѣпи горъ, стѣснившія рѣку, на вспѣнную воду на порогахъ и на быстрыя, легко ускользящія волны, по которымъ лежалъ его путь къ противоположному берегу. Почему-то невольно вспомнились ему головки дѣтей, двухъ сынковъ, оставленныхъ въ станѣ, и онъ спросилъ, хотя безъ страха, но пытливо:

— Тутъ глубоко?

— А кто ее мѣрилъ!—лѣниво сказалъ проводникъ.—Ногами кони не хватаютъ.

— Не подмочить бы сумы!—озаботился миссіонеръ, стараясь отогнать свои мысли.—Развѣюchte-ка ихъ... Ой, однако на этой скорлупѣ потопимъ вьюки... пусть ужъ лучше съ вьюками лошади плывутъ.

И, поправивъ дарохранительницу на шеѣ, невольно поднялъ глаза на небо, вступая въ лодку, въ которой быстро начала прибывать только что вычерпанная вода.

Они тронулись. Сильныя струи подхватили утлое судёнышко, понесли его и силою загнанныхъ въ воду лошадей книзу.

Старикъ суетливо гребся подобіемъ весла, бросивъ свою медлительность, а проводникъ, крича на лошадей, такъ же суетливо черпалъ воду, сочившуюся по всѣмъ щелямъ ихъ лодки.

— Ай, ай!—кричалъ онъ, натягивая чумбуръ, которымъ были привязаны лошади,—ай, ай, однако пѣгашка персвернется... попалъ въ стрежь... эй, абшіякъ, эй!.. да гребися ты, гребись: къ камнямъ унесетъ... ахъ, ты...

Миссіонеръ хотѣлъ взять у него чумбуръ.

— Я подержу,—сказалъ,—лошадей: помоги ему.

— Нѣтъ, нѣтъ,—суетился тотъ,—гребися лучше, али вотъ черпай, абызъ, а я помогу... говорю, къ камнямъ утянетъ... ахъ, онъ!..

Миссіонеръ усиленно черпалъ воду, ему некогда было глядѣть на окружающую красоту величавыхъ береговъ, на красавицу рѣку и облитыя солнцемъ причудливыя скалы, поросшія вѣковыми лѣсами: они могли каждую минуту удариться о камни, проскользавшіе мимо бортовъ, а выбиться на этой быстринѣ изъ воды было трудно.

Вдругъ проводникъ отчаянно вскрикнулъ:

— Ой, ой, сума, сума!..

И миссіонеръ бросилъ черпакъ на дно лодки, сердце захолонуло у него.

— „Неужели ризница?“

И тутъ же, забывъ объ опасности, свободно вздохнулъ:— „нѣтъ, ризница, слава Богу, на карой лошади, а это сивая попала въ стрежь... сухари намокнуть въ водѣ, чай, сахаръ... ну, это ничего; и каши можно поѣсть хлѣбной... а, вотъ, ризница... миссія такъ бѣдна, что потерять ее для миссіонера бѣда“.

— Скоро? да гребь ты, гребь!.. вотъ направо-то загребайся!—кричалъ проводникъ,—лошади уйдутъ... эй, ты... вѣдь, потонемъ... смотри, до половины хлѣбаетъ лодка...

— Абызь, помогай!

И, наконецъ, общими усиліями направили лодку въ бухту тихой заводи за камнями, едва выбившись изъ быстрого теченія.

— Ай, ай—сокрушался проводникъ,—вмѣсто сухарей-крошки... ай-ай, абызь... завтра домой поспѣемъ, а сегодня что будемъ ѣсть?.. о... о... о.

Онъ, безъ сожалѣнія бросивъ полную воды скорлупу и ея стараго гребца, которому миссіонеръ что-то давалъ, сокрушенно стоялъ, опустивъ голову, у сумы, открытой имъ, гдѣ вмѣсто сухарей и сахару было какое-то мѣсиво, которое онъ, однако, пробовалъ не безъ аппетита.

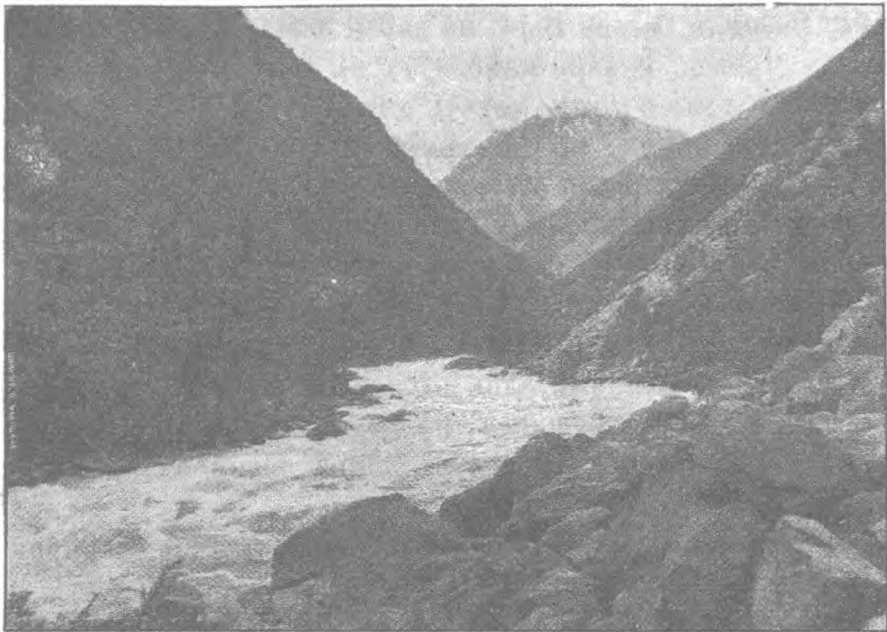
— Вотъ еще на тропѣ какъ пройдемъ?—опять меланхолично сказалъ онъ.—На тропѣ можно ѣхать, и можно летѣть: Аргутъ глубокъ, хуже Катунь дуришь: такая рѣка!.. Гора—высока... да тамъ близко къ мѣсту... ничего, абызь... одинъ упалъ, другой упалъ, а мы поѣдемъ... пусть отдохнутъ кони... тихо поѣдемъ... день большой, путь не долгій... успѣемъ.

И они принялись не торопливо увязывать сумы и вещи и перевьючивать лошадей.

II.

Въ Аргутскомъ ущельѣ царилъ прохлада. Тропа вилась высоко надъ водою, и изъ низу доносился грохотъ бѣшеной рѣки, словно злившейся на свое заключеніе въ каменистые, угрюмые, поросшіе рѣдкой порослью берега. Съ высоты суровыхъ, скалистыхъ и почти голыхъ горъ, покрытыхъ каме-

нистыми осыпями въ глубинѣ, взору чемгула, царствовавшего тамъ, и храбраго человѣка, Аргутъ казался вспѣнной лентой, а вблизи для рѣдкихъ путниковъ—страшной пучиной, чье каменистое и порожищенное русло имѣетъ глубокія воронки, въ которыхъ вода кружилась, словно въ омутѣ, жад-



... изъ низу доносился грохотъ бѣшеной рѣки, словно злившейся на свое заключеніе въ каменистые, угрюмые, поросшіе рѣдкой порослью берега!...

ная вода въ бѣшеномъ стремленіи старавшаяся смыть угрюмые, грозные камни, торчавшіе всюду по ея руслу могучими природными преградами.

О. Константина охватывала жуть при взглядѣ на низину съ тропы, по которой ѣхалъ онъ съ проводникомъ уже часа два; надъ ними то нависали каменные карнизы, то топорщились рѣдкія пихты и мелкій кустарникъ, подъ ними тянулись такія же нависшія скалы, уступами спускавшіяся къ Аргуту, или осыпи, поросшія рѣдкими кустами и травой. Впереди шла лошадь проводника, за нею въючная каряя съ ризницею, потомъ ѣхалъ миссіонеръ, и за нимъ уже шла другая въючная сивая лошадь. Все время мурлыкавшій что-то по алтайски ямщикъ поглядывалъ впередъ и на крутомъ изгибѣ тропы сказалъ:

— Ну, теперь, абызъ, коней пріостанови: я имъ еще подпруги посмотрю... ладно-ли? тутъ шибко худо будетъ: ползетъ осыпь-то.

Они оба внимательно осмотрѣли сѣдла и подпруги, а потомъ, совсѣмъ почти не правя, ввѣрились лошадямъ, изрѣдка понукая ихъ и зорко смотря впередъ, туда, гдѣ за поворотомъ открылись совсѣмъ безлѣсные, поросшіе только цѣпкой травой склоны аргутской пропасти, мрачные, и угрюмые, словно оползавшіе къ грозной рѣкѣ.

Было часовъ шесть. День перешелъ за полдень, все такой же яркій и сіяющій, но мрачное мѣсто не могли скрасить солнечные лучи. Лошади, словно чуя опасность, настожили уши, и миссіонеръ, перекрестившись, невольно заглянулъ въ глубину, туда, гдѣ метался бѣлый Аргутъ по острымъ, отточеннымъ, огромнымъ камнямъ. Осыпи шли крутыми уклонами, и по нимъ извивалась едва замѣтная тропа. Лошади, привычныя къ горнымъ дорогамъ, осторожно соразмѣряли шаги; но какъ ни легко старались онѣ ступать, мелкіе камни все-таки, шурша, катились у нихъ изъ-подъ ногъ, и долго въ тишинѣ ихъ шумъ слышался предостерегающимъ тоскливымъ звукомъ. Проводникъ не оборачивался: онъ медленно двигался, пока тропа не дошла до самаго труднаго мѣста, и лошадь его съ видимымъ трудомъ ползла по откосу, инстинктивно стараясь не дѣлать рѣзкихъ движеній и умѣло справляясь съ ускользавшей почвой, словно уплывавшей изъ-подъ цѣпкихъ копытъ.

— Ай!..

Невольный крикъ слетѣлъ съ губъ миссіонера. Еще бы? Лошадь, шедшая за передней и связанная съ нею, все время лѣпившаяся въ бокъ по откосу, потому что сума, упиравшая въ стѣну откоса, не давала ей идти прямо, вдругъ сдѣлала два-три невѣрныхъ прыжка, теряя почву, и потянулась книзу, скользя и утягивая за собою лошадь проводника; это былъ тяжелый мигъ, но опытная рука держала поводъ передней лошади. Сухой звукъ ременной камчи ¹⁾ отдался въ воздухъ, и передняя лошадь заработала ногами, инстинктомъ почуявъ, что быстротою она можетъ спасти себя и товарища.

Миссіонеръ свободно вздохнулъ, когда увидалъ, какъ скользящая съ сумами лошадь, повисшая почти на уздѣ, тоже заработала ногами съ энергіей отчаянія и, видимо, нащупавъ твердую почву, сдѣлала нѣсколько судорожныхъ прыжковъ и уже свободно перешла опасную осыпь, дрожа мелкой дрожью.

¹⁾ Плетка.

— Постой!—закричалъ проводникъ.—Я отведу ихъ: тамъ, дальше, лучше, а ты, абызь, сивую отвяжи и, какъ я позову, поѣзжай... выше заберешь—ладно будетъ.

Томительныя минуты шли. Отецъ Константинъ отвязалъ чумбуръ у лошади съ кладью отъ своего сѣдла и прочно прикрѣпилъ его; онъ ждалъ, стараясь не глядѣть на откосъ, на тѣ ужасныя 15 сажень, гдѣ тропа, какъ оползень, уходила изъ подъ ногъ лошадей. Сивая лошадь заржала, и ея ржанье показалось ему особенно печальнымъ, но изъ-за угла осыпи послышался голосъ проводника.

— Эй, абызь! эй, гони коня... повыше забирай, чѣмъ я ѣхалъ: сивая не отстанетъ.

Въ головѣ миссіонера понеслись быстрыя мысли, обрывки молитвъ: онъ былъ храбрый человѣкъ, но этотъ путь, который невозможно было теперь миновать, этотъ ужасный путь леденилъ кровь въ жилахъ.

Разъ... два... лошадь ступала робко: ее словно покинула увѣренность; о. Константину хотѣлось взглянуть впередъ, туда, гдѣ слышался съ тропы ободряющій голосъ проводника, но его глаза противъ воли тянуло книзу, къ полосѣ воды, kloкотавшей въ пропасти, рокотъ которой одинъ нарушалъ тишину.

— „Выше... выше!“—билаь мысль въ мозгу.

Но было страшно натянуть поводья; лошадка шагала осторожно и несла его легко.

„Вотъ, сажень или двѣ уже пройдено... еще, еще... болѣе половины“.

И вдругъ они поползли быстро книзу, и камни зашуршали имъ страшную пѣсню гибели.

Священникъ закрылъ глаза.

— Ай... ай!—крикнулъ проводникъ.—Ай, ай... выше! дерни поводъ... камчи ее шаркни... камчи... ай... ай...

И инстинктивно о. Константинъ потянулъ поводъ, не глядя хватая камчи; и ему казалось, что прошелъ не мигъ, не минута, а цѣлые часы, что онъ долго, долго уже ползетъ по этой ужасной осыпи.

Разъ... два... копыта чакнули о скалистый камень; забирая кверху, лошадь съ энергіей забилаь подъ нимъ, дѣлая быстрые, судорожныя прыжки, на секунду приостановилась и опять на секунду поползла, потомъ, сдѣлавъ страшное уси-

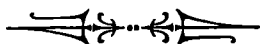
ліе, запрыгала впередъ и, наконецъ, трясаясь всѣмъ тѣломъ, выбралась и на болѣе крѣпкое мѣсто, откуда сама спѣшно понесла своего путника, убѣгая отъ ужаса, оставшагося позади.

Сивая пришла вся въ мылѣ вслѣдъ за нею, видимо и ее не миновала борьба за жизнь; они всѣ все еще осторожно двинулись книзу, гдѣ начиналась скалистая, опасная, но въ сравненіи съ осыпью совсѣмъ удобная тропа, и черезъ часъ миновали всѣ ужасы разбитые, усталые, опустившись въ Карагему, гдѣ ждало ихъ дѣло и болѣе безопасный путь.

— Ну, — сказалъ проводникъ о. Константину, — вотъ такъ тропа!.. есть много тропъ по Алтаю, которыя элікамъ да бунамъ хороши, но этакихъ мало: Аргутъ глядитъ глазомъ вверхъ: — „кого снять?“ мысля... не надо смотрѣть на него, а ты, абызъ глядѣлъ... другой разъ поѣдешь, не гляди... какъ ты покотился, я подумалъ, что тебѣ конецъ... ой, не надо шутить съ Аргутомъ: ему бы только жертвы, абызъ-ли, простой-ли человѣкъ — все равно: схватить и разобьетъ... я тебѣ давно сказать хотѣлъ на Катунѣ еще, когда насъ этотъ абшіякъ чуть не утопилъ, что рѣдко на этомъ бому не бываетъ жертвы, а мы съ тобой и безъ жертвы ушли! — прибавилъ онъ хвастливо.

Миссіонеръ его не слушалъ, онъ задумчиво глядѣлъ передъ собою, невольно переживая то, что видѣлъ, и ему подумалось, что ангелъ смерти коснулся его крыломъ сегодня, близко пролетая надъ Аргутскою пропастью, и только чудомъ сохранилась его жизнь, можетъ быть для этихъ задумчивыхъ горъ и медлительныхъ суевѣрныхъ людей, которымъ онъ долженъ былъ служить и на благо которыхъ полагать жизнь, не признавая личной безопасности и счастья.

Солнце уходило, и долины наполнились мглой, тихія долины прекраснаго, но дикаго края, любимаго его душой, учившейся презирать опасности, которыя ждали его и въ будущемъ отовсюду, подобныя пережитой. И онъ задумался, глядя на небо синее и глубокое, гдѣ когда-нибудь и его будетъ ждать награда за весь его, незамѣтный для другихъ, трудъ отъ справедливаго и милосерднаго Бога.





Сергий, епископъ Херсонскій.

Лѣстница.

(Б Ы Л Ъ).

„То было раннею весной...”

Гр. А. К. Толстой.

Залитая солнцемъ степь, мѣстами, въ балкахъ, еще оснѣ-
женная, съ цѣлыми длинными серебристо-бѣлыми полосами
ковыля и съ темными пятнами рѣдкихъ киргизскихъ могилъ
уходила далеко—далеко, до задумчивой горной цѣпи, надъ
которой тонкими изгибами рисовалась Аир-тау, сверкая ослѣ-
пительной бѣлизной снѣга, лежавшаго въ ея глубокихъ ко-
товинахъ.

Весна въ этомъ году была ранняя, и на Ооминой недѣ-
лѣ, т. е. 28 марта, о. Сергія *) потянуло въ степь. Она дав-

*) Бывшій Шульбинскій миссіонеръ, нынѣ епископъ Новомиргородскій.

но манила его своей таинственностью и просторомъ, и онъ часто любовался линіей синихъ горъ, виднѣвшихся на горизонтѣ, когда выходилъ за поселокъ и думалъ о томъ, что тамъ, за этими вершинами, навѣрное, хорошо.

О. Сергій любилъ природу: у него была мягкая душа, тянувшаяся къ красотѣ Божьяго міра, душа поэта и мечтателя, а подъ монашеской рясой билось молодое сердце, чуткое, любящее и доброе. Немного выше средняго роста, красивый, серьезный, съ большими, темно-сѣрыми глазами и мягко очерченнымъ ртомъ, умный, образованный, умѣвшій быть въ обществѣ, племянникъ извѣстнаго миссіонера архіепископа, онъ удивилъ всѣхъ, когда ушелъ въ монашество, и изумилъ близкихъ и знакомыхъ еще болѣе, уѣхавъ въ глушь, почти на границу, гдѣ сталъ дѣятельнымъ миссіонеромъ, отдававшимъ всѣ силы простому и темному люду. О немъ въ свое время много говорили, но, какъ водится вездѣ, забыли за житейскими заботами, правда, не всѣ: иногда въ глухой Шульбинскій поселокъ приходили письма отъ сильныхъ міра: писалъ туда и Антонъ Павловичъ Чеховъ, и другіе люди, міру вѣдомые и знаемые, но эти письма пролетали, какъ дуновение вѣтра надъ молодою головой, полною своихъ думъ и заботъ, пролетали и уходили за повседневными заботами: далекихъ людей онъ старался забывать, чтобы мысль о нихъ и о прошломъ не мѣшала дѣлать дѣло пастырскаго служенія.

Въ понедѣльникъ и вторникъ на Фоминой седмицѣ о. Сергія особенно охватили пастырскія заботы: онъ молился съ прихожанами объ усопшихъ, служилъ молебны на выгонъ скота и хотя тянулся на проповѣдь въ степь, но день отъѣзда отложился до 7-го апрѣля.

Тарантасъ стоялъ у воротъ. Былъ яркій день; такіе дни съ небомъ безъ отмѣтки, горячіе и томительные, бываютъ только въ Азіи, и о. Сергій, выйдя на крыльцо, спѣшилъ проститься съ окружавшими его сосѣдями-прихожанами.

Онъ уже хотѣлъ сѣсть въ тарантасъ, какъ изъ-за угла сосѣдняго дома показался верховой, страшно гнавшій лошадь. Онъ подѣхалъ къ толпѣ и, быстро соскочивъ, подалъ о. Сергію письмо.

— Вотъ,—сказалъ о. Сергій окружавшимъ его людямъ, быстро пробѣжавъ письмо,—пишетъ мнѣ изъ Семипалатинска

протоіерей Рождественскій, что Томскій епископъ Макарій выѣхалъ въ Семипалатинскъ и меня приглашаетъ туда... Какъ же теперь быть съ поѣздкою въ степь?...

Прихожане на минуту задумались, но тотчасъ же стали подавать совѣты.

— На Ренки надо ѣхать,—сказалъ одинъ,—въ Барнаульскій уѣздъ, и на Солоновку...

— Да, такъ и мы думаемъ!—раздались голоса.—Тамъ, по берегамъ этихъ рѣчекъ, также киргизы кочуютъ, а оттуда, батюшка, можно проѣхать на Бельагачскую степь и ею въ Семипалатинскъ: и мѣста повидашь—и въ Семипалатну вовремя поспѣешь. Благодати, тепла-то Господь даетъ: путь тебѣ будетъ добрый! Ступай съ Богомъ. Въ добрый часъ!...

О. Сергій, разспросивъ подробно о пути, сдѣлалъ такъ, какъ ему говорили, и отправился черезъ село Жерновку по указанному пути.

Вся освѣщенная солнцемъ дорога вилась длинною лентой, около нея зеленѣла трава, звенѣли ручьи и чирикали какія-то птицы въ низкорослыхъ, уже начавшихъ опушаться, кустарникахъ.

— Благодать!—говорилъ казакъ-возница.

А о. Сергію почему-то вспомнилась гранитная набережная Москвы, огромныя зданія, университетъ, гдѣ онъ былъ такъ еще недавно, и среди простора полей все это представилось далекимъ, туманнымъ сномъ, видѣннымъ въ юности.

Въ Жерновкѣ его встрѣтилъ привѣтливо мѣстный священникъ о. Теодоръ Олеровъ: сосѣди-пастыри всѣ давно интересовались молодымъ Шульбинскимъ миссіонеромъ, и о. Теодоръ былъ радъ видѣть его.

Угостивъ трапезой, онъ направилъ путника въ большое село Бородулиху, гдѣ посовѣтовалъ остановиться на ночлегъ у церковнаго ктитора Потапа Ѳоминыхъ, похваливъ его, какъ человѣка умнаго и сердечнаго.

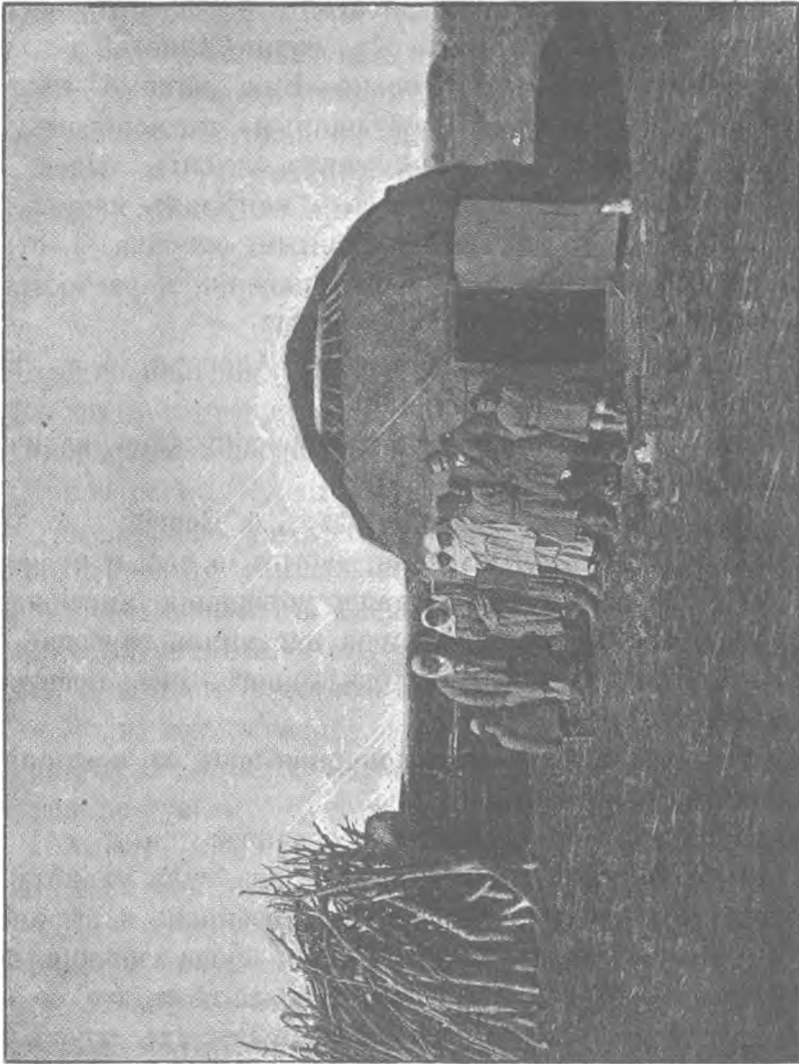
О. Сергій такъ и сдѣлалъ.

Потапъ, дѣйствительно, оказался умнымъ, сердечнымъ и словоохотливымъ собесѣдникомъ, а также очень радушнымъ хозяиномъ.

Въ Бородулихѣ въ это время строилась церковь.

— Богъ благословляетъ дѣло наше,—говорилъ онъ о

Сергію.—Господь и знаменіе послалъ: рой пчелъ на оградѣ церковной привился. Всѣ у насъ говорятъ: „признакъ добрый!“... А вы подумайте, батюшка, у насъ тутъ, въ деревнѣ, киргизъ живетъ съ семействомъ, такъ и онъ пожертвовалъ



...у насъ тутъ, въ деревнѣ, киргизъ живетъ съ семействомъ...

на церковь хлѣбомъ и деньгами... Хорошій киргизъ, обрусѣлъ тутъ между нами, и даже креститься ему предложъ, такъ онъ однако окрестится.

Миссіонеръ оживился.

— А если бы его сюда позвать?—попросилъ онъ хозяина,—хотѣлось бы мнѣ побесѣдовать съ нимъ.

И хозяинъ поспѣшилъ исполнить желаніе гостя.

Киргизъ пришелъ охотно.

Онъ съ виду былъ похожъ на русскаго крестьянина, хорошо говорилъ по-русски, наружность у него была симпатичная, только глаза слезились и казались воспаленными.

Миссіонеръ усадилъ его и сталъ бесѣдовать сперва о дѣлахъ житейскихъ, а потомъ объ ученіи Христа.

Киргизъ слушалъ внимательно. Ему, видимо, нравился образъ Христа, прекрасно обрисованный миссіонеромъ. Онъ жадно слушалъ, какъ Христосъ училъ любить людей, какъ Самъ любилъ ихъ, творилъ чудеса и исцѣлялъ недуги. Они оба, и хозяинъ и онъ, стали грустными, слушая о страданіяхъ Христа ради человѣческаго спасенія, и растроганный хозяинъ сказалъ, обращаясь къ киргизу:

— Вотъ и тебѣ надо креститься, Алексѣй, а то что за жизнь некрещеному? тьма одна!...

— Онъ, батюшка, человѣкъ-то хорошій: жаль, коли душа его погибнетъ...

— Господь зоветъ,—мягко сказалъ о. Сергій.

И началъ убѣждать Алексѣя, забывъ о снѣ и отдыхѣ.

Алексѣй долго молча слушалъ убѣжденія миссіонера и также молча собрался домой, когда наступила глубокая ночь.

Но о. Сергій его не отпустилъ одного: снѣ пошелъ съ нимъ до его жилища.

Была прекрасная, немного холодная ночь съ осыпаннымъ яркими звѣздами небомъ.

Указывая на звѣзды, монахъ говорилъ:

— Тамъ, за ними, есть жилище Бога, туда уходятъ всѣ, когда кончается жизнь, всѣ христіане, любившіе и вѣрившіе... Неужели тебя не тянетъ туда?.. Всякая душа должна понимать красоту Божію. Подумай, когда глаза тѣхъ, кто не знали Бога, закроются, они не уйдутъ выше звѣздъ: ихъ ждетъ тьма, вѣчная тьма и тоска.

— Дай подумать,—сказалъ Алексѣй мягко, кладя руку на руку о. Сергія.—Вотъ, постой, рожь сожнемъ, къ Петрову дню она поспѣетъ,—потомъ траву скосимъ, пшеницу уберемъ, овесъ... а тамъ, пожалуй, я и окрещусь... Погоди, батюшка, дни идутъ, идутъ скоро, глядишь—недѣля, глядишь—мѣсяць

—весна пройдетъ, лѣто, а осенью, когда зазеленѣетъ отава, я креститься стану... Подождешь?..

— Подожду,—сказалъ о. Сергій съ грустью.—Только напрасно ты откладываешь: можешь захворать, а я въ степи буду далеко... или ты уйдешь въ степь, и священника близъ тебя не будетъ...

Но Алексѣй остался при своемъ убѣжденіи.

На утро о. Сергій уѣхалъ изъ Бородулихи, торопясь туда, гдѣ ждала его встрѣча съ любимымъ епископомъ, чей примѣръ болѣе всего подвигъ его на путь монашества и миссіонерства.

II.

Прошло полгода.

Въ концѣ сентября, совершая служебную поѣздку, о. Сергій опять побывалъ въ Бородулихѣ.

Стояла осень. Кусты уже желтѣли, и золотыя нити паутины тянулись по нимъ, предвѣщая сухую и теплую погоду.

Народъ почти убрался на пашняхъ, и, конечно, о. Сергій не преминулъ зайти къ Алексѣю.

Алексѣй встрѣтилъ его какъ-то странно: онъ былъ и радостенъ и немного разстроенъ.

— Вотъ, вотъ, спасибо, что пришелъ... я ждалъ: тутъ мои всѣ креститься хотятъ, согласны: жена, дѣти, всѣ... учились молиться по-русски... Крести ихъ, батюшка...

— А ты?—живо спросилъ миссіонеръ.

Алексѣй опустилъ глаза.

— Ихъ крести,—сконфузился онъ.—Я подумаю... подумать дай... я скоро...

Миссіонеръ не сталъ настаивать: колосъ, видимо, не созрѣлъ для жатвы, и онъ, съ грустью въ сердцѣ, оставивъ главу семьи, принялся учить молитвамъ и наставлять въ вѣрѣ семью Алексѣя, которую и окрестилъ, съ тайною надеждой, что повседневное вліяніе христіанъ-дѣтей принесетъ благіе плоды и для Алексѣя.

— Вы, батюшка,—говорили о. Сергію крестьяне,—далеко не уѣзжайте: Алексѣй креститься не замедлитъ: онъ давно хочетъ этого... Мы и понять не можемъ, что съ нимъ.

Но миссіонеру, у котораго были полныя руки дѣла, не приходилось ждать, и, наставивъ новокрещенную семью въ вѣрѣ, онъ уѣхалъ въ Шульбу, гдѣ его ждала паства.

Слова сельчанъ Бородулинскихъ сбылись скоро.

Разъ, въ началѣ октября, когда осень стала первыми утренниками морозить поздніе цвѣты въ казачьихъ огородахъ поселка Шульбинскаго и сдѣлала золотою листву тополей на островахъ, разбросанныхъ по быстрому Иртышу, въ субботу, послѣ всенощной пріѣхалъ Алексѣй, какой-то новый, ясный и радостный, съ просьбою окрестить его.

У о. Сергія была большая работа на рукахъ, но онъ радостно выслушалъ своего гостя и поручилъ его псаломщику и переводчику, а потомъ, окончивъ дѣло и прочитавъ правило, пришелъ посмотреть на новое пріобрѣтеніе.

Алексѣй спалъ тихо и мирно, и усталый, но радостный миссіонеръ, успокоенный немного холодною ночью, долго ходилъ по разсаженному имъ саду и думалъ о душѣ человѣческой и ея тайныхъ изгибахъ, вѣдомыхъ только одному Творцу.

Утромъ его рано подняла забота.

Придя въ церковь, онъ увидѣлъ, что не приготовлено полубочье для крещенья.

— Почему?—спросилъ онъ у старосты, Михаила Меркурьевича.—Въ чемъ же мы крестить будемъ Алексѣя?

— Простите, батюшка, вы все въ степи съ проповѣдью были: давно здѣсь не крестили никого... не доглядѣлъ я, а полубочье-то и разохлось...

— Но какъ же быть съ Алексѣемъ-то?—заволновался о. Сергій.

— А окрестите въ Иртышѣ,—посоветовалъ староста.

— Что ты?—испугался о. Сергій.—Теперь осень, холодно: простудиться можетъ онъ...

Но староста только усмѣхнулся.

— Ну, киргизы—народъ крѣпкій: у нихъ каждый словно молоткомъ сбитъ, они и зимой въ воду лазаютъ. Что ему сдѣлается, батюшка?!

— Да когда же успѣть? До обѣдни, вѣдь, надо, а на Иртышъ идти далеко, ему причаститься нужно. Тутъ бы я его окрестилъ сейчасъ, а за обѣдней пріобщилъ, а то послѣ обѣдни сегодня мнѣ, ты знаешь, ѣхать нужно. И окрестить

могу я только на паромѣ, ждать же до завтра и служить обѣдню не могу, потому что замедлю отъѣздъ.

— А онъ, батюшка, въ Жерновкѣ причастится,—сказалъ староста,—на обратномъ пути, а пока ты обѣдню служишь, мы все изладимъ, чтобы его на паромѣ окрестить... Да и день къ тому времени обогрѣетъ: ясный, вишь, какой всталъ...

Его доводы убѣдили о. Сергія, и онъ совершилъ литургію спокойно.

Тѣмъ временемъ на паромѣ-самолетѣ все было приготовлено къ крещенію.

Иртышъ въ томъ году страшно обмелѣлъ, отъ берега шла длинная гать (насыпь) до парома.

Отецъ Сергій, совершая требы, думалъ объ Алексѣѣ.

— „Спрыгнетъ въ воду съ парома, ну, а какъ изъ воды идти? Нагому идти далеко, да и холодно“...

И тутъ жѣ распорядился, чтобы изъ его квартиры трапезникъ принесъ лѣстницу и снесъ ее на паромъ.

Алексѣй, ничего не зная о всѣхъ этихъ распоряженіяхъ, внимательно, стоя на паперти, смотрѣлъ на служеніе, слушалъ пѣніе, и глубокая дума шла по его лицу.

Крещеніе было торжественное: народъ стоялъ по отмели и молился.

День, совсѣмъ лѣтній, облилъ Иртышъ солнечнымъ свѣтомъ, но осеннее солнце плохо грѣло воду; и, когда о. Сергій погружалъ новокрещеннаго Алексѣя въ быстрыя струи Иртыша, онъ задрожалъ и хотѣлъ карабкаться на паромъ, но миссіонеръ сказалъ, указывая на приготовленную заранѣе лѣстницу:

— Вотъ лѣстница: иди по ней.

Алексѣй такъ и сдѣлалъ, пріостановившись только на мигъ.

На лицѣ его было какое-то новое выраженіе умиленной, свѣтлой радости, а изъ глазъ, которые были ясны и не слезились, бѣжали тихія слезы.

И онъ, когда о. Сергій окончилъ крещеніе, сказалъ, хватая миссіонера за руку:

— Что я вспомнилъ, какъ на лѣстницу поднимался!.. сонъ какой!..

О. Сергій, видя волненіе Алексѣя, увелъ его къ себѣ, и онъ еще дорогой торопливо принялся рассказывать свой сонъ,

забытый и воскрешенный въ ту минуту, когда его глаза увидѣли лѣстницу, приставленную изъ воды къ парому.

— Это, батюшка, тогда было, когда ты мою семью окрестилъ и изъ Бородулихи уѣхалъ... сонъ тогда я увидѣлъ: будто я лежу на днѣ глубокой, глубокой ямы съ крутыми берегами, выбраться хочется, а силы нѣтъ, и знаю я, что не будетъ мнѣ возможности сдѣлать это, и такъ тяжело мнѣ стало, точно камнемъ грудь завалили, просто силы терпѣть не было... Но, вотъ, вижу, точно просвѣтлѣло надо мною, вижу человѣкъ въ одеждѣ бѣлой стоитъ и говоритъ:

— „Вотъ лѣстница: иди“...

И на лѣстницу показываетъ.

Кинулся я къ ней и полѣзъ кверху быстро, быстро, вылѣзъ, такая радость у меня на сердцѣ сдѣлалась!.. Такъ я и проснулся въ радости, чаю пить не сталъ, пошелъ къ тамырамъ-крестьянамъ и спрашиваю ихъ, что мой сонъ значить? — всѣхъ обходилъ, а они всѣ мнѣ, какъ одинъ, отвѣчаютъ:

— „Это Ангелъ хранитель кажетъ тебѣ путь въ Церковь Христову, чтобы ты крестился... Крестись“...

— Прошла недѣля; у меня сердце не терпитъ; осѣдлалъ я лошадь и поѣхалъ; заѣзжаю въ Жерновку къ о. Θεодору, рассказываю ему сонъ мой—опять, неразумный, пытаю, что мой сонъ означаетъ,—а онъ меня тоже спрашиваетъ:

— „Да ты куда ѣдешь“?...

— „Къ батюшкѣ, о. Сергію—говорю—въ Шульбу“.

Онъ мнѣ и говоритъ:

— „Ну и поѣзжай съ Богомъ: на пути ты на настоящемъ!“...

Бду я и думаю, что приѣду къ тебѣ, батюшка, и ты мнѣ, какъ слѣдуетъ сонъ объяснишь; ѣхалъ, ѣхалъ, задумался о томъ, о семъ, и сонъ мой вышелъ изъ памяти, вылетѣлъ изъ головы, какъ дымъ изъ трубы, и молчалъ я вчера, потому что даже на память мнѣ ничего не взметнулось, точно и не было сна никакого: ни вечеромъ вчера, ни утромъ сегодня ничего мнѣ въ голову не пришло, и вспомнилъ я сонъ мой только сейчасъ, на паромѣ, какъ сказалъ ты мнѣ: „вотъ лѣстница: иди“... Какъ я лѣстницу увидѣлъ и на тебя посмотрѣлъ: ты въ ризѣ бѣлой наверху, отецъ мой, того

свѣтлаго напомнилъ, и лѣстница, твоя лѣстница—мою... И вотъ мою голову словно освѣтило...

И Алексѣй заплакалъ.

О. Сергія охватило волненіе.

Дѣйствительно, сбывшійся сонъ былъ замѣчательнъ для этой души, спасенной для вѣчности.

Онъ усадилъ своего гостя и, глядя на его радостное просвѣтленное лицо, почувствовалъ, что и въ его сердцѣ родилась большая и свѣтлая радость за эту спасенную душу.

А Алексѣй радостно говорилъ:

— И во время, вѣдь, оглашенія въ голову ничего не шло, а тутъ ты меня еще смутилъ передъ крещеніемъ: сталъ оглашать по киргизски; мнѣ обидно стало: я думаю—вѣдь я въ русскую вѣру перехожу, зачѣмъ говорить буду по киргизски? и тебѣ сказалъ, что по-русски говорить буду, даже, осердился на тебя немножко... А какъ ты меня спросилъ, проклиная ли я Магомета, я промолчалъ: это около меня темные духи ходили... Молчу, а сердце тоска давитъ: думаю, всѣ его наши почитаютъ, какъ же я отрекуся и его проклянѣю... А ты опять меня спрашиваешь:

— „Проклинаешь ли Магомета?“...

— У меня, прости, слово сорвалось:—„какъ же, батюшка, все же онъ пророкъ былъ Божій!“...

— А ты мнѣ:

— „Стало быть, тебя крестить нельзя: одно говори что-нибудь,—Христосъ или Магометъ, свѣтъ или тьма“...

И сталъ меня учить.

— И съ каждымъ твоимъ словомъ тьма отходила, таяла, какъ снѣгъ подъ солнцемъ весною таетъ, и, когда ты спросилъ опять, проклиная ли я Магомета, меня точно кто по сердцу стукнулъ и я закричалъ:

— Проклинаю, проклинаяю!!..

— И мнѣ его толкнуть захотѣлось отъ себя... А потомъ, когда лѣстницу увидѣлъ, слезы сладкія литься стали... Да, это Христосъ мнѣ сонъ послалъ.

И о. Сергію было радостно слушать рѣчь своего прозелита, котораго онъ крестилъ во славу Господа Бога..

Тихій закатъ горѣлъ пожаромъ, окрашивая въ оранжевые цвѣта тонкое марево облаковъ на западѣ. Звенѣли мелодич-

нымъ звономъ колоколицы, вечерній, легкій туманъ начиналъ кутать Иртышъ. Холодало, но ночь обѣщала быть волшебнокрасивой, и сейчасъ уже, пока еще блѣдная въ куполѣ сянго неба, чуть намѣтилась первая вечерняя звѣзда.

Лошади тихо бѣжали по степной дорогѣ.

Степь тянулась длинною полосой, окруженной на горизонтѣ причудливыми силуэтами далекихъ горъ, еще мѣстами зеленѣющая поздней отавою, ковыль, пронизанный свѣтомъ заката, купался въ золотисто-розовыхъ тонахъ, и такъ хороша была эта картина, что глаза о. Сергія, не отрываясь, глядѣли на нее любующимся взглядомъ.

— Горы-то дальнія, точно лѣстницы, поднимаются и въ небо уходятъ, сказалъ толмачъ, ѣхавшій съ нимъ.

— Чистые контуры,—промолвилъ о. Сергій.—Нѣтъ такой чистоты у людей, какъ въ природѣ... задумчивая прелесть, красота одна... Если бы не люди, которымъ мы нужны, ушелъ бы туда на вершины лѣстницъ этихъ, къ Богу, къ небу ближе, да нельзя: надо выводить по лѣстницамъ земнымъ такихъ, какъ Алексѣй.

И задумался, любуясь угасающимъ вечеромъ, глядя на темнѣющее небо, на которомъ звѣзды вспыхивали и разгорались одна за другой, задумался о вѣдомомъ одной его чуткой душѣ, можетъ быть, о томъ, какими небесными лѣстницами уходятъ въ высоту неба его избранники, туда, выше звѣздъ, въ Царство Божіе, гдѣ иная, вѣчная красота и гдѣ ждетъ алчущихъ и жаждущихъ правды награда за подвигъ жизни.





Въ Алтаѣ.

(Памяти о. Стефана Ландышева).

Словно зачарованные вѣтвистые кузук-агаши глядѣли съ уступа въ долину, сверкающую милліардами блесковъ подѣ блѣднымъ чистымъ сіяніемъ луны. Алтай, точно заколдованный, ослѣпительно сверкалъ въ эту ночь, будто осыпанный драгоцѣнными камнями, и оснѣженные горы особенно ярко выступали причудливыми линіями на фонѣ темнаго, глубокаго зимняго неба. Вѣтра не было, и снѣжинки сырыя, мягкія и пушистыя облѣпили хвою пышнымъ уборомъ. Какъ въ сказочномъ царствѣ стояли лѣса, и красавецъ ак-іік (олень), слегка откинувъ украшенную вѣтвистыми рогами голову, задумчиво глядѣлъ умными красивыми глазами на эту картину, прекрасную, совершенную и чистую.

Въ самой глуши была эта долина. Сюда не проникали миссіонеры, сюда не заѣзжали купцы. Въ ней, въ самой ея глубинѣ, жилъ только Чотпоръ, старый отшельникъ Чотпоръ, боявшійся людей, особенно бѣлыхъ, и его маленькій правнукъ Койонъ (заяцъ), названный такъ за умѣнье быстро бѣгать на лыжахъ.

Старикъ Чотпоръ считался ярынчі (ворожащимъ на костяхъ), и къ нему ходили люди, но за послѣднее время онъ пересталъ ворожить и превратился въ созерцателя, наслаждаясь міромъ своей долины и уча Койона своему закону. Цѣ-

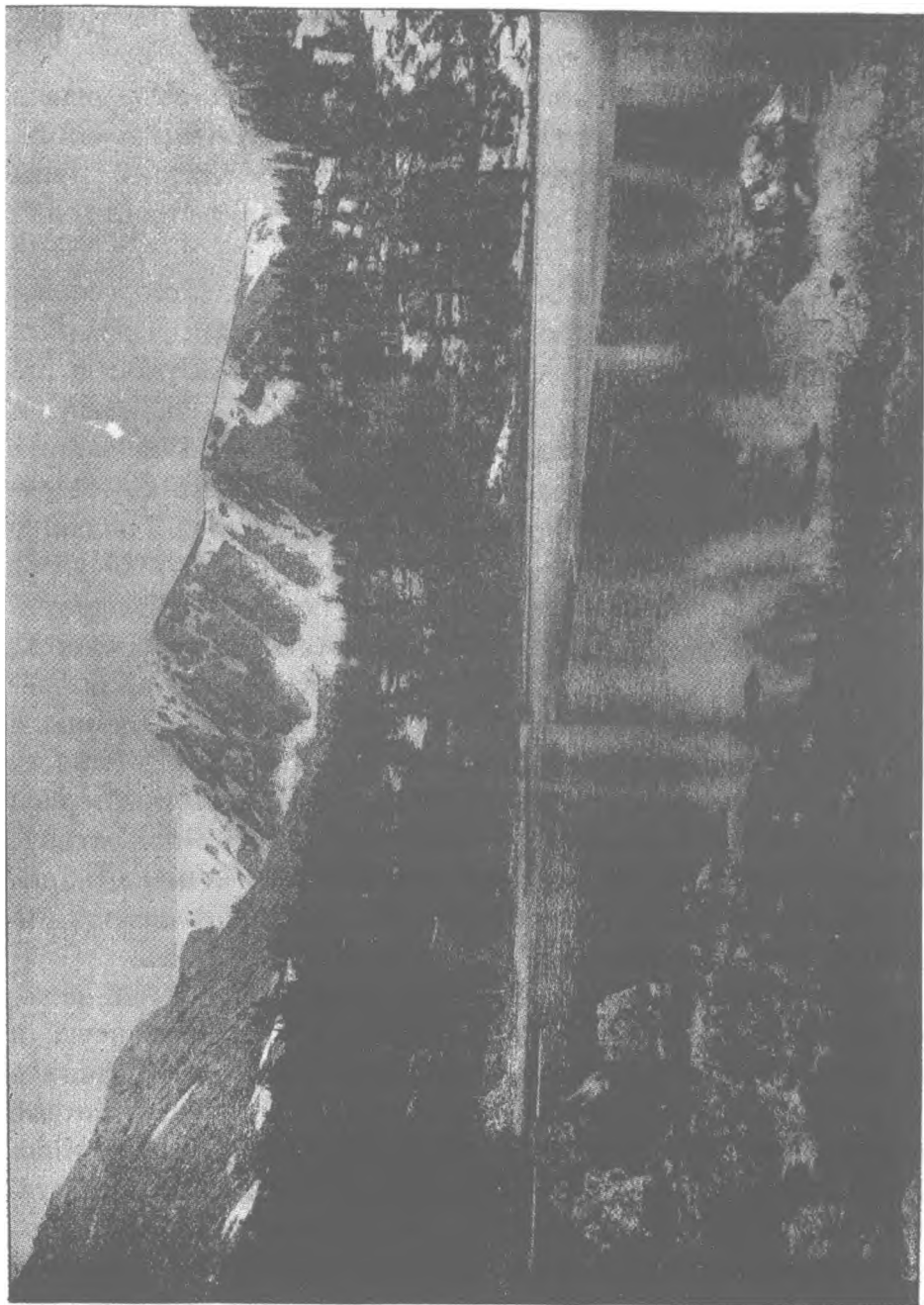
лыми часами онъ разсказывалъ правнуку о древнихъ богатыряхъ, о Тенгере-Тедыгечі (небо-заключителѣ), о жестокомъ Шар-Жаалты, о богатырѣ Мормо и о томъ времени, когда, послѣ смерти Ойрот-хана, Алтай перешелъ въ подданство русскихъ. Онъ училъ его пѣснямъ старины и передавалъ ребенку все, что зналъ самъ, съ любовью и терпѣніемъ, находя въ Койонѣ послушнаго и любознательнаго ученика. Въ



... Въ самой глуши была эта долина. Сюда не проникали миссіонеры, сюда не заѣзжали купцы.

двѣнадцать лѣтъ мальчикъ умѣлъ отлично находить дичь и питать себя и дѣда. Въ ихъ юртѣ, спрятанной въ скалистомъ уступѣ, было тепло, и всегда весело трещали дрова, въ которыхъ не было, конечно, недостатка. Нѣсколько козъ давали имъ молоко, умѣя и зимой найти себѣ пропитаніе, и они жили въ любви и мирѣ, кроткіе и добрые, поклоняясь своимъ богамъ.

Въ эту прекрасную зимнюю ночь они оба—и дѣдъ и внукъ—не спали, томимые заботой другъ о другѣ. Еще съ утра у нихъ потерялась одна изъ козъ, и Койонъ пошелъ, надѣвъ лыжи и взявъ старое ружье, на поиски ея. Ушелъ и не вернулся къ ночи, какъ дѣлалъ всегда, и старика брала



... и долго безмолвно онъ, ребенокъ и собака глядѣли на волшебную красоту долины, затерянной въ горахъ, и ослепленной снѣгами...

забота о правнукѣ всю прошлую ночь и сегодняшній день. Шель густой снѣгъ, былъ сильный туманъ, и кухта пала на деревья, только къ ночи вызвѣздило.

— „Не забрелъ ли Койонъ куда? Вѣдь, хотя онъ и знаетъ дорогу, но онъ такъ малъ, а лютые звѣри таятся въ трущобахъ Алтая, карауля неосторожнаго!“

Старое сердце Чотпора ныло и томилося, и, выбравшись изъ камней на уступъ, онъ глядѣлъ узкими, все еще зоркими, несмотря на старость, глазами въ залитую свѣтомъ луны сверкающую долину и чутко слушалъ, не раздастся-ли лай собакъ ушедшихъ съ Костомъ.

А ночь торжественъ я прекрасная стыла, замораживая мокрую кить. Чудно красивы и причудливы были деревья въ этомъ уборѣ, но мимо взора его проходила эта красота. Вдругъ онъ насторожился: далеко раздался лай, чуть слышный, и эхо принесло его къ Чотпору. Старикъ, сидѣвшій на камнѣ съ трубкою въ своей теплой шубѣ и странной шапкѣ, встрепенулся и усмѣхнулся радостно. Койонъ возвращался. Торопливо сойдя съ камней, онъ прошелъ къ жилищу, набралъ хворосту и, отворивъ деревянную дверку своей керегѣ, (рѣшетчатой юрты), похожей на хлѣбный скирдъ, обтянутый старой кочмою, бросилъ на огонь свѣжаго хвороста, что заставило пламя весело подняться къ верху туда, гдѣ зіяло отверстіе дымнаго выхода. Два козленка, привязанные на чумбурѣ, заблѣяли, проснувшись, и пламя освѣтило немудрый скарбъ просторной керегѣ, въ которой лежали 23 сумы, и, подалѣе отъ стѣнъ, ближе къ огню, стоялъ коробъ изъ бересты съ ячменемъ, накрытый полукругомъ, сдѣланнымъ изъ цѣльнаго дерева, съ тонкими стѣнками и дномъ: имъ просѣвали толканъ.

На полукругѣ лежало рѣшето изъ сыромятной кожи, исколотое шиломъ; дальше лежали мѣшки изъ кожи барсука и другихъ звѣрей и домашнихъ животныхъ, таганы, котель о трехъ чугунныхъ ножкахъ и чашки изъ корня березы. Котель старикъ придвинулъ къ огню, положилъ въ него снѣгу и поставилъ на огонь; потомъ, придвинулъ къ себѣ бастанъ (рубчатый камень), посыпалъ на него ячменю и, растеревъ, всыпалъ въ котель, поставивъ на огонь другой котелокъ для чая; доставъ сушеную баранину, онъ положилъ кусокъ ея въ вареву, все время чутко слушая.

Лай слышался совсѣмъ близко. Въ нерушимой тишинѣ ночи слышались и голоса, которые заставили насторожиться старика.

— „Чужіе!“

Къ его юртѣ въ эту сверкающую ночь шелъ чужой гость, вмѣстѣ съ внукомъ, и старикъ вышелъ встрѣтить его, потому что свято чтить завѣты старины и считалъ гостепріимство добродѣтелью, сохранившейся во всемъ Алтайѣ. Въ свѣтѣ мѣсяца онъ увидалъ группу изъ трехъ человѣкъ, двухъ собакъ и одной лошади, на которой сидѣлъ одинъ изъ трехъ, а его внукъ шелъ рядомъ съ небольшимъ человѣкомъ, чье молодое лицо смотрѣло любующимся взглядомъ на красоту долины и горъ.

Узкая борода, красивые, ясные, свѣтлые глаза, большія и умныя черты лица и мягкая улыбка подъ заиндивѣвшими небольшими усами понравились Чотпору, онъ распахнулъ передъ пришельцами досчатую дверь керегэ и помогъ снять съ лошади тихо стонавшего человѣка.

— Они заблудились, дѣдъ,—объяснилъ Койонъ,—и лошадь человѣка убилась, а этотъ абызь далъ ему свою. Я нашелъ ихъ далеко за сзеромъ,—назвалъ онъ мѣсто.—Этотъ сильно расшибся и не могъ ѣхать... да имъ и далеко... Вотъ я и привелъ ихъ ночевать, хотя абызь и горюетъ, что не попалъ домой: у нихъ сегодня большой праздникъ.

— „Абызь?“

Старый язычникъ поднялъ голову.

— Абызь?—медленно прошепталъ онъ.

И они вмѣстѣ съ этимъ абызомъ удобно уложили на кочмы ушибленнаго, хорошо говорившаго по алтайски, человѣка.

— Ой!—стоналъ онъ.—Ушибъ или сломалъ я ногу? Внуку твой, старикъ, говорилъ, что ты умѣешь лѣчить.

— Садитесь, батюшка, вы изъ-за меня намотались, а все эта кить виновата съ туманомъ. Никогда я не блудилъ. Вотъ такъ годъ новый встрѣтить гдѣ пришлось.

— Не горюй, Ташкиновъ... пустяки! Обо мнѣ горевать некому, а твои знаютъ, что мы можемъ запоздать; могутъ подумать, что больной, котораго напутствовали, померъ, и мы остались изъ-за него. Давай-ка я сниму съ тебя пимы. Спроси хозяина, что онъ думаетъ о твоей ногѣ? Какъ жаль, что я еще плохо знаю по алтайски.

Онъ давно снялъ съ себя шубу и, оставшись въ стеганномъ подрясникѣ, заботливо разувалъ своего спутника, а старый Ярынчі Чотпоръ внимательно ощупалъ ногу.

— Пертык-сынык! — сказалъ онъ и сейчасъ же принялся за леченье.

Онъ умѣло забинтовалъ въ лубки кость, сложивъ ее подъ стоны больного, и обложилъ ногу снѣгомъ, потомъ досталъ изъ сумы небольшую частицу корня травы од-эленъ (огненная трава), которую рѣдкіе знали и мало находили, и далъ съѣсть больному, приказавъ внуку разварить рыбій клей въ маленькомъ таганчикѣ.

— Ты будешь его пить! — сказалъ онъ больному и съ поклономъ пригласилъ абыза попить чаю и поѣсть варева, приготовленного имъ для внука, что тотъ сдѣлалъ, не отказываясь.

Больной притихъ. Забинтованная нога и снѣгъ помогли и утишили боль. Ему только не хотѣлось спать и онъ заговорилъ:

— Тебя зовутъ Чотпоръ?.. А мы съ абызомъ изъ К—а... — назвалъ онъ станъ по русски. — Онъ — священникъ, а я — переводчикъ. Ъздили исповѣдывать... торопились домой: сегодня новый годъ у насъ наступаетъ, дорогу выбралъ я краткую, да кить и подвела: въ туманѣ сорвались въ ущелье. Лошадь убилась до смерти, а я сломалъ ногу. Это счастье еще, какъ я не убится. Дороги не знаемъ; если бы не твой внукъ, старикъ, совсѣмъ бы плохо было.

Чотпоръ сочувственно качалъ головою.

— Койонъ завтра выведетъ абыза, а я, видно, еще у тебя полежу! — грустно говорилъ Ташкиновъ — Нога ѣхать не дастъ... да и не на чѣмъ. Абызу нельзя: служба большая.

— Развѣ онъ лѣкарь? — спросилъ Чотпоръ, вынимая трубку.

— Лѣкарь! — сказалъ больной, усмѣхаясь, и перевелъ священнику слова.

Тотъ улыбнулся, положивъ руку на плечо сидѣвшаго около него Койона.

— Лѣкарь! — сказалъ онъ. — Да, я лѣчу души. У тебя тутъ хорошо, Чотпоръ!.. на улицѣ тихо; можно открыть входъ; смотрите, какая ночь чудная, и въ юртѣ будетъ лучше, свѣжѣе!

— Тебѣ не трудно говорить, Ташкиновъ? Мнѣ бы хотѣлось поговорить со старикомъ и ребенкомъ. Переводи имъ мою рѣчь. Я буду говорить медленно и останавливаясь.

И мягкимъ прочувственнымъ голосомъ, подойдя къ отверстію, онъ заговорилъ.

— Да. Прекрасенъ міръ Божій. Тишь какая! Новый годъ

идеть, а вы тутъ въ пустынь, простые сердцемъ, дитя и старецъ, встрѣчаете его, дѣло милосердія творя, принимая странниковъ, заблудившихся, помогая больному, и мнѣ захотѣлось, служителю Господа, красоту эту сотворившаго,—указалъ онъ на долину рукою,—сказать вамъ благодарность глубокую и пожелать, чтобы Онъ, Господь милосердія, коснулся вашихъ сердецъ. Вы никогда о Немъ не слыхали, не слыхали о Его жизни, о Его святомъ ученіи, о Его милосердіи ни ты, дитя, ни ты, старецъ. Это было давно. Все это, весь міръ сотворилъ Онъ. Эти чудныя горы, это небо и звѣзды, и насъ людей, жившихъ во злѣ и неправдѣ. И когда зло усилилось на землѣ, Онъ кинулъ небо и пришелъ къ намъ говорить о любви. Какъ хорошо Онъ училъ, цѣлилъ болѣзни, воскрешалъ умершихъ, творилъ всякія чудеса. Но Его не влюбили злые люди и убили, положивъ на крестъ и вбивъ гвозди въ руки и ноги. Передъ этимъ они мучили Его, но у Него было столько любви въ сердцѣ, что Онъ молился за нихъ. Черезъ три дня Онъ воскресъ. Воскресъ и ушелъ на небо, а все Его ученье состояло въ томъ, чтобы мы любили другъ друга, какъ сами себя. Койонъ бросилъ поиски своей козы и помогъ намъ, приведя насъ подъ кровь свой. Ты, Чотпоръ, сотворилъ намъ милосердіе, и я еще разъ зову на твое жилище благословеніе моего Христа Бога всего міра и этой прекрасной страны, Который любитъ тебя и видитъ твое милосердіе.

Ташкиновъ передавалъ хорошо: онъ отлично владѣлъ языкомъ Алтая, и слова священника въ тишинѣ звучали силою, касаясь языческой души. Для Койона же они звучали откровеніемъ. Онъ всталъ отъ огня и приблизился къ священнику робко, несмѣло взявъ его руку, тогда какъ старикъ сидѣлъ, глядя на огонь, и слушалъ, держа во рту не раскуренную трубку. Священникъ взялъ дѣтскую, закопченную, смуглую руку своей теплой и мягкой рукою и, притянувъ его къ себѣ, указалъ на небо:

— Къ тебѣ и твоему дѣду послалъ меня Христосъ, полюбившій васъ,—сказалъ онъ.—Ты любишь эти звѣзды, небо и горы, а старикъ Чотпоръ любитъ тебя... всѣхъ же любитъ Богъ. Тамъ мы всегда будемъ жить. У меня тамъ все за этими звѣздами... тамъ—дѣти Чотпора, тамъ твои мать и отецъ у Бога. Знаешь, Койонъ, мнѣ иногда въ такія ночи кажется,

что небо открывается и видятся бѣлыя тѣни ангеловъ, помощниковъ Бога, и тѣни умершихъ нашихъ отцевъ и тѣхъ, кого мы любили. Я думаю, что Богъ, полюбившій душу, не оставитъ ее, думаю, что ты придешь туда черезъ горы въ мою долину по тому пути, какъ я тебѣ рассказывалъ дорогою, чтобы еще разъ поговорить со мною о Христѣ, который тебя



Макарій, епископъ Томскій, нынѣ митроп. Московскій.

любить, а можетъ быть,—прибавилъ онъ,—тогда ты лучше меня расскажешь дѣду о всемъ, что услышишь.

Больной тихо простоналъ, кончивъ рѣчь, и священникъ торопливо нагребъ снѣгу за дверью и обложилъ его ногу съ помощью поднимавшагося старика.

— Скажи ему, Ташкиновъ, пусть онъ ляжетъ. Мы и такъ принесли ему безпокойство. Я самъ похожу за тобою.

Старикъ согласился не сразу: онъ сказалъ, что привыкъ спать мало, но все-таки легъ по настоянію своего гостя. Уснулъ и Ташкиновъ, успокоенный компрессами, и священника потянуло на воздухъ изъ прокопченной юрты. Онъ тихо вы-

шелъ въ сопровожденіи одной изъ собакъ и остановился на первомъ уступѣ, заглядѣвъшись на сверкающую долину. При свѣтѣ онъ взглянулъ на часы, они показывали полночь.

— Новый годъ! Что принесетъ онъ съ собою для людей этой мирной долины?

И точно въ отвѣтъ ему снѣгъ скрипнулъ за нимъ и раздались робкіе шаги. Мальчикъ подошелъ къ нему и опять, какъ въ юртѣ, взялъ его за руку.

— Я приду!—показалъ онъ за перевалы оснѣженныхъ горъ и повторилъ твердо и ясно:—Я приду.

Священникъ понялъ. Онъ молча привлекъ къ себѣ крѣпкую фигурку въ теплой шубѣ и ласково-ласково взглянулъ на дѣтское, полное мысли, умное, скуластое личико, привлекательное и свѣжее, несмотря на копотъ, покрывавшую его, и долго безмолвно онъ, ребенокъ и собака глядѣли на волшебную красоту долины, затерянной въ горахъ и осыпанной снѣгами, въ которой они, соединенные судьбою, встрѣчали пришедшій новый годъ, далекіе отъ людей, среди красоты, тишины и мира, вмѣстѣ съ кузук-агашами на крутыхъ выступахъ и ак-ііками среди лѣса, въ долинѣ, подъ торжественнымъ сіяніемъ мѣсяца и звѣздъ.





...Тихо шелеститъ вѣтвями липовая роща.

МИЛОСЕРДНЫЙ.

(Памяти протоіеря о. Василія
Вербицкаго).

I.

Тихо шелеститъ вѣтвями липовая роща, осыпанная цвѣтомъ; пчелы гудятъ, собирая медъ. Солнце съ синяго весенняго неба обливаетъ горячими лучами огромную пасѣку, съ рамчатыми ульями, съ полянками, засѣянными медоносными травами, съ душистыми полевыми цвѣтами, пробирается свѣтлымъ лучомъ въ маленькую бесѣдку и озаряетъ лицо высокаго старика, сидящаго тамъ надъ раскрытой книгой. Это—хозяинъ пасѣки—одинокій старикъ миссіонеръ, самъ насадившій это рѣдкое въ Сибири, растущее только въ Кузнецкой тайгѣ, дерево—эту липовую рощу, самъ устроившій обширную пасѣку.

Это—красавецъ старикъ, съ длинной серебристой бородой, тонкими чертами лица и глазами добрыми и прекрасными, немного грустно смотрящими на Божій міръ. Всю жизнь одинъ, въ ранней молодости потерявшій все, что было ему дорого: жену и сына, цѣлую жизнь принесшій на служеніе дикарямъ. А сколько она сулила ему, молодому, талантливому эта—догорающая теперь—жизнь? Миссіонеръ глубоко задумался.

— „Безплодно-ли прошла она?“—эти мысли часто приходятъ ему въ голову.—„Видно, смерть близко, видно, расчеты нужно кончать съ жизнію, итоги подводить, чтобы без-



Прот. В. Вербицкій.

трепетно стать передъ престоломъ Того, Кто воздастъ каждому по дѣламъ. Ничего особеннаго не сдѣлалъ, никакого подвига!“—тихо шепчутъ его губы.—„Господи, Господи, только надѣюсь на одну милость Твою!“

Этотъ смиренный старикъ забылъ то, что сдѣлалъ и дѣлаетъ, евангельски забылъ въ простотѣ своего много страдавшаго и любившаго сердца. Ему не вспоминается его прошлая жизнь, молодость, пережитыя муки и первые шаги въ миссіи, не вспоминаются непроходимыя дороги, борьба со стихіями, переносимые холодъ, зной и утомленія, истощавшіе его организмъ. Куда уходили его деньги, сравнительно небольшія, но всетаки, при его малыхъ потребностяхъ, составлявшія сумму, объ этомъ бы сказали новенькія избушки инородцевъ, лишняя лошадь, уплоченный за выбивавшагося изъ силъ въ работѣ человѣка долгъ, радостныя лица ребятишекъ при видѣ

лакомствъ и сластей, даваемыхъ имъ. И такъ всю жизнь, всю жизнь для другихъ! а онъ—не помнилъ этого!

Сегодня ему было особенно грустно въ тишинѣ его любимой пасѣки. Интересная книга любимого автора не интересовала почему-то и, вставъ, онъ вышелъ изъ бесѣдки и сталъ ходить подъ липами, поднимая порою задумчивое лицо къ синѣвшему сквозь просвѣты вѣтокъ теплomu майскому небу.

— Батюшка!

Робкій дѣтскій голосокъ окликнулъ его. Онъ звучалъ до-вѣрчиво и просительно. Старикъ быстро оглянулся: изъ-за плетня, окружавшаго со всѣхъ сторонъ рощу, на него глядѣло дѣтское личико мальчика инородца. Старикъ улыбнулся ему.

— Чего тебѣ, милый?

— Меня мамка послала къ тебѣ. Я въ домѣ былъ, да меня сюда не пустили: „отдыхаетъ“, говорятъ, а я—сюда.

— И хорошо сдѣлалъ... Чего нужно-то, говори!

— Мамка велѣла сказать, что у ней братъ хворааетъ, раны на немъ, гной...—никто ходить не хочетъ за нимъ, а отъ него духъ идетъ. Мамка сама тоже лежитъ... плачетъ, говоритъ: „иди къ батюшкѣ, скажи, можетъ, придетъ, поможетъ“. Я—къ тебѣ... твоему Николаю сказалъ, а тотъ: „убирайся, отдыхаетъ!“

— Ладно, милый, погоди здѣсь... сейчасъ я. Онъ гдѣ лежитъ, дядя-то твой?

— Въ землянкѣ около насъ... тамъ подъ яромъ, около рѣки.

— Жди тутъ, я все принесу, что нужно, и пойдемъ. А къ дому не ходи: мы тутъ черезъ заплоть и вмѣстѣ лѣсомъ до берега.

Священникъ быстро пошелъ къ дому и черезъ 10 минутъ показался снова въ аллеѣ, съ узелкомъ въ рукахъ и свѣтлой соломенной шляпой на головѣ. Онъ съ трудомъ перелѣзъ черезъ заборъ и, взявъ за руку мальчика, спѣшно зашагалъ межъ деревьевъ перелѣска, окружавшій со всѣхъ сторонъ маленькій миссіонерскій станъ.

Въ землянкѣ было душно, и отвратительно пахло разлагающимся заживо трупомъ. Войдя, миссіонеръ оставилъ за собою открытой маленькую дверь, распахнулъ настежъ крохотное оконце, но все таки голова его начинала кружиться, и ему сдѣлалось дурно отъ спертаго воздуха. Но онъ пере-

силилъ себя и, весь поблѣднѣвъ, склонился къ досчатой кровати, на которой, разметавшись, лежалъ еще молодой алтаецъ.

— Алексѣй, узнаешь меня?—окликнулъ онъ того.

— Узнаю, батюшка. Охъ, смерть моя, видно... жжетъ меня... тошно мнѣ...

— Богъ милостивъ!—и священникъ наклонился къ его ногамъ.—Отчего ты не посылаешь за мной давно?

— Все бился, думалъ—лучше... Старикъ лѣчилъ, сказывалъ—„волосецъ попалъ и ходитъ, отъ этого и раны на ногахъ“, а теперь дня три духъ идетъ, и жаръ огнемъ жжетъ меня. Старикъ бросилъ ходить: „не могу, говоритъ, душа не терпитъ“. Я все одинъ, батюшка, пить даже некому подать, а умирать не охота тутъ. Теперь весна: горы-то зеленныя, рѣки быстрыя шумятъ, а я лежу.

И онъ заплакалъ. Свободолюбивая душа инородца не могла выносить этого мрака землянки. Тамъ, на зеленыхъ горахъ, на просторѣ, на воздухѣ онъ бы легче умеръ, смотря тускнѣющими глазами на любимую природу; и миссіонеръ понималъ это.

— погоди, вотъ я обмою тебѣ ноги, одѣну тебя въ чистое и перенести людей позову. У меня въ домѣ хорошо: горы видно, лѣсъ, Кондома близко—шумъ изъ окошекъ слышенъ, а птицы въ саду такъ поютъ, что спать тебѣ давать не будутъ.

— О, батюшка!

И исхудалыя руки, схвативъ руку священника, поднесли ее къ горячимъ губамъ.

— Лежи, лежи смирно. Гдѣ же мальчуганъ Ваня? Убѣжалъ? Ахъ, онъ этакой. Постой, я за водой схожу... есть у тебя что? Вотъ, нашель.

И миссіонеръ, взявъ маленькое желѣзное ведро, сходилъ къ рѣкѣ, вымылъ его и, взявъ воды, опять вернулся къ больному. Развертѣлъ его ноги, завернутыя въ вонючія лохмотья, открылъ и ужаснулся, хотя ничѣмъ не выдалъ своего волненія: ноги до колѣнъ опухли и были багровы, кое-гдѣ выше къ колѣну поднимались бѣлые пузыри, ниже, на почернѣвшей кожѣ были раны, съ какой-то кашеобразной, гноевидной массой вмѣсто тѣла, мѣстами просвѣчивали кости, и отъ этихъ ранъ шелъ ужасный смрадъ.

— „Гангрена!“

Миссіонеръ сразу опредѣлилъ болѣзнь, да и не трудно это было сдѣлать; а живой трупъ вопросительно глядѣлъ на него, и жажда жизни свѣтилась въ его темныхъ, лихорадочно горѣвшихъ глазахъ.

— Богъ поможетъ!—тихо сказалъ миссіонеръ и принялся осторожно обмывать ноги принесенной водой.

Онъ намочилъ чистыя, бѣлыя тряпки, захваченныя изъ дому, и промылъ всѣ раны, потомъ другія тряпки намочилъ найденнымъ въ захваченной съ собой аптечкѣ камфорнымъ масломъ и завертѣлъ этими тряпками ноги больного. Кончивъ перевязку, снялъ съ больного лохмотья и бережно одѣлъ въ принесенное чистое бѣлье и, послѣ всего, вымывъ руки, умылъ ему лицо и помочилъ голову, а потомъ, едва владѣя собой,— такъ у него кружилась голова отъ этого ужаснаго запаха!— сказалъ, что пойдетъ за людьми, которые перенесутъ, Алексѣя въ его домъ.

II.

Часы тихо тикаютъ на стѣнѣ; шумитъ самоваръ на большомъ столѣ: привѣтливо свѣтитъ большая лампа; лунная ночь смотритъ въ открытыя окна; вѣтки черемухи врываются въ комнату, осыпанныя бѣлыми цвѣтами, и своимъ ароматомъ наполняютъ ее. И въ сосѣдней комнатѣ тоже отворены окна —чистому воздуху свободенъ входъ, притокъ его великъ, и однако ни онъ, ни ароматъ черемухи не можетъ заглушить ужасный запахъ разлагающагося трупа, уже дѣнь пять наполняющій этотъ домъ. Теперь онъ скоро исчезнетъ: тотъ, кто его внесъ съ собою, пересталъ жить и лежитъ спокойный и холодный на большомъ столѣ въ комнатѣ, сосѣдней съ той, въ которой накрытъ чай. Около него миссіонеръ; всѣ эти дни онъ не отходилъ отъ больного дни и ночи. Бѣдному такъ не хотѣлось умирать, до самой смерти жажда жизни томила его.

— Подними меня, батюшка, горы поглядѣть. Рѣка шумитъ тамъ... гдѣ она?... не вижу?!

И священникъ поднималъ его исхудалое тѣло, подносилъ даже къ окну, а тотъ жадно глядѣлъ на любимую панораму горъ и лѣсовъ, на синія волны Кондомы.

— Батюшка, охъ, тяжело мнѣ! охъ, не хочу умирать... жить хочу, батюшка.

— Живи, милый; смотри, какъ хорошо кругомъ, а тамъ, на небѣ, тоже хорошо: ни тоски, ни страданій, ничего тамъ нѣтъ, одна радость. Смотри, какое оно синее, прекрасное, а звѣзды какія ночью!.. любишь ихъ? Всѣ вы алтайцы звѣзды любите, души чуткія у васъ къ природѣ, а ты вотъ все грустишь, о земномъ печалишься!.. Мы, милый, выше этихъ звѣздъ будемъ и жалѣть станемъ тѣхъ, кто здѣсь на землѣ останется. Смотри: нужда, землянки кругомъ, и свѣчекъ-то нѣту въ нихъ тутъ ночью зажечь, а тамъ—звѣзды сіять намъ будутъ неугасимыя.

Больной стихалъ, слушая его, и покорно ложился на кровать, о чемъ-то глубоко задумываясь. Онъ и умеръ такъ, задумавшись, уже не чувствуя боли въ омертвѣлыхъ ногахъ, такъ и ушелъ навсегда въ царство покоя, гдѣ вѣчно свѣтятъ страдальцамъ неугасимые небесные огни.

Миссіонеръ самъ обмылъ его, самъ одѣлъ, заботливо наравалъ своихъ лучшихъ цвѣтовъ, зацвѣтшихъ уже, которые онъ ранней весной выращивалъ въ маленькой тепличкѣ, и осыпалъ ими мертвое тѣло. Онъ самъ и читалъ надъ покойнымъ, потому что никто не могъ выносить запаха трупа. Завтра его похоронятъ, а сегодня усталый и ослабѣвшій миссіонеръ не могъ читать и сидѣлъ около покойнаго такъ, хотя открытый псалтирь лежалъ у него на колѣняхъ.

— „Господи!“—думалъ онъ, смотря на ночное небо, усыпанное звѣздами.—„Слабость-то человѣческая! и почитать не могу—послѣдній долгъ отдать усопшему бѣдному. Что скажу Господу на судѣ Его, когда Онъ спроситъ? Обязанности своей не могъ исполнить... вся жизнь прожита, а добра никакого; никакого поступка самоотверженнаго... а Онъ велѣлъ полагать душу свою за други своя. Господи милостивый, одно только у меня оправданіе: никогда я сознательно не сдѣлалъ никому зла!“

И, поднявъ голову, священникъ долго смотрѣлъ въ открытое окно, съ глубокой вѣрою глядя на осыпанное звѣздами высокое вѣчное небо, гдѣ, онъ вѣритъ, ждетъ его другая жизнь, полная чего-то несказанно-прекраснаго, которую онъ страстно ждетъ и желаетъ давно.



Миссіонеръ.

(Памяти о. Василия Ландышева).

Нѣтъ больше той любви,
какъ кто душу свою положить
за друзей своихъ.

I.

— Покончили?
— Давно, батюшка... тебя ждемъ!..
— Стремена крѣпки? подпруги всѣ
осмотрѣли?..

— Все, какъ есть!.. чумбуръ отвязали, какъ ты велѣлъ, чтобы не запутался; теперь ѣхать можно.

И сѣдой казакъ-толмачъ, возившійся около лошадей, вмѣстѣ съ тремя инородцами, поднялъ голову кверху, гдѣ на площадкѣ, подъ скалою, стоялъ священникъ, еще не старый, невысокаго роста полный блондинъ съ красивымъ профилемъ и выпуклыми ясными и быстрыми голубыми глазами.

— Ну, двинемся!.. давай Сивку: я на него сяду!..
— Нѣтъ, для тебя, батюшка, я Каряго: а этотъ—мнѣ: онъ молодой; боюсь, на скачкѣ не сплеховалъ бы!..

— Этакъ онъ и подъ тобой тоже сплехуетъ!.. нѣтъ, Федорычъ: я рѣшилъ ѣхать на немъ...

И привычнымъ движеніемъ схватившись за луку сѣдла, онъ уже сидѣлъ на конѣ красиво и свободно, словно такъ и родился наѣздникомъ.

— А все-же,—сказалъ казакъ,—осторожниѣе надо: бома эти постылые еще ничего, а вотъ ловушка—боюсь я ее! и, вѣдь, идолы—лѣсу мало имъ, что-ли? сдѣлали бы мостъ маломальскій, бревна прикрѣпили.



— Къ камнямъ-то?—улыбнулся священникъ,—однако ты трусишь, Ѳеодорычъ! тогда-бы въ объѣздъ ѣхалъ!...

Старикъ осердился.

— „Въ объѣздъ!“ а когда доѣдешь въ объѣздъ-то?.. трусомъ-то я никогда не былъ!.. а все-же, что Бога искушать?!

— Я пошутилъ, вѣдь!.. смотри—красота какая; не сердись, а гляди, душа храбрая! вѣдь, мы тутъ на горахъ этихъ точно буны пробираемся; поди изъ низу посмотрятъ—не разглядятъ... а хорошо, старина? вѣдь, любишь все это?.. сердце-то у тебя мягкое, даромъ что угрюмый такой!..

Передъ ними внизу дѣйствительно было чудно хорошо: долина вся тонула въ зелени, залитая солнечнымъ свѣтомъ; рѣка казалась серебряной лентой; горы мягкими синеватыми линіями поднимались повсюду; все сливалось... въ общемъ, казалось, тамъ, глубоко была не долина, а цѣлое зеленое море съ островами въ видѣ горъ; а они, эти пятеро людей, на маленькихъ крѣпкихъ коняхъ, лѣпились высоко, почти подъ облаками, на обрывистой тропинкѣ каменистаго бома; надъ ними висла скала, голова кружилась даже, а все трудное было впереди, и уже недалеко. Вотъ передняя лошадь алтайца проводника какъ-то странно сжалась, плотно укрѣпилась ногами на краю площадки передъ неширокимъ, но головокружительнымъ проваломъ, подъ которымъ зеленѣла бездна съ свѣтлой полоской рѣки, и вдругъ легкимъ скачкомъ перепрыгнула на другую сторону на такую-же каменистую тропу, какъ и та, что шла до провала; за нею прыгнула съ такой-же осторожностью лошадь толмача, потомъ лошадь священника и остальныхъ. Всѣ сосредоточенно молчали нѣсколько минутъ, и только когда тропа расширилась и повернула въ лощину къ спуску, изъ облегченно вздохнувшей груди толмача вырвалось восклицаніе.

— А все-же не приведи Богъ часто ѣздить тутъ: и до грѣха недолго!..

— Богъ сохранить, Ѳеодорычъ: вѣдь, мы за хорошимъ дѣломъ ѣдемъ: объѣздомъ ѣхать пожалуй и въ живыхъ не застали-бы Пантелеймона; я и теперь опасаюсь, успѣемъ-ли во время?! а, вѣдь, какъ онъ просилъ пріѣхать!.. Спроси, вонъ, Давида,—онъ скажетъ тебѣ.

— Вольно имъ забираться въ даль этакую: жили-бы въ

поселкахъ, аль въ Улалу селились! нѣтъ — дикари! надо имъ просторъ да волю: не тронь меня, никто не гляди на меня... а все-же, вишь, душа крещёная—покаянія захотѣла!..

— Теперь близко, Тамышъ?— обратился священникъ къ проводнику и тутъ только замѣтилъ блѣдныя лица инородцевъ: они еще не могли прійти въ себя отъ перенесеннаго волненія.

— Близко!—отвѣтилъ проводникъ,—обѣздомъ болота на много мѣста отводятъ, а тутъ только спустимся, бродъ проѣдемъ и будемъ на мѣстѣ.

— Живъ-ли Пантелеймонъ? несмотря на то, что прямо ѣдемъ сутки только, но надо считать уже трое!..—Ты два дня ѣхалъ, Давидъ?

— Да, батюшка!—отвѣтилъ молодой инородецъ.

— Ну, на все Божья воля... мы сдѣлали, что могли!—сказалъ священникъ и о чемъ-то глубоко задумался, смотря на эту знакомую ему съ дѣтства любимую, дикую и прекрасную картину... Вся жизнь тутъ въ Алтаѣ: сынъ труженика миссіонера, самъ миссіонеръ и дѣти-бы были миссіонерами, да нѣтъ ихъ! и скорбныя тѣни легли на его красивое лицо; были и нѣту, не далъ Богъ вырастить... такъ, вѣрно, нужно!..

— Ѳедорычъ!—прервалъ онъ свои грустныя думы,—а, вѣдь, сознайся—привыкъ ты къ шатанью съ нами—миссіонерами? Поди, другой разъ на тебя и семейные ворчатъ?!.

— Ворчитъ старуха, да и Оля, дочка, иной разъ не пускаетъ... а тянетъ... правда, батюшка, что тянетъ: какъ придетъ весна, такъ мнѣ ровно дома дышать нечѣмъ станеть, станеть манить въ горы, въ глушь...

— Вотъ видишь, а еще Пантелеймону дивишься: вѣдь, онъ тутъ родился.

— Впередъ, Тамышъ, а то тутъ и тропы-то нѣту: я не знаю, куда и ѣхать: даже трава не примята нигдѣ!

— Сюда вотъ, черезъ колоды... эта трава съ дождей поднялась, тропу затянула, да и рѣдко кто ѣздитъ здѣсь!

— Кому жизнь не мила!—пробурчалъ Ѳедорычъ.

Блеснула свѣтлая полоса рѣки.

— Вонъ тамъ—за поворотомъ, послѣ брода, и поселы Пантелеймона: онъ да еще 3 семьи живутъ наши—сказалъ Давидъ.

И правда, минутъ черезъ 20 на нихъ потянуло дымкомъ: и, свернувъ за гору, они увидали долину... У той же неширо-

кой, быстрой, но мелкой рѣвки, черезъ которую только что перебрадили, стояли въ густыхъ кустахъ черемухи нѣсколько избушекъ, къ одной изъ которыхъ проводникъ направилъ свою лошадь... Собаки встрѣтили ихъ дружнымъ лаемъ, на который выбѣжало 2—3 инородца и кучка ребятишекъ.

— Ну что? живъ Пантелеймонъ?!—обратился къ старшимъ миссіонеръ.

— Живъ еще... только плохъ!—озабоченно отвѣтилъ, выходя, старый алтаецъ;

— Плохъ шибко... и хозяйка съ ребенкомъ тоже... вотъ и у меня сноха валяется...

II.

Слѣзая съ лошади, миссіонеръ оглянулся кругомъ, невольно оглянулся: такъ красива была картина, окружавшая его, точно большой садъ—свѣжій, чудный... цвѣты... цѣлое море цвѣтовъ кругомъ; крупныя, желтыя лиліи граціозно клонили головки у самыхъ его ногъ, дикія мальвы яркими пятнами рисовались на зеленомъ фонѣ, бѣлыя, розовыя, красныя... голубые колокольчики переплела повилика, а огромныя фіалки, невидимыя изъ высокой травы, струили свой нѣжный ароматъ. Красивыя, гордые лебеди плавали въ небольшомъ озеркѣ, пріютившемся въ котловинѣ; горный потокъ рокоталъ по камнямъ, слетая съ высокаго уступа; пѣна и брызги долетали до хижинъ... Не вѣрилось, что въ такой чудный день, среди этой красоты, тутъ, за стѣнами избушекъ, тонувшихъ въ зелени, умирали люди...

А они умирали: со свистомъ и хрипомъ вырывалось дыханіе изъ груди Пантелеймона, тупо глядѣли его глаза, окруженные большими черными кругами; синія и темнобагровыя пятна выступали у него на лицѣ, они почти сливались съ общимъ какимъ-то свинцово-сѣрымъ цвѣтомъ кожи; онъ тихо и рѣдко стоналъ, лежа на лавкѣ, около окна; въ другомъ углу стонала его жена, а подлѣ нея, разметавшись и раскрывъ губки, дѣвочка лѣтъ полуторыхъ съ такими-же синими пятнами на личикѣ, какъ и у отца.

— Дѣвочка... Если бы не долгъ—миссіонеръ не отошелъ бы отъ нея, какъ увидалъ; но онъ пересилилъ себя и двинулся опять къ двери.

— Никто не входите!—сказаль онъ своимъ, снова выйдя на свѣтъ и солнце,—тутъ зараза: черная оспа...

И, повернувшись, скрылся въ избушкѣ... Причастивъ Пантелеймона и его жену послѣ краткой исповѣди, онъ спросилъ у нихъ, какъ звать дѣвочку; тѣ сказали и имя ребенка. Жгучей болью ударило его по сердцу—„Таня“... Таня!.. и у него была такая же; лѣта, имя и болѣзнь, неумолимая, что губить эту, сгубила и ту такъ еще недавно; страшная рана свѣжа въ его груди. И, наклонясь надъ ребенкомъ, онъ сталъ цѣловать маленькія ручки, называя ее по имени. Незыяснимой лаской звучаль его голосъ.

— Таня... Таня!.. бѣдная крошка моя, пить хочешь, дѣтка родная? жжетъ головку, милая? я отворю окно, двери, мученица крошечная, маленькій ангелъ!!

И онъ обвѣвалъ ея головку рукавомъ своей рясы, гладилъ рукою ея волосики, и крупныя слезы выступали на его глазахъ и, незамѣчаемыя имъ, бѣжали по щекамъ. Безъ сознанія крошка... крошка, душно здѣсь, тяжело тебѣ?.. на воздухъ вынести?!

И, взявъ бережно ребенка, онъ вынесъ ее на воздухъ подъ тѣнь развѣсистыхъ черемухъ: ей ничего не могло повредить теперь: смерть наложила печать на маленькое личико; губки ловили воздухъ, мягкій воздухъ горной долины, напоенный ароматомъ цвѣтовъ;—„ей будетъ легче умереть тутъ“, подумаль священникъ, вотъ такъ и онъ свою Таню унесъ въ садъ, и она лежала, какъ и эта, закинувъ головку, и дышала со свистомъ; такая же тусклая синева и пятна покрывали ея личико—милое личико съ большими голубыми глазами; тѣни ложились на него—бѣдная, милая! ему съ тѣхъ поръ невыносимо видѣть смерть дѣтей, онъ мучается, глядя на нихъ, и сердце его исходится отъ жалости... и какъ нарочно за эти 2 мѣсяца, что прошли послѣ смерти Тани, онъ много видѣлъ этихъ смертей... въ его душу, хорошую, добрую, вѣрующую, крадется горькая дума о томъ, зачѣмъ рождаются эти маленькіе, ничѣмъ неповинные страдальцы, такъ рано кончая жизнь? и словно изъ тумана въ отвѣтъ на его мысли передъ нимъ выплываетъ прекрасное, доброе и нѣжное лицо немолодой женщины—матери его, любимой труженицы матери; вспоминаются забытыя слова, говоренныя ею съ не-

поколебимымъ убѣжденіемъ; часто она ихъ говорила, когда хоронила дѣтей, любимыхъ, желанныхъ...

— Ангелы нужны Спасителю... Его воля... имъ лучше тамъ будетъ!..

И, примиренный этими воспоминаніями съ тяжелой дѣйствительностью, онъ сталъ смотрѣть на личико отходящаго ребенка; воспаленные, запухшіе глазки смотрѣли куда-то умнымъ пристальнымъ взглядомъ, вдумчивымъ и тоскующимъ; что они видѣли—эти невинные глаза, о чемъ тосковали?! И онъ задумался надъ тайной смерти.

— Помираетъ!—подошелъ толмачъ,—сердешная, а хорошенькая какая, ровно и не инородочка: глазки большіе, волосики свѣтлые... сироточка!..

— А что?—встрепенулся священникъ,—развѣ умеръ?

И онъ кивнулъ головою на избу.

— Кончился Пантелеймонъ, царство ему небесное!.. и баба отходить... лютая оспа на нихъ, смертная... Глядите, глядите, батюшка!.. понизивъ голосъ, почти прошепталъ онъ.

Священникъ взглянулъ на ребенка, на котораго смотрѣлъ толмачъ, глазки дѣвочки закрылись, на милое личико легло выраженіе полного покоя, и только легкій трепетъ пробѣгалъ по худенькому тѣлу.

— Умираетъ!..

— Умерла уже!—скорбно сказалъ миссіонеръ,—маленькій горный цвѣточекъ!

И онъ всталъ, бережно поднялъ съ колѣнъ свою легкую ношу...

— Теперь ни воздуху, ни солнца не нужно болѣе!.. пойдѣмъ, Ѳеодорычъ: ты, вѣдь, оспы не боишься;—обрядимъ Пантелеймона и крошку съ нимъ... Мать-то бѣдная: тяжело ей!..

— Сама она, батюшка, скоро съ ними будетъ!..

— Видишь, не даромъ мы черезъ бома съ тобой перевалили: часъ-бы—и долга исполнить не пришлось Пантелеймону... Все Богъ по любви своей не захотѣлъ отпустить душу его нераскаянной... гляди на небо,—за тонкими тучками, за маревомъ этимъ бѣлымъ—выше синевы,—теперь онъ тамъ!.. ушло все: и жизнь трудная, и болѣзнь, измучившая тѣло, заботы и печали... Хорошо тамъ, Ѳеодорычъ! хорошо... только все-же сердце наше слабое, къ землѣ привязанное, больше любитъ

это видимое—долины, горы родныя!—докончилъ онъ съ грустной улыбкой, кладя трупикъ ребенка рядомъ съ мертвымъ отцомъ,—мы хотя и орлами подъ небо съ тобою взлетали, а все-же, выходить, кроты слѣпые: все къ землѣ, все къ землѣ поглубже да подальше: такъ и борется въ насъ духъ безсмертный съ тѣломъ, изъ земли взятымъ: духъ-то туда, куда крошка эта и Пантелеймонъ ушли, куда и эта бѣдная уходитъ,— жестомъ показалъ онъ на женщину,—а тѣло еще сюда хочетъ, землю ищетъ!.. люди мы слабые!



...Священникъ, еще не старый, полный блондинъ съ красивымъ профилемъ и выпуклыми ясными и быстрыми голубыми глазами...

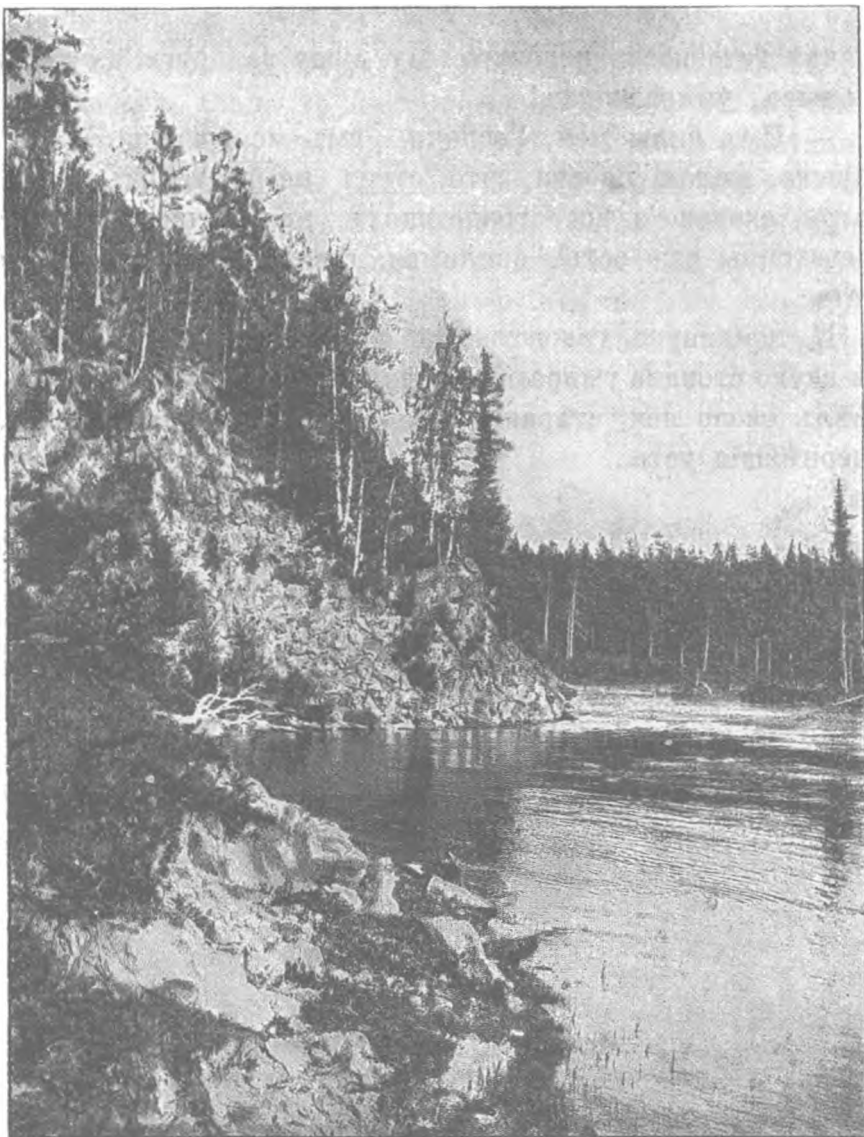
И онъ поникъ головой, стоя на порогѣ избушки, куда отошелъ отъ стола; и его голубые глаза грустно смотрѣли на горы и лѣса, окружавшіе ихъ; въ нихъ былъ упрекъ, упрекъ самому себѣ за то, что онъ такъ ихъ глубоко и сильно любилъ, за то, что имъ, да ихъ сынамъ слабымъ, страдающимъ, онъ отдавалъ свои силы съ такой радостною готовностью, ему казалось, что этой двойной любовью къ природѣ и людямъ онъ заглушалъ въ себѣ любовь къ ихъ Творцу... Но, несмотря на эти думы, сердце его не скорбѣло объ этомъ, и, глубже вникнувъ въ нихъ, онъ вспомнилъ слова евангелія: „Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положитъ за други своя“, и въ его душѣ, вмѣстѣ съ этими словами, расла

горячая готовность положить эту душу за други, за слабыхъ, больныхъ, умирающихъ!

— Имъ силы мои, Господи... имъ моя жизнь!.. Таня, голубушка, милая! прости, что отецъ не рвется къ тебѣ: посмотри, сколько здѣсь страдающихъ, несчастныхъ, а у папы твоего силы еще есть!.. свидимся, дѣвочка, успѣемъ: вѣчность ждетъ...

И, поникнувъ головою, онъ опять вернулся въ избушку, гдѣ глухо стонала умирающая женщина слабѣющимъ голосомъ, и сѣлъ около нея, стараясь водою освѣжить ея запекшіяся, почернѣвшія уста...





...Гдѣ-гдѣ мы съ нимъ не побывали, въ какую глушь и тайгу не забирались. .

Изъ воспоминаній о быломъ.

Памяти о. Л. Р—а.

„Я изѣздили Европу, видѣлъ Африку, но въ лѣтъ недѣли въ которые я прорѣзалъ мимолетно Алтай, я убѣдился, что его красоты выше и швейцарскихъ и многихъ мѣстъ моей родины Кавказа!“

(Изъ рѣчи ген.-губерн. барона К. С. Нольненъ).

Тихо, тихо!.. Крутыми уступами сбѣгаютъ мраморныя скалы къ темной глади Телецкого озера; спадая откуда-то

изъ ушедшей въ туманъ вершины, шумить и бьется водопадъ; подножіе скалъ у самаго озера, точно мелкіе лавры чело избранника, обвила брусника, плотно прижалась она къ сѣрымъ съ голубыми жилками камнямъ толстыми листиками, и какъ то нѣжно и грустно выглядывали ея цвѣтки блѣдно-розовые, точно восковые, мелкіе колокольчики, похожіе на россійскіе ландыши формой своихъ цвѣтовъ. У самаго берега въ водѣ видны камешки, красивые, оригинальныхъ формъ и оттѣнковъ, отливающіе серебромъ и золотомъ. А кругомъ высокія горы, дремучіе лѣса... дикая и величественная картина алтайской глуши, далекой отъ цивилизованнаго міра, глуши, неодолимо притягивавшей мое тогда еще дѣтское сердце, сердце 14-лѣтняго мальчика, безумно любившаго эту величавую природу!..

Каждое лѣто до самой поздней осени отецъ посылалъ меня въ Алтай, такъ какъ я росъ худымъ и слабогрудымъ, а горный воздухъ цѣлбно дѣйствовалъ на меня. И зимою я всегда мечталъ объ этихъ лѣтнихъ дняхъ, жилъ воспомина-ніями о нихъ; у меня были друзья между инородцами, бывавшими у миссіонера, у котораго я жилъ. Я понималъ ихъ языкъ и говорилъ самъ, хотя и плохо; я любилъ ихъ быть, ихъ заунывныя пѣсни, плавныя и тягучія; любилъ ихъ темно-синее небо, высокія горы, ритмическій плескъ Телецкаго озера, крупныя болотныя незабудки и бѣлыя лиліи,—все то, чѣмъ жили и наслаждались эти дикари.

За мною не особенно смотрѣли, а я, самостоятельный отъ природы, сразу какъ-то сталъ на положеніе взрослого, и о. Левъ задумчивый, вѣчно занятый, относился ко мнѣ какъ къ большому, и привыкъ, чтобы я былъ съ нимъ всегда, когда онъ совершалъ свои поѣздки съ проповѣдью.

Гдѣ-гдѣ мы съ нимъ не побывали, въ какую глушь и тайгу не забирались! О. Левъ былъ еще очень молодъ, и мнѣ было весело съ нимъ: я не стѣснялся его, рассказывалъ ему мои впечатлѣнія, дѣлился думами, и онъ часто оживлялся со мною...

Какъ сейчасъ помню лицо этого монаха, круглое русское лицо, опушенное русой бородкою и украшенное темными славными глазами, нѣсколько близорукими, привѣтливо и ласково смотрѣвшими изъ подъ очковъ; и голосъ у него былъ мягкій грудной, какъ-то особенно хорошо произносившій слова, ясно

и проникновенно звучавшія на странномъ для русскаго уха языкѣ, когда онъ говорилъ съ инородцами о своемъ безмѣрно страдавшемъ Спасителѣ... Какое горе или испытаніе заставило его уйти въ монахи и отдаться миссіонерскому дѣлу, я не зналъ и не задумывался надъ этимъ; онъ для меня былъ товарищемъ, братомъ и другомъ!

Въ описываемое время объектомъ его проповѣди было Телецкое озеро. Право, кто даже никогда не имѣлъ въ душѣ искры поэзіи, проживъ на его берегахъ, начиналъ поэтически настраиваться, смотря на эту чудную панораму... Догорала-ли вечерняя заря, вставало-ли солнце утромъ—что за дивная картина представлялась взору!.. Мнѣ казалось, что эти горы, окутанныя свѣжими сумерками или утренними туманами, стройныя и величавыя молятся Богу... а Телецкое—то приливая, то отливая, поетъ хвалебную пѣснь своему Создателю... тихо, нѣжно, боязливо, какъ дитя, поетъ—неумѣло, но искренно, теплую молитву.

И о. Левъ восхищался не менѣе моего.

— Ваня! посмотри, милый,—будиль онъ меня рано утромъ, —красота какая!..

И онъ далеко отбрасывалъ полу палатки, и мы, восхищенные, смотрѣли, не отрывая глазъ... Розовый востокъ разгорался; свиваясь высоко, ползли туманы... озеро стояло тихое, подернутое легкой рябью... обновленная россою зелень, яркой каймою, какъ пышную рамой, отгѣняла прибрежныя скалы... и вдругъ брызнетъ лучъ-другой солнца; ярко ослѣпительно все засіяетъ, засверкаетъ, и снѣговыя вершины, и ленты водопадовъ, и рябь Телецкаго озера!.. А мы стоимъ, бывало, словно зачарованные, такіе маленькіе, такіе ничтожные среди этого величія!..

— Пойдемъ въ горы!—обыкновенно послѣ равняго чая предлагалъ о. Левъ.—Въ полдень ко мнѣ димичи пріѣдутъ изъ аила, проповѣдывать буду; а теперь погуляемъ!..

И мы взбирались по скаламъ тропинками, протоптанными „бунами“ и горными козочками, осторожно ступая по осыпавшимся камнямъ.

— Ваня!—отчаянно порою вскрикивалъ, хватая меня, о. Левъ.

— Что?—останавливался я, испуганный...

— Цвѣтокъ-то раздавилъ!—искренно сокрушался онъ, поднимая колокольчики брусники,—охъ, жалость какая!..

— Да, вѣдь, нельзя-же!—оправдывался я,—всегда что-нибудь давишь, вѣдь не на крыльяхъ-же летѣть?

— Травки, милый, поправятся, а вотъ цвѣтокъ-то сломленный...

И тѣни какой-то тайной думы бѣжали по его лицу.

А меня смѣшила эта страстная нѣжная любовь къ цвѣтамъ и искренній ужасъ при видѣ ихъ гибели и... только; я звонко смѣялся надъ нимъ.

— Ахъ, Ваня, Ваня!..—грустно улыбался онъ,—вѣдь, имъ жить хочется; мнѣ каждый цвѣтокъ юной жизнью представляется: сломишь—безвременно загубишь ее!

А я, не слушая его, взбирался выше и выше, ближе къ солнышку, туда, гдѣ кончались границы лѣса, и холодомъ тянуло отъ снѣговъ... Что за панорама открывалась оттуда: безконечныя горы, широкая полоса озера, то исчезающая за выступами горъ, то снова сверкавшая всѣми цвѣтами радуги... ярко горѣли бѣлки самыхъ высокихъ хребтовъ, пѣнились розовые подъ солнцемъ быстрые водопады, а цѣлительный воздухъ, пропитанный запахомъ смолы, такъ и лился бальзамомъ въ грудь!.. дышать было легко-легко!..

— Мы словно птицы!—скажу я, бывало, спутнику...

Онъ ничего не отвѣтитъ, только улыбнется мягко и ласково, а глаза его блестятъ, какъ и мои, восторженно, и грудь также дышетъ порывисто, втягивая въ себя воздухъ.

— Мы цари тутъ!—продолжаю я фантазировать,—люди—Богъ съ ними!—мы выше людей, выше всего земного!

— И къ Богу ближе. Аминь!—мягко кончалъ мой спутникъ.—А только все-же далеки, далеки отъ Бога... пожалуй, Ваня, не одинъ, а многіе изъ людей, надъ которыми мы возвысились, ближе къ Богу, чѣмъ мы, хотя и тамъ, на землѣ...

— Спойте!—прошу я его, впередъ зная, что онъ не откажется,—только, знаете, что-нибудь не духовное, а такое—хорошее, но не молитву!..

И онъ покорно начинаетъ пѣть, но непременно что-нибудь духовное, небольшимъ симпатичнымъ голосомъ,—молитву Богородицѣ, Слава въ вышнихъ Богу и еще что-нибудь; а потомъ мое любимое—единственную свѣтскую вещь, слы-

шанную отъ него. Боже! какимъ глубокимъ чувствомъ дышалъ его голосъ! какъ сильно страдало его сердце! Онъ пѣлъ:

„Наболѣвшее сердце искало,
Томяся, искало покоя:
Не поможетъ душѣ истомленной
Теперь состраданье людское;
Люди?—нѣтъ, не понять имъ того,
Что измучило сердце больное!
Я уйду отъ людей и пойду
Поищу у природы покоя.
Тамъ, гдѣ лѣсъ шелеститъ словно шепчетъ
Мнѣ завѣтную тайную думу,
Тамъ, гдѣ рвутся на волю ручьи,
И струи ихъ несутся безъ шума,
Гдѣ цвѣты голубые цвѣтутъ
Средь спокойной и тихой долины,
Гдѣ, почти до небесъ, поднялись
Горныхъ кражей крутыя вершины,
Тамъ я сердце больное мое
Изолью и наплачуся вволю,
И повѣдаю тайну свою
Про мою безталанную долю!..
Тамъ никто не осудитъ меня,
Не вспоманетъ ошибки бывшя:
Великаны лѣсные стоятъ,
Мыслятъ думы свои вѣковыя
И не выдадутъ тайну мою,
Мое страстное жгучее горе!
Оттого я природу люблю
Въ ней потонуть всѣ тайны какъ въ морѣ.
—„Ободрись!“—мнѣ лѣса говорятъ,
Теплымъ вѣтромъ меня обвѣвая.
—„Ободрись! пусть свободно вздохнетъ
Пусть вздохнетъ твоя грудь молодая!“
—„Ободрись!“—мнѣ лепечутъ ручьи
И рокочутъ, рокочутъ безъ шума,
—„Утопи въ голубыя струи
Свою грусть, свои тайныя думы!“
Истомленное сердце мое

Утомилось и просить покоя,
 Я на горы уйду къ небесамъ,
 Въ нихъ зажгутся звѣзда за звѣздою,
 Высоко... только небо да я,
 Только звѣзды мнѣ ясныя свѣтятъ...
 Тамъ душа отдыхаетъ моя:
 Я одинъ, и меня не замѣтятъ!..

Такая печаль, такое невыразимое горе слышалось всегда въ этой пѣснѣ, что даже я понималъ, что это онъ поетъ о себѣ, что это ему страждется, что онъ ищетъ покоя.

И я жадно слушалъ эту пѣсню жалобу, пока онъ самъ не начиналъ звать меня внизъ... Мы спускались гораздо медленнѣе: голова кружилась на крутыхъ уступахъ... А когда начиналась жара, и солнце пекло невыносимо, мы забирались подъ купы деревьевъ гдѣ-нибудь около берега быстрой Камги¹⁾ около бѣлей²⁾ или въ другихъ, удобныхъ для проповѣди, мѣстахъ... тутъ уже сидѣли кружкомъ инородцы въ своихъ смѣшныхъ шапкахъ, съ неразлучными трубками, женщины въ чегедекахъ съ косами, покрытыми яламбашками, въ остроко-
 нечныхъ шапкахъ, ребятишки нерѣдко совѣмъ голые.

Для о. Льва выносили складной стульчикъ, мнѣ стлали мой коврикъ гдѣ-нибудь поодаль, и я ложился, съ наслажденіемъ вытягивая усталыя ноги...

А о. Левъ не садился: онъ всегда говорилъ стоя, горячо —убѣдительно. Недавно научившись алтайскому языку, онъ быстро усвоилъ его, и переводчикъ даже не вступалъ въ бесѣду, лѣниво присѣвъ куда-нибудь въ тѣнь, а я, тоже отлично научившійся понимать алтайскую рѣчь, изъ своего угла всегда съ любопытствомъ глядѣлъ на миссіонера... Онъ весь отдавался проповѣди. Любимой темой его была та, гдѣ Христосъ цѣлилъ людей; говоря, что надо Его любить, что Онъ дастъ вѣчное спасеніе всѣмъ, онъ приводилъ факты любви Бога къ людямъ: воскрешеніе сына Наинской вдовы, исцѣленіе бѣсноватаго и слѣпорожденнаго и многіе другіе евангельскіе примѣры.

Однажды онъ прямо поразилъ мое впечатлительное сердце...

Въ этотъ день онъ былъ съ утра какъ-то особенно грустенъ и нервнъ, глаза носили слѣды слезъ, эти милые славные глаза...

¹⁾ Рѣка, впадающая въ Телецкое озеро.

²⁾ Берегъ озера.

Народу наѣхало къ намъ очень много и, по обычаю, на проповѣдь собрались на воздухѣ, около палатки... Сперва онъ просто и кратко разсказалъ про Спасителя, начиная съ Его рожденія, понятно и ясно, а потомъ сталъ говорить о чудесахъ. Ахъ, никогда и нигдѣ послѣ не слыхалъ я такихъ проповѣдей, такого убѣдительнаго, въ душу шедшаго, голоса!

— „И пришелъ къ Нему одинъ человѣкъ знатный и богатый, звали его Іаиръ; у него была единственная дочь, и онъ любилъ ее, какъ и вы любите своихъ дѣтей! Это былъ чудный, ласковый ребенокъ, съ душой чистою, какъ бѣлая облака, съ глазами такими-же синими, какъ небо; а для отца въ ней было все: и жизнь, и свѣтъ, и счастье!.. И какъ ему было не идти къ Спасителю, какъ не просить, когда его дитя умирало, умирало въ расцвѣтѣ силъ и красоты?! Онъ шелъ къ Христу въ смертной тоскѣ, онъ вѣрилъ, что Одинъ Онъ можетъ ее исцѣлить, если успѣетъ.

— „Господи, войди въ домъ мой: мое дитя умираетъ“.

— „И сколько отчаянія было въ его голосѣ! онъ—гордый богачъ—упалъ на колѣни и склонился до земли передъ Спасителемъ, умоляя его за свое дитя“.

— „Но было уже поздно; слуги печально пробирались къ нему со скорбною вѣстью: „Не утруждай Учителя: она умерла.“

— „Смертная мука овладѣла отцемъ: „умерла!.. умерла!“ онъ смотрѣлъ, ничего не видя передъ собою, а на него со-страдательно и нѣжно смотрѣли дивные глаза съ прекраснаго лица Учителя.

— „Не бойся!“

И тонкая рука легла ему на плечо.

— „Не бойся, только вѣруй, и спасена будетъ!“...

— „Онъ услышалъ это, какъ сквозь сонъ, и машинально двинулся туда, къ своему дому. Вслѣдъ за Христомъ пошла вся толпа подъ жаркимъ солнцемъ, ослѣпительно заливавшимъ лучами городскіе дома и свѣтлую поразительно прекрасную фигуру Христа, Его дивную голову съ золотистыми волосами, мягкими волнами лежавшими по плечамъ.

— „Спасена будетъ! но, вѣдь она умерла?!“

И сомнѣніе крадется въ скорбящую душу отца, онъ потерялъ вѣру въ Пророка; Пророкъ не нуженъ ему: вѣдь, она умерла!

— „А Тотъ, Кто сказалъ, что она будетъ спасена, былъ уже въ домѣ...

— „Тихо... Въ большой горницѣ за дверями плачь и стоны родныхъ, а на мягкомъ ложѣ—она, его дѣвочка, такъ и умерла, смотря въ окно; черные волосы кольцами завились надъ мертвенно-блѣднымъ лбомъ, губки словно что-то шептали, полураскрылись, а глаза сжались навѣки; холодная лежала она вся, его жизнь и счастье!.. Тихо и отчаянно рыдаетъ жена, тѣни отъ занавѣсокъ ложатся на полъ и заслоняютъ яркій свѣтъ, но и въ полутьмѣ ясна свѣтлая фигура Учителя.

— „Не плачьте: она спитъ!“

— „И невольно горькая улыбка легла на губы отца: „холодная, безжизненная... нѣтъ, Учитель ободрить желаетъ!“...

— „Выйдите всѣ!“—ясно и отчетливо говоритъ Онъ.

— „И посторонніе уходятъ, улыбаясь надъ Нимъ, а Онъ склоняется къ дѣвочкѣ, беретъ ея холодную руку съ начинающими темнѣть ногтями и говоритъ:

— „Дѣвица, встань!“...

— „Властно и просто—два короткихъ слова.

— „Что это? безумный крикъ отца, полный захватывающаго духъ ликованія: изъ-подъ рѣсницъ ея глаза, синіе, глубокие, чистые смотрѣли въ глаза Учителя, и столько было въ въ этихъ глазахъ, благодарности и любви!!.

— „Господи!!“

— „И снова бьется у ногъ Христа гордая голова Іаира: „Господи, буди Ты благословенъ... буди благословенъ, Спаситель!“...

И о. Левъ затихаетъ, закрывъ глаза и невольно отдаваясь впечатлѣнію сцены воскресенія.

Тихо сидятъ инородцы, задумчиво покуривая свои трубки... а онъ снова начинаетъ говорить, уча ихъ, увлекаясь, опять рисуетъ картины того времени, когда Христосъ былъ на землѣ.

Заводились и споры; среди дикарей были мыслящіе головы; они не рѣдко задавали вопросы.

— А скажи намъ: Христосъ вотъ велѣлъ за людей умирать; вы Его слушаете... а умеръ-бы ты, батюшка, за кого-нибудь?!

— Если-бы пользу ему этимъ принести могъ—да, умеръ

бы!—искренно и просто своимъ правдивымъ голосомъ сказалъ какъ-то о. Левъ, на такой вопросъ.

Помню, у меня сердце сжалось при этихъ его словахъ, и я какъ-то совсѣмъ по-дѣтски подошелъ и прижался къ нему, обнявъ одной рукой за шею, точно желая удержать, не пустить его умирать за людей.

Онъ улыбнулся мнѣ:

— Что это ты, Ваня?..

— Отецъ Левъ!—горячо по-русски сказалъ я,—вы имъ правду сказали?..

Я страстно желалъ, чтобы онъ сказалъ „нѣтъ“.

Онъ взглянулъ на меня изумленно:

— Развѣ можно лгать?—вопросомъ отвѣтилъ онъ, и вѣроятно замѣтивъ мое волненіе, ласково улыбнулся мнѣ...

Что это было за лѣто! Я его никогда не забуду: столько впечатлѣній я вынесъ, столько пережилъ! И моя дѣтская душа впервые сознательно раскрылась на встрѣчу всему чистому и прекрасному подъ вліяніемъ моего спутника.

Настала и осень. Я умолялъ родныхъ, пріѣзжавшихъ не надолго ко мнѣ, оставить меня въ Алтаѣ до самой зимы, и они, видя мое порозовѣвшее лицо и слушая мои горячія неотступныя просьбы, согласились со мною.

Такъ и кочевали мы съ моимъ любимцемъ по его стану изъ края въ край, пока въ холодный октябрьскій день судьба не привела насъ опять на полюбившіеся намъ берега озера, теперь угрюмые и дикіе подъ лучами тусклаго осенняго солнышка, какъ саваномъ опущенные первымъ снѣгомъ.

О. Левъ ѣздилъ съ послѣдней проповѣдью и возвращался въ свой станъ, но такъ какъ наступалъ вечеръ, а вѣтеръ поднимался сильный и холодный, пронизывая до костей, до стану же оставалось добрыхъ 30 верстъ, то мы рѣшили переночевать въ юртѣ алтайца Нурке, съ которымъ о. Левъ говорилъ лѣтомъ о томъ, что онъ, послѣдователь Христа, по Его завѣту, спасая другого, долженъ отдавать жизнь свою и отдасть, если это будетъ нужно.

Помню, когда мы еще подѣзжали къ аилу, я сталъ особенно грустнымъ: печальныя картины природы или какое-то тоскливое предчувствіе томили мое сердце, я самъ себѣ не могъ объяснить.

Хозяинъ встрѣтилъ насъ радушно, но лицо его было озабочено, на вопросы о Льва онъ скоро рассказалъ, что его печалитъ сынъ, уплывшій за Телецкое на охоту.

— Смотри,—говорилъ онъ, показывая на облака, несшіяся по небу, видному сквозь отверстіе юрты,—видишь, какъ ихъ гонитъ вѣтеръ? На озерѣ подымается буря... трудно въ бурю плыть поперекъ его... а онъ, Пыжакъ мой, смѣлый—кинется... тошно, тошно мнѣ!..

Согрѣвшись чаемъ, я вышелъ на берегъ и сѣлъ подлѣ толстой ели за скалою, смотря на Телецкое; озеро было страшное, темное, угрюмое, огромное; волны глухо и строго шумѣли, набѣгая на берегъ; бѣлая пѣна на гребняхъ еще болѣе отгнѣняла ихъ темноту. Я съ содроганіемъ думалъ о томъ, каково среди нихъ Пыжаку на его крошечной узкой лодочкѣ, и невольно вспоминалъ рассказы инородцевъ о страшной глубинѣ Телецкаго, объ его темномъ недоступномъ днѣ.

— А что если онъ утонетъ?.. какъ ему будетъ холодно, пусто тамъ!..—фантазировалъ я...

— Ты что это тутъ? зазябъ, поди, Ваня?!

Добрый милый голосъ разомъ отогналъ мои думы; онъ сѣлъ около меня и распахнулъ полу своей шубы, зовя поближе къ себѣ. Я живо послѣдовалъ приглашенію и прижался къ нему, чувствуя бѣненіе его сердца, неровно стучавшаго близко, близко...

Мнѣ было тепло и клонило ко сну, но я боролся и, широко открывъ глаза, вглядывался въ волны озера, стараясь рассмотреть тамъ приближающуюся лодку: я зналъ, что туда неотступно смотреть мой спутникъ, смотреть, волнуясь. И сонъ отлеталъ отъ моихъ глазъ, когда я думалъ объ этомъ; сумерки сгущались, буря усиливалась, волны съ рокотомъ неслись, страшныя, черныя, вспѣнныя, съ шумомъ налетая на берегъ; до насъ, сидѣвшихъ саженьяхъ въ 15 отъ воды, долетали холодныя брызги... Хозяинъ, много разъ подходившій къ намъ, сталъ спокойнѣе...

— Пыжакъ заночевалъ на томъ берегу; онъ почувалъ бурю и не кинулся!..

И когда мы, успокоенные его словами, стали безъ волненія смотрѣть въ темноту привычными къ ней глазами, тамъ на гребнѣ гигантской волны моимъ глазамъ почудилось что-

то темное и длинное. Должно быть и о. Левъ увидалъ это, потому что онъ вздрогнулъ, и его успокоившееся сердце шибко забилося... Вотъ опять мелькнуло ближе...

— Лодка!—разомъ почти крикнули мы и, вскочивъ, кинулись къ юртѣ, зовя хозяина.

И, вотъ, близко подойдя къ водѣ, мы трое и прибѣжавшіе на нашъ крикъ сосѣди напряженно смотримъ туда, гдѣ на волнахъ бьется человѣкъ въ тщетныхъ усиліяхъ достигъ берега... Буря срывала съ насъ шапки, жгла лица колючими снѣжинками, окатывала брызгами, а мы смотрѣли съ замираніемъ сердца на гигантскія волны.

— Абамъ! абамъ!

Протяжный жалобный крикъ: сынъ звалъ отца, звалъ изъ пучины, гдѣ погибала его молодая жизнь.

— Пыжакъ... сынъ мой!.. о!..

Старикъ застоналъ, забѣгалъ, потомъ упалъ на землю и, рыдая, забился на ней, сквозь стоны, повторяя: „Пыжакъ, сынъ мой... боламъ, милый“... А тамъ изъ тьмы отчаянно неслося:

— Абамъ! абамъ!..

— Вережки!.. всѣ, какія есть у васъ, несите сюда; чембурь ихніе, наши... скорѣе, скорѣе!..

Это крикнулъ о. Левъ толмачу и переводчику, давно стоявшимъ около насъ:

— Скорѣе, ради Бога!

Они побѣжали, а я испуганно смотрѣлъ на него.

— Костеръ разведите въ юртѣ... отверстіе откройте, если вѣтеръ не помѣшаетъ!..

И онъ сбросилъ съ себя шубу, увидѣвъ, что бѣгутъ съ веревками. Старикъ, при его приказаніяхъ поднявшійся съ земли, подошелъ къ нему и спросилъ голосомъ, прерываемымъ рыданіями, что онъ хочетъ дѣлать?

— Попробую доплыть до него!—просто отвѣтилъ о. Левъ... —Я хорошо плаваю... его не пускаютъ волны... если помедлю — онъ утонетъ!..

— А ты?

— Я, Богъ дастъ, доплыву назадъ; какъ крикну—притяните веревкою; только-бы ее хватило!—съ опасеніемъ добавилъ онъ.

— А холодъ?.. вода холодная... ты—гость мой... простынешь... умрешь!.. не пущу я тебя!..

— А Христось-то мой что велѣлъ дѣлать? Онъ... помнишь разговоръ нашъ? нѣтъ, не удерживай меня!..

— Ваня, милый, поцѣлуемся!..

И прежде чѣмъ я, задыхавшійся отъ слезъ, успѣлъ сказать слово, онъ, крѣпко поцѣловавъ меня, уже скрылся въ волнѣ, властно схватившей его въ свои холодныя объятія. А съ озера слышалось:

— Абамъ!.. езень—болзынъ, абамъ!

И такая трогательная покорность была въ этомъ прощаніи гибнущаго сына съ отцомъ, что я неудержимо рыдалъ, слушая этотъ голосъ; рыдалъ, оплакивая и его, этого мальчика, погибавшаго у берега, и моего отважнаго друга...

А веревка длинная, казавшаяся безконечной, все развивалась и исчезала въ водѣ; голосъ слышался слабѣе... мы всѣ стояли, точно приговоренные, схватившись за веревку и ждали въ томительномъ молчаніи... А буря бушевала, тучи осыпали насъ колючимъ снѣгомъ, темнота густѣла... не было видно ни озера, ни даже другъ друга, и голоса не слышно стало... можетъ быть буря заглушала его или мальчикъ выбился изъ силъ! Неслышно было и обѣщаннаго условнаго крика; намъ казалось, что прошли часы съ того времени, какъ о. Левъ кинулся въ воду; мы уже начали отчаяваться, и вдругъ почувствовали, что веревка точно натянулась... напрягая слухъ, мы старались услышать крикъ, но его не было слышно... И тогда, разомъ рѣшившись, мы начали тянуть веревку, напрягая силы. Сперва она шла туго, но къ концу пошла какъ-то легче, словно тамъ въ этой страшной черной мглѣ кто-то помогалъ намъ.

— Господи!—вырывалось у толмача—смотрите!.. смотрите!.. Темная масса вынырнула изъ воды.

— Батюшка, милый!

И я кинулся ему навстрѣчу.

Да, это былъ онъ, обледенѣвшій, шатающійся, и своими окоченѣвшими руками крѣпко прижимавшій къ груди захваченное подъ мышки тѣло алтайскаго мальчика.

Что тутъ было—не стану говорить!.. у костра, въ юртѣ, они отошли оба, мальчикъ, почти юноша, живо оправился и

даже рассказывать сталъ о всемъ, что пережилъ, а о. Левъ все не могъ согрѣться, несмотря на сухое бѣлье, теплую шубу и горячій чай: дрожь пробѣгала по его тѣлу, а лицо улыбалось; это милое мнѣ лицо, на которое я не могъ безъ слезъ смотреть.

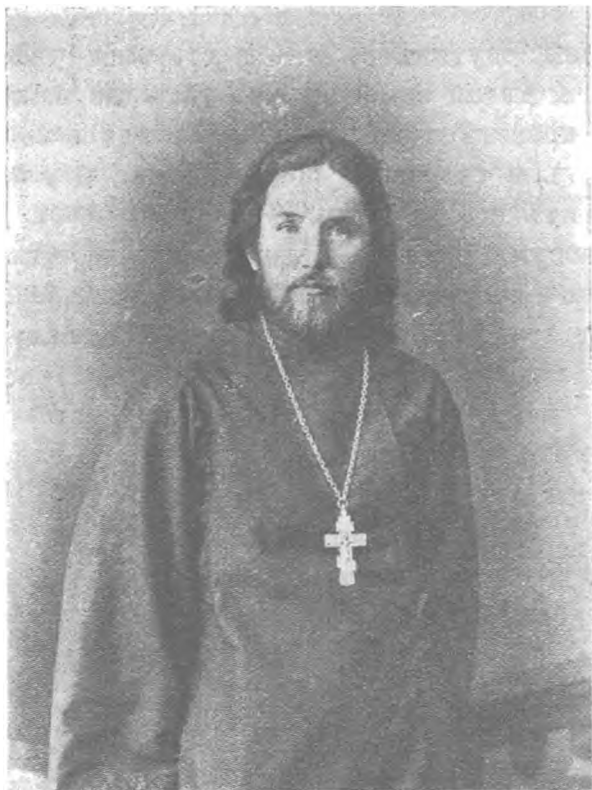
Старый хозяинъ сидѣлъ около него, позабывъ о сынѣ; онъ самъ поилъ его чаемъ, куталъ шубами и глядѣлъ заботливо и печально на его разгорѣвшееся лицо. Самъ того не сознавая, онъ далъ о. Льву огромную награду за спасеніе сына своими словами, глубоко того обрадовавшими.

— Батка!—сказалъ онъ, когда всѣ успокоились,—я люблю твоего Христа... у алтайцевъ нѣтъ такого Бога... нашъ Богъ хочетъ мяса, крови, жертвы, а твой велитъ помогать, велитъ умирать за другихъ... я тоже хочу слушаться Его, хочу креститься, я и жена, и Пыжакъ!..

И слезы блестѣли на его старыхъ глазахъ, а мой дорогой о. Левъ сіялъ и радовался... и это была его послѣдняя радость!.. Ахъ, какъ я мучительно плакалъ всегда, вспоминая послѣдующіе дни, вспоминая борьбу молодой жизни со смертью, эту агонію, тянувшуюся нѣсколько недѣль, и смерть тихую и одинокую, какъ мнѣ передавали. Меня, не смотря на мои мольбы, увезли домой... О, мой бѣдный, мой милый самоотверженный другъ! Я спрашивалъ многихъ потомъ, лѣтомъ, пріѣхавъ на его могилу, о смерти его, и мнѣ говорили, что онъ умеръ, какъ праведникъ, на рукахъ отца спасеннаго Пыжака.

— Все молитвы пѣлъ да стихи какіе то... васъ звалъ иногда въ бреду... а умеръ въ сознаніи: велѣлъ при себѣ Пыжака съ отцомъ крестить; самъ его и принялъ отъ купели... Койку его къ окну повернули; день былъ ясный; онъ все на небо глядѣлъ, долго-долго; и потомъ самъ отвернулся... мы думали—уснулъ онъ; подошли взглянуть, а у него кровь тонкой струйкой изо рта бѣжитъ, и глаза закрыты... потрогали, а онъ холодный...

Такъ умеръ онъ, мой дорогой другъ, по завѣту Христа положившій душу свою за другого; темные кедры надъ его могилой, тихо шелестя вѣтвями шепчутъ объ его неизвѣстномъ міру подвигѣ, о томъ, какъ онъ умеръ, сломленный неизлѣчимымъ страшнымъ недугомъ, схваченнымъ имъ тамъ, въ ледяныхъ волнахъ Телецкого озера.



О. Константинъ Соколовъ, миссіонеръ Онгудайскаго стана.

Изъ жизни новыхъ миссіонеровъ.

Отецъ Константинъ проснулся рано, по обычаю.

Былъ холодный ноябрьскій день, и за чаемъ, глядя на грустное лицо жены, онъ невольно подумалъ о тяжести предстоящаго пути по оснѣженнымъ горамъ, гдѣ ждали его обледѣлыя, скользкія дороги и переправы черезъ беспокойныя, горныя рѣки, никогда не умѣвшія уgomониться подо льдомъ и всю зиму сверкавшія большими полыньями.

Ему, какъ благочинному, надлежало посѣтить станы Ининскій, Чибитскій, Чолушманскій и Кошъ-Агачскій, эти раскиданные на сотни верстъ другъ отъ друга станы, и какъ разъ въ то время, когда страшныя бури пролетаютъ надъ Алтаемъ, заноса долины снѣгами, а угрюмая красота дикихъ горъ, покрытыхъ снѣгомъ, пугаетъ глазъ; но ему не приходилось думать объ этомъ: онъ старательно гналъ отъ себя заботу о дѣ-

тяхъ и о женѣ, шутилъ съ нею и старался увѣрить ее, что любоваться на Алтай зимою можно такъ же, какъ и лѣтомъ, толковалъ о красотѣ лунныхъ ночей, когда весь Алтай оснѣженный горитъ и сверкаетъ брилліантами, и о томъ, что Господь сохранить его въ пути.

— Ты подумай, теперь и дороги лучше, чѣмъ встарину, и народу много въ Алтаѣ... Что?.. Замерзнемъ?.. Христось съ тобою, пустое это... вездѣ есть жилища... Пожалуйста, оставь заботу: вѣдь, ты же жена миссіонера... Давай-ка собираться: все, кажется, уложили вчера... И, пожалуйста, будь мужественна: развѣ я въ первый разъ ѣду?.. Не будешь грустить, — и я спокоенъ буду.

Стараясь быть совсѣмъ бодрымъ, молодой миссіонеръ живо и весело сталъ собираться, подбодряя спутниковъ.

Однако рано выѣхать не удалось: задержали требы, и о. Константинъ озабоченно сказалъ спутнику, когда они, наконецъ, выѣхали изъ дома:

— Попадемъ ли мы въ Коръ-Кечу?..

— Сорокъ двѣ версты...—поглядѣлъ на солнце, поднявшееся къ полдню, его спутникъ.—День короткій. Не даромъ у насъ, на Алтаѣ, зовутъ ноябрь Кычѣ Кырлач, Куртыяг-Ай—старушечій мѣсяцъ: день такой короткій, что старуха едва успѣетъ обуться... А тутъ еще на Чикетаманѣ будутъ задерживать обозы... Ну, да за все Богъ!.. День то теплый. Не забнете вы?..

— Привыкъ!—отозвался о. Константинъ.—Гдѣ книги мои?.. Въ той сумѣ?.. Хорошо...

— Ну, подгоняй вьючныхъ, ямщикъ: сорокъ двѣ версты—не шутка...

А самъ подумалъ, оборачиваясь и смотря на Онгудай, о милыхъ, оставленныхъ на долгія недѣли.

Причудливый Чикетаманскій перевалъ былъ залитъ солнцемъ, уже склонявшимся къ закату; внизу, сверкая полыньями, синѣла рѣка и кайма лѣса, а горы стояли особенно холодныя и строгія въ снѣжномъ уборѣ. Онгудай остался уже въ двадцати верстахъ позади, и по лентѣ дороги двигались частые обозы-воза, нагруженные товаромъ, кожами или длинные караваны верблюдовъ, тѣснившихся по дорогѣ. Ихъ новольно приходилось пережидать, а солнце уже уходило. Вотъ оста-

лася только пурпурная съ оранжевымъ отливомъ полоска зари, но и она гасла, теряя краски и уступая мѣсто звѣздамъ, въ свѣтъ которыхъ и пріѣхали уже ночью въ Коръ-Кечу усталые и проголодавшіеся путники.

— Охъ, какъ и переѣдемъ,—говорилъ спутникъ о. Константину,—дурить Катунь, бѣсится: ледоходъ и забереги... паромъ, того и гляди, затрѣтъ!.. Шальная рѣка... Я такъ ду-



Причудливый Чикетаманскій переваль былъ залитъ солнцемъ... по лентѣ дороги дбигались частые обозы-воза...

маю, что и Аргутъ уже уgomонился, а ей что?.. она все бунтуется... Я такой полоумной рѣки не видывалъ...

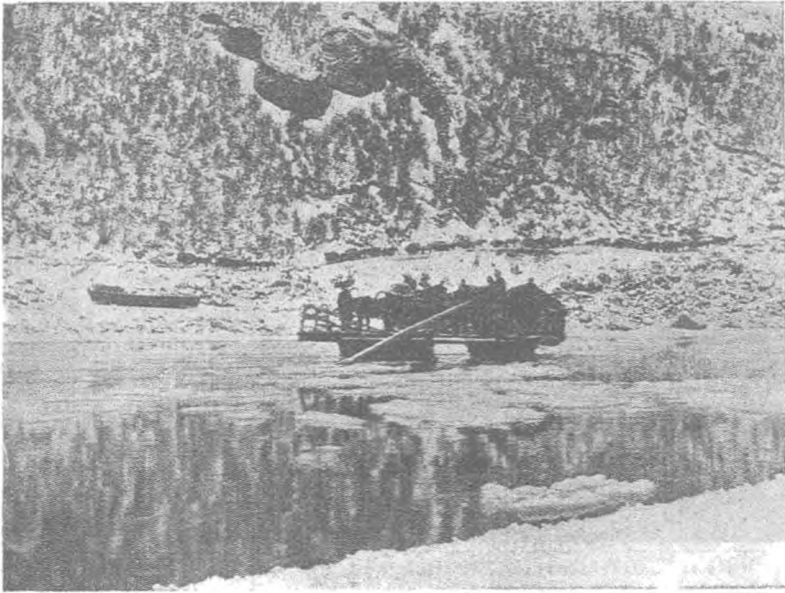
— Ну, какъ нибудь!—невольнo усмѣхнулся о. Константинъ.—Ночь холодаеъ; утѣшимся: можетъ быть, и станетъ за ночь Катунь, кто ее знаетъ—капризницу? А нѣтъ,—такъ на паромѣ не такъ уже страшно.

И долго не могъ заснуть, томимый заботами о приходѣ и семьѣ, которые пришлось оставить въ это бездорожное время ради долга.

Паромъ былъ не особенно хорошъ, и Катунь сердито несла на темной, казавшейся черной отъ бѣлаго снѣга, водѣ массы крупнаго льда. Лошади особенно опасно жались другъ къ другу. Умныя и выносливыя на сушѣ—онѣ боязливо глядѣли

на воду; да и для глазъ человѣка рѣка казалась страшной: глухо и грозно шуршали и стукались льдины, ударяясь о лодки парома, угрюмые, каменистые берега дикими кручами уходили въ высоту; безлюдно и тихо было кругомъ, и люди казались игрушками на фонѣ этихъ огромныхъ горъ среди рѣки на утломъ, небольшомъ паромѣ.

— А, вѣдь, затереть можетъ!—говорилъ паромщику ямщикъ.—Вотъ, еще сгустится малость—и полно тебѣ плавать...



... паромъ былъ не особенно хорошъ, и Катунь сердито несла массы крупнаго льда...

— Ну!—соглашался тотъ флегматично, какъ истый сынъ Алтая.—Это было, прошлый годъ было: лодка затерло и разбило, большой лодка... Она—кудой рѣка Катунь, закочить—утопить... Така рѣка, така рѣка...

И, не докончивъ своей мысли, не хлопотливо, но дѣловито принялся бороться съ теченіемъ, направляя паромъ къ желанному, правому берегу и не думая объ обратномъ пути.

Трудная переправа окончилась, и лошади выбрались на правый берегъ Катунь.

Нѣкоторое время миссіонеръ и его спутникъ ѣхали молча: такъ еще живо и жутко было воспоминаніе переправы, въ ухахъ все еще продолжали стучать льдины, да и Катунь была

близко тутъ, эта холодная, мятежная и гордая своею силой Катунь.

— Какъ же въ былое время миссіонеры ѣздили безъ паромовъ?— сказалъ о. Константинъ,—а, вѣдь, приходилось!..

И задумался, смотря на рѣку, о тѣхъ ушедшихъ и живыхъ, чьими трудами создавалась миссія, о тѣхъ, кто такъ же, какъ и онъ сейчасъ, нѣкогда проходили тутъ со словами



...черной лентой среди бѣлаго снѣга тянулся Чуйскій трактъ...

любви, своимъ подвигомъ жизни привлекая всѣхъ къ Господу Богу. Можетъ быть, онъ задумался и о тяжести бремени тѣхъ, кто были для него примѣромъ.

Его молодое, красивое лицо стало серьезнымъ, а глаза заглядѣлись въ даль, покрытую вездѣ снѣгомъ.

И, словно понявъ его, спутникъ сказалъ:

— Въ прежнее время, охъ, и дорожка была тутъ!.. И нынѣ трудно, а ранѣе—не дай Богъ: черезъ Катунь переправа, бывало, смерть.

— Святые люди миссіонеры были тогда!—откликнулся о. Константинъ.

И опять въ молчаніи они ѣхали оснѣженной дорогой, на

которой у Катуня среди чернолѣся темнѣли кое-гдѣ сосны, и горы тѣснились выступами, опускаясь къ рѣкѣ.

— Яломанъ то, безсовѣстный, не застылъ!—качалъ головою спутникъ миссіонера.—А, вѣдь, холодно, кажется... Надо бы ему утихомириться... Ишь, турусить, какъ сонная баба, не въ полную силу.

И, дѣйствительно, Яломанъ, небольшая рѣка, впадающая въ Катунь, шумѣла какъ то уныло, точно жалуясь со сна на холодъ и снѣгъ, ковавшій его быстрыя струи.

— Завтра—двѣнадцатое ноября, а ничто имъ, рѣкамъ горнымъ: сильно уже говорливыя!—сказалъ словоохотливый спутникъ о. Константина.—А холодаетъ: сегодня, однако, морозъ завернетъ... И жутко же: снѣгъ, горы каменистыя—и тишина, тишина... Жутко вамъ, батюшка?..

— Привыкъ!—опять отозвался тотъ.—Но, зимою, дѣйствительно, Алтай суровъ, не то, что лѣтомъ, когда вездѣ зелень, поютъ и ручьи, и рѣчки, а птицы гомономъ неустаннымъ наполняютъ лѣса... Скоро и Иня: ночуемъ у миссіонера, а завтра въ долину Чуйской будемъ путь держать.

II.

Въ маленькомъ миссіонерскомъ домѣ было уютно: пѣлъ ласковую пѣсню самоваръ, со стѣнъ глядѣли карточки старыхъ миссіонеровъ: энергичное, полное ума и воли, лицо архимандрита Владимира, и тонкія, одухотворенныя черты архіепископа Макарія, такъ напоминающія черты перваго Апостола Алтая, архимандрита Макарія Глухарева.

Сдѣлавъ дѣло, миссіонеры долго говорили о старомъ и новомъ, болѣе о старомъ, о большихъ трудахъ другихъ, забывая о себѣ, скромные въ своей оцѣнкѣ, говорили о нуждахъ миссіи, о горестяхъ, печаляхъ и радостяхъ жизни повседневной, и долго за полночь свѣтился огонекъ въ миссіонерскомъ домѣ Ининскаго стана, въ глухомъ углу Алтая, засыпаннаго снѣгами.

А ночь холодала. Легкая кухта пала на лѣсъ, луны не было, только звѣзды, особенно яркія, сверкали во тьмѣ.

Черною лентой среди бѣлаго снѣга тянулся Чуйскій трактъ. Столбы телеграфа уныло поднимались черезъ правильные промежутки. Особенно строго выглядывали сегодня

горы съ угрюмыми, причудливыми выступами: Алтай точно насупился, и день былъ сѣрый и мгlistый, томительный. Какъ то неохотно бѣжали лошади, но онѣ скоро согрѣлись и пошли ровно.

Къ полдню проглянуло солнце.



...камни бокового барьера дороги темными пятнами выступали изъ подъ снѣга...

Темнѣющей лентой стлался, извиваясь, путь; камни бокового барьера дороги темными пятнами выступали изъ подъ снѣга, такими же темными пятнами казались и телеграфные столбы; внизу, подъ бомами, стлалось полотно рѣки, схваченной морозомъ, но и тутъ еще не хотѣвшей уснуть подъ снѣгомъ.

— Однако въ Айгулакѣ ночевать придется: не доѣхать далѣе!—сказалъ о. Константинъ спутнику.

— Да, трудно ѣхать скоро: все бома... Вонъ опять!—отвѣтилъ тотъ.

— И широко дорогу проложили, а все трудно!—посѣтовалъ и ямщикъ.—Скользятъ лошади по льду, снѣгу мало...

А день опять нахмурился. Угрюмо глядѣли сосны, сбѣгавшія съ горъ къ рѣкѣ, на ея холодный покровъ; сумерки начинали бороться со свѣтомъ, подулъ рѣзкій, холодный, пронизывающій вѣтеръ: уже глубокимъ вечеромъ иззябшіе путники достигли Айгулака.

Въ маленькой, пріютившейся близъ огромной горы, избушкѣ, единственной здѣсь, очень убогой, покрытой берестю, собралось много народа: самъ хозяинъ съ большою семьей и проѣзжіе торговцы-чуйцы съ женами и ребенкомъ. Было душно невыносимо, и, не смотря на морозный вѣтеръ, нѣкоторые рѣшили ночевать на улицѣ въ лѣтнемъ экипажѣ, или амбарчикѣ: такъ томила духота и невозможность уснуть.



— да, трудно ѣхать: все борма!.. вонъ опять!..

О. Константину не пришлось сомкнуть глазъ: нѣсколько разъ онъ выходилъ изъ избы въ ожиданіи разсвѣта.

Подъ порывами вѣтра жалобно стонали рѣдкія сосны, окружавшія Айгулакъ, и лошади безпокойно фыркали у корма на неогороженномъ дворѣ.

Спутникъ о. Константина зябъ и жаловался на остановку:

— Надо бы ѣхать по тракту какъ нибудь... Тутъ замерзнешь, а въ избѣ силъ нѣту быть...

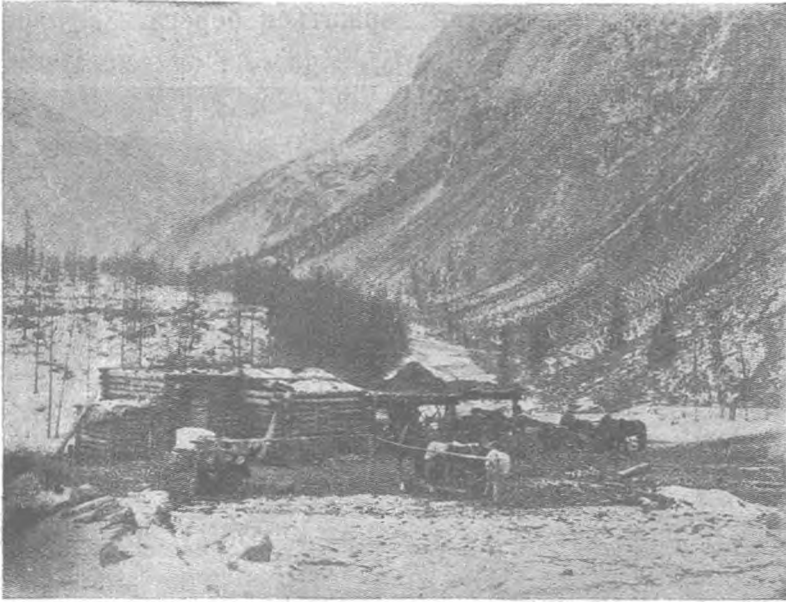
— Ты старыхъ миссіонеровъ вспомни: они пѣшкомъ ходили по аиламъ зимою! — упрекнулъ его о. Константинъ.

И онъ замолчалъ.

Утромъ совѣмъ рано двинулись къ Чибиту и пріѣхали туда усталые и разбитые, но теплота комнатъ миссіонерскаго

домика и доброе отношеніе новаго миссіонера, только что пріѣхавшаго въ этотъ вновь открывшійся станъ, ободрили уставшихъ.

Священники быстро разговорились, сходили въ маленькую Чибитскую церковь, огороженную оградой изъ жердей, и принялись составлять планъ будущей дѣятельности новаго миссіонера.



...въ маленькой, пріютившейся близъ огромной горы, избушкѣ собралось много народа...

Спутникъ о. Константина былъ доволенъ: онъ, обогрѣвшись, ходилъ по маленькому Чибиту, осматривалъ горы и сказалъ о. Константину, ложась спать, что Чибить—мѣсто хорошее, и жить тутъ можно, заставивъ обоихъ миссіонеровъ улыбнуться немного грустно.

Утромъ о. Константина ждала поѣздка въ Улаганъ, тяжелая семидесятиверстная дорога черезъ таежный перевалъ.

— Трудная дорога?—спрашивалъ о. Константина новый миссіонеръ.

Но о. Константинъ поспѣшилъ увѣрить, что дорога ничего: ему не хотѣлось пугать собрата и преувеличивать свои труды.

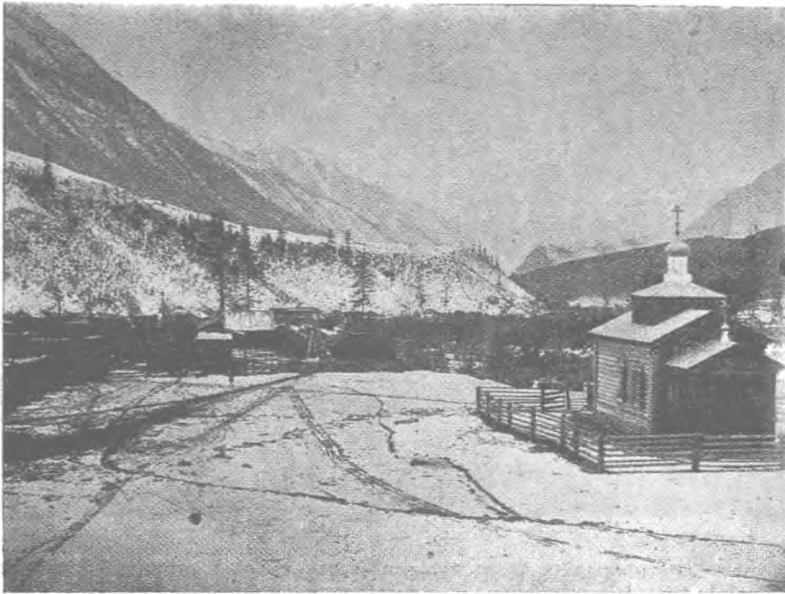
А тѣло ныло отъ ѣзды, и онъ съ наслажденіемъ уснулъ, стараясь не думать о предстоящемъ трудномъ пути.

Солнце свѣтило ярко, насколько можетъ оно свѣтить въ полдень въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Кони бодро бѣжали по оснѣженной, глухой дорогѣ. Было очень холодно.

— Это—озеро Чейбек-коль!—говорилъ проводникъ.—Прямо поѣдемъ; холодно, ледъ застылъ на немъ, ладно по...

И всѣ испуганно захлопотали около ухнувшей подъ ледъ лошади.

Однако все кончилось благополучно: лошадь выбралась на ледъ, и путники рѣшили держаться берега.



...сходили въ маленькую Чибитскую церковь, огороженную оградой изъ жердей...

Миновавъ озеро, они остановились подъ обдутою вѣтромъ горою чтобы покормить лошадей подножнымъ кормомъ. Проводникъ съ ними забрался выше, а путники принялись собирать сучья и готовить чай. Костеръ разложили на землѣ, для чего разгребли снѣгъ, выпавшій въ этой долинѣ до полуаршина, а изъ снѣговой воды напились чаю.

Тучи затуманили день: онѣ ниже и ниже опускались, точно желая коснуться долины, поползли по горамъ и начали осыпать снѣжинками путниковъ.

Къ ночи сильно забуранило, и эта буранивая ночь застала ихъ около Узукъ-коля.

До первой юрты было далеко, не менѣе пятнадцати верстъ, а буранъ не позволялъ дать отдыхъ лошадямъ въ полѣ. Привыкшими къ темнотѣ глазами путники искали лѣса, гдѣ бы можно было укрыться отъ вѣтра и снѣга, и, наконецъ, нашли мѣстечко въ небольшой впадинѣ скалы подъ двумя большими кедрами, нашли и поблагодарили Бога, а потомъ живо развели костеръ; но ночью было страшно холодно, и этотъ холодъ заставлялъ путниковъ просыпаться поминутно и грѣться у костра.

Кедры сильно шумѣли, сыпалъ снѣгъ, а вдали были жалобно, можетъ быть, вѣтеръ, а, можетъ быть, волки, и этотъ вой, жалкій и томительный, нагонялъ тоску.

У о. Константина томилося сердце: онъ думалъ о томъ, сколько еще ночей ждетъ его впереди, такихъ же холодныхъ и мрачныхъ, ему казалось, что онъ и его спутники—песчинки, затерянные среди горъ, и великою отрадою озарялося сердце при мысли, что о нихъ, песчинкахъ земныхъ, печется Отецъ Небесный, а ангелы Его охраняютъ ихъ путь.

Слѣдующая ночь послѣ дня пути принесла путникамъ относительный покой въ Улаганѣ; хотя миссіонерскій домикъ съ почернѣвшими, голыми стѣнами и дымящимися, неуклюжими печами не представлялъ удобствъ, но о. Константину онъ показался уютнымъ и милымъ.

Впереди ждали еще трудности пути, но онъ старался забыть о нихъ, сидя надъ книгами миссіонера, который, слушая его рассказъ о вчерашнемъ ночлегѣ, качалъ головою.

— Плохо быть благочиннымъ,—шутилъ онъ.—Мы все же не такъ часто въ лѣсу ночуемъ, а вы—частенько... Какъ бы завтра опять не пришлось: дорога трудная, не дай Богъ, да и погода не радуется... Плохое время, и не узнаешь красавца Алтая подъ снѣгами: угрюмый, сердитый, тошно смотрѣть. Зимой лучше: ночи лунныя, все горитъ, сверкаетъ, снѣга падаютъ глубокіе, а теперь—плохо, хмуро, непривѣтливо...

— Ничего!--бодро сказалъ о. Константинъ.—За то отдыхъ какъ цѣнится... Я еще молодъ—потружусь: скоро, вѣдь, и въ обратный путь двинемся... Можетъ быть, и погода исправится.

Но погода не исправилась.

Чолумманская долина близилась, осталось верстъ тридцать пути, и путники, опять черными точками тянувшіеся по

низинѣ, рѣшили, видя надвигающіяся сумерки, ночевать въ юртѣ у ямщика на станціи Іол-Узы; днемъ на пути задерживали алтайцы съ требамы, и опять ночь, ненастная и хмурая, покрыла землю прежде, чѣмъ путники достигли желанной цѣли.

Наступила мгла, и они потеряли дорогу; наконецъ, по лаю собакъ они наткнулись на какую то юрту, но она была такъ мала, что не было возможности въ ней переночевать; хозяевъ разспросили о дорогѣ и поѣхали опять, пока не выбились изъ силъ лошади, тогда рѣшили остановиться у рѣчки, среди горѣлаго лѣса. Сейчасъ же собрали костеръ, и о. Константинъ съ спутникомъ при свѣтѣ его увидѣли саженьяхъ въ пяти отъ себя какіе то темные, странные и непонятные предметы.

— Навѣрное, это пригоны калмыцкіе,—сказалъ спутникъ, —должно быть, мы на нихъ набрали, батюшка.

Снѣгъ валилъ большими хлопьями, и, подойдя ближе, путники убѣдились, что это не аилъ и не изгородь, а могилы калмыковъ.

О. Константинъ усмѣхнулся, видя испугъ своего ямщика.

Было мрачно и тихо, снѣгъ осыпалъ все, и во мракѣ, освѣщаемомъ только свѣтомъ костра, путники принялись рубить молодыя елки, чтобы ими отвести снѣгъ съ мѣста, которое приготовили для ночлега.

— Пусть хотя около насъ будетъ сухо!—говорилъ спутникъ о. Константина.—Ложитесь, батюшка, устать не мудрено съ дороги этой... Ишь, куда забрели изъ за бурана—на могилки попали.

Приткнувшись къ сѣдлу, о. Константинъ уснулъ крѣпко, но не надолго: его разбудилъ вой, томительный и жуткій—выли волки совсѣмъ близко отъ ночлега, и ихъ, судя по этому унылому вою, сливавшемуся въ дикую и заунывную мелодію, было не мало.

Проснувшись и спутники миссіонера, живо разожгли потухающій костеръ и поочередно принялись подкладывать въ него сучья и вѣтки, торчавшіе изъ подъ снѣга въ изобиліи, собирая ихъ около стоянки и чутко прислушиваясь къ вою волковъ.

Это была тревожная ночь, но и она миновала, какъ мигъ, все на свѣтѣ. Утро встало въ туманѣ; съ первыми

проблесками разсвѣта затихъ вой, и путники двинулись впередъ, теперь разобравшись, хотя и съ трудомъ, въ примѣтахъ дороги.

Ихъ ждалъ крутой спускъ въ Елъ-Узы. Чолушманской долины было почти не видно изъ за тумана, хотя до половины спускъ прошелъ хорошо, но потомъ путь совершали по догадкѣ въ сгустившемся туманѣ съ большою опасностью для себя; благодаря снѣгу и отсутствію слѣдовъ, тропка была потеряна, по бокамъ зіяли пропасти, поминутно лошади сколь-



...и только выѣхавъ въ самую Чолушманскую долину, путники вздохнули свободно...

зили около обрывовъ, и только выѣхавъ въ самую Чолушманскую долину, путники вздохнули свободно.

Она разстилалася передъ ними суровая, каменистая, и особенно темнѣли среди снѣжной пелены угрюмые камни и скалы огромныхъ горъ. Голубой Чолушманъ не пѣлъ свои пѣсни, притихли водопады, висѣвшіе теперь ледянымъ кружевомъ, причудливымъ и красивымъ, въ высотѣ своего паденія.

Въ Чолушманскомъ монастырѣ путниковъ ждалъ заслуженный отдыхъ.

О. Константину хотѣлося попасть на Белю, но его от-

говорили: на озерѣ отъ края и до края пролетали бури все эти дни, и оно бушевало, всею темное и мрачное въ оснѣженныхъ берегахъ, и, какъ ни скоръ былъ на дѣло молодой миссіонеръ, но живая смерть смотрѣла изъ глубинъ неспокойнаго озера, а его жизнь была полезна и нужна для другихъ.

И опять по труднымъ тропамъ Ель-Узы миссіонеръ направилъ путь въ Чуйскую долину, теперь уже къ далекому Кошъ-Агачу, для чего было нужно перевалить черезъ Курайскій перевалъ. Одну ночь провели въ юртѣ, а другую—подъ открытымъ небомъ, бродя въ глубокихъ снѣгахъ Курайскаго перевала; только буны—цѣлое стадо—попалися спутникамъ на дорогѣ, да на самой вершинѣ перевала—деревянный, немного покосившійся крестъ—память первыхъ миссіонеровъ, на который непогоды наложили свою печать.

Спускъ на Курайскую степь былъ очень тяжелъ: лошади тонули въ массахъ снѣга: онѣ то и дѣло падали, ранивъ своими ногами, и до того замучились бѣдные животныя, что на станціи Курай, едва успѣли спѣшиться путники, какъ двѣ изъ лошадей повалились на землю.

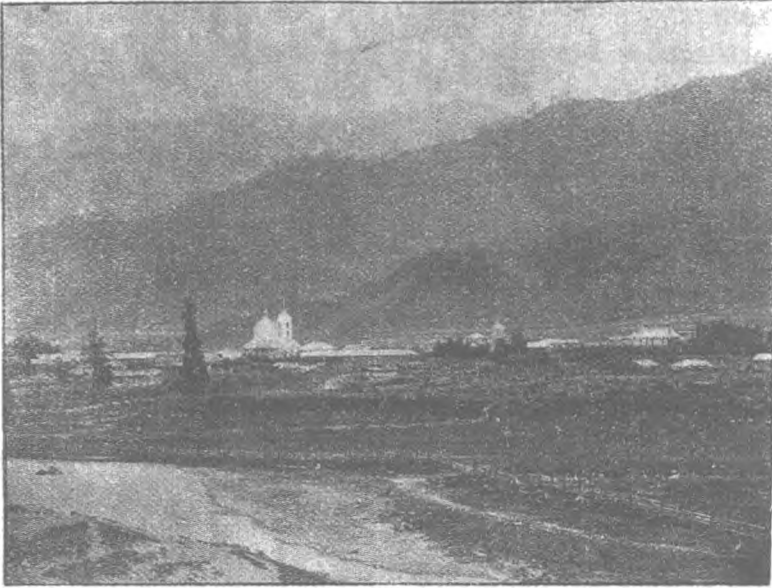
О. Константинъ бросился къ Сѣрку, который съ молчаливымъ терпѣніемъ несъ въ пути на себѣ вьюки; онъ хотѣлъ сшевелить съ мѣста бѣдное животное, объятый жалостью, но лошадь, измученная въ конецъ, отвѣтила только стономъ, и о. Константину хотѣлось плакать надъ нею: весь его трудъ, его безсонныя ночи, холодъ—все показалось ему ничтожнымъ въ сравненіи съ молчаливымъ страданіемъ терпѣливаго сѣренкаго конька, и онъ отвернулся, кусая губы, чтобы не разрыдаться надъ бѣдною лошадкою, которую нужно было бросить тутъ, чтобы спѣшиться на ямскихъ лошадяхъ въ Кошъ-Агачъ, гдѣ ждалъ его долгъ службы.

Но на обратномъ пути онъ былъ утѣшенъ; его старый другъ и другая лошадь оправались вполне и ждали своихъ хозяевъ.

И молодому о. Константину стало такъ радостно въ этотъ сумрачный день при видѣ отдохнувшихъ лошадей, что онъ забылъ и трудный путь, и ужасный буранъ въ Куяктанарѣ, чуть не стоившій ему жизни, и охотно отдалъ за сѣно пос-

лѣднія деньги, бывшія у него. Сѣно это стоило такъ дорого —1 рубль пудъ,—но онъ не жалѣлъ этихъ денегъ.

Опять мелькнули прежнія мѣста: Боголу-бомъ, Бичингу-Кая, паромъ на все еще не застывшей Катуни, и послѣ трехъ дней пути, проѣхавъ семьсотъ верстъ и перенеся опасности



... Вотъ, наконецъ, и любимое село, знакомое съ дѣтства, гдѣ трудился его много поработавшій для миссіи отецъ...

и невзгоды, молодой миссіонеръ перекрестился широкимъ крестомъ, увидѣвъ крестъ Онгудайской церкви. Вотъ, наконецъ, и любимое село, знакомое съ дѣтства, гдѣ трудился его много поработавшій для миссіи отецъ, ¹⁾ и гдѣ онъ, сынъ и внукъ миссіонеровъ Алтая, несъ свое подчасъ тяжелое бремя миссіонерскихъ трудовъ для Алтая, подражая тѣмъ первымъ учителямъ, которые принесли свѣтъ въ дикую, прекрасную лѣтомъ и угрюмую—зимою языческую страну.



¹⁾ Еп. Бійскій Иннокентій.



Незамѣтная подвижница.

(Памяти схимонахини Афанасіи, потрудившейся въ Алтай).

Блѣдное, кроткое лицо и глаза многодумные, глубокіе. Послушница Марія, безгранично любившая это лицо говорила сестрамъ нерѣдко, что ея сердце таетъ передъ матушкинымъ взглядомъ, и ей хочется плакать и каяться, хочется просить о прощеніи въ тѣхъ мысляхъ грѣховныхъ, которыя возникаютъ въ ея умѣ.

— Святая она, — говорила Марія, — наша матушка. Гляжу на нее другой разъ, когда молится, сама притворяюсь, что сплю, а у ней лицо такое станетъ кроткое, ясное, а глаза, а глаза!.. тѣ они слезы точатъ, то пламенемъ горятъ гнѣвные. Сестры милыя, это ей видятся свѣтлые ангелы и темные бѣсы.

Послушница Марія вѣрила въ это непоколебимо. Изъ далекой Россіи прибыла сюда игуменія Афанасія, молодой сравнительно дѣвицей Анастасіей; для подвига пришла она въ алтайскія горы и задумчивая, тихая, тогда же привлекла къ себѣ еще дѣтское сердце Маріи. Она, да сестра Елена, да Варвара Алексѣевна казались родными послушницѣ Маріи. Дѣвушка сжилася съ ними и любила ихъ, какъ своихъ, а

матушку труженицу, проводившую жизнь въ неусыпномъ трудѣ, около которой прошла ея ранняя юность и болѣе поздніе годы, Марія считала святой. Она съ матушкой и сестрой Евдокіей, теперь ставшей матушкой Еленой, помнила этотъ родной монастырь бѣдной одинокой избою, помнила размежку земли для него, своего отца ¹⁾, трудившагося надъ нею въ качествѣ выборнаго отъ общества вмѣстѣ съ землемѣромъ, помнила затѣмъ возникновеніе церкви и келій, заботы Анастасіи, ставшей въ постригѣ Афанасіей. Заботы, трудъ, молитва и любовь, вотъ что видѣла у ней Марія. Теперь время коснулось ея дорогой игуменьи, ныли и пухли простуженныя на работѣ ноги, матушка не могла долго стоять на нихъ и садилась даже на молитвѣ, а лицо осталось тоже, кроткое и ясное, полное доброты, и такими-же остались ясными и многдумными ея глаза.

Обитель разрасталась, построили большой домъ съ мезониномъ, построили домовую церковь и говорили о постройкѣ новаго отдѣльнаго храма. Густѣли ряды бѣлицъ; давно постриглась сестра Евдокія, превратившись въ Елену, и сама она, послушница Марія, изъ свѣжей дѣвочки и затѣмъ юной дѣвушки превратилась въ серьезную бѣлицу-монахиню, и ея лица коснулось время, положивъ на него тонкія морщинки вокругъ глазъ и мягко очерченного рта. Но голосъ остался у ней прежній—юный и свѣжій, и матушка Афанасія въ часы досуга просила ее.

— Спой мнѣ, Марія, на языкѣ своемъ „Всякое дыханіе да хвалить Господа“.

— „Ар тынар тынду Каанды мактазын!“—пѣла Марія, а игуменія слушала, глядя въ окно кельи на луговину монастырской ограды, гдѣ лѣтомъ жужжали пчелы, и летали пестрыя бабочки, а птицы вились свободныя, чистыя и беззаботныя.

— Хорошо птицамъ Божіимъ!—говорила матушка.—Онѣ только Господа хвалятъ, особенно ласточки милыя. Хочется мнѣ, Марія, чтобы они у меня подъ крестомъ на могилѣ свили гнѣздо себѣ и носились бы надъ нею бѣлогрудыя и щебетали.

— Не говорите о могилѣ, матушка... зачѣмъ это?

¹⁾ О. Михаила Чевалкова, крещенаго Алтайца, ставшаго впоследствии священникомъ-миссіонеромъ.

— Затѣмъ, милая, что это будетъ и—скоро, а вы тогда молитесь обо мнѣ, и псалтирь читайте. Чудные псалмы Давида царя! любилъ онъ красоту Божію и Господа. За каждымъ псалмомъ имя мое грѣшное помяните. Не будете читать псалтирь, будетъ бѣденъ монастырь вашъ; не забывай словъ моихъ, Марія.

— Ахъ, матушка милая,—брала послушница ея руки.—А вы будете ли молиться за насъ на томъ свѣтѣ?

И она всегда отвѣчала ей при каждомъ такомъ, за послѣднее время часто-возникавшемъ, разговорѣ:

— Я буду молиться за монастырь и за всѣхъ сестеръ, если меня самое Господь помилуетъ.

Едва появлялись первые цвѣты весною, и ей приносили ихъ, зная ея любовь къ нимъ, она на своихъ больныхъ ногахъ выходила за монастырскія стѣны посмотрѣть на весеннее любованье, или поднималась въ мезонинъ и, сядя у окна, глядѣла на прекрасныя горы, охватившія ихъ долину, и слушала, какъ шумитъ Майма. Что представлялось ей глазамъ, всегда становившимся ласковыми и нѣжными при взглядѣ на Божій міръ? мыслила ли она о далекой родинѣ, или она вспоминала свои странствованія? напоминалъ ли ей закатъ, красившій пурпуромъ горные выступы, далекія каменистыя горы Аравіи, окрашенные горячимъ солнцемъ Палестины, которую видѣла она такъ давно? можетъ быть, ей вспомнилось все чистое и свѣтлое, сдѣланное въ теченіе жизни, но она въ своемъ большомъ смиреніи не могла свѣтло улыбаться ему. Нѣтъ, скорѣе было вѣрно то, о чемъ шептались бѣлицы, и ей видѣлись ангелы въ тихомъ свѣтѣ потухавшихъ зорь, свѣтлые посланники Божіи, приходившіе на стражу къ обители смиренной и бѣдной, на благоустройство которой мать Афанасія вложила трудъ своей жизни.

У нихъ былъ строгій уставъ, и работали всѣ, старыя и малыя надъ шитьемъ зимою, моя, стирая, убирая, стряпая между келейными правилами и службой, а лѣтомъ—въ работѣ надъ огородами и въ поляхъ, въ работѣ тяжелой и утомительной, прилагавшейся еще къ зимнимъ трудамъ. Каждая руки были на счету, особенно во время уборки сѣна, и мать казначея часто бранила пожилую болѣзненную бѣлицу Варвару, оставляемую для уборки матушкиныхъ комнатъ, за нечистоту и

пыль, а та безъ возраженій принималась за трудъ. Матушкѣ Афанасіи было жаль Варвару, и когда монастырь пустѣлъ, она кликала къ себѣ ее:

— Варвара, иди, милая, почитай-ка, посиди тутъ, псалтирь, или подремли. Кружится голова-то? такъ... да вижу—крови у тебя мало; отдыхъ да молоко нужно, смиренная моя. Ведро тутъ, вода есть. Ну и ладно, сиди, сиди.



Блѣдное, кроткое лицо, и глаза многдумные, глубокіе...

И скрѣпляя себя, чтобы не застонать отъ поднимавшейся ломоты въ ногахъ, она мыла полы въ комнатахъ и корридорѣ, а Варвара, предъ которой она падала въ землю, прося не мѣшать ей, сидѣла покорно, давая отдыхъ своему слабому тѣлу.

— Ну, вотъ!—кончила мать Афанасія.—Ведро—тамъ. Видишь, моя блѣднолица, не тяжело мнѣ: я—здоровая; ноги болятъ, говоришь? а я на колѣнахъ; еслибы можно, то и воды принесла, да увидятъ, скажутъ, осудятъ, тебя подведу, бѣдная, моя, а, вѣдь, мнѣ скорбно безъ дѣла хлѣбъ ѣсть. Апостолъ

сказалъ: „Кто не трудится, да не ѣстъ“. Теперь я—въ церковь: устала Таня тамъ за псалтирю.

И шла читать, тайно смѣняя Таню, хромую, неспособную къ полевымъ работамъ дѣвушку, за которую часа три читала псалтирь, присѣвъ на стулѣ и давая слабогрудой Танѣ отдыхъ, котораго она была лишена наложеннымъ на нее послушаніемъ. Послушница Марія не знала даже объ этихъ трудахъ, а Таня и Варвара умѣли молчать, зато и любили онѣ свою смиренную, какъ въ душѣ называли ее между собою.

— Вериги носить!—шептались послушницы.

Услыхавъ какъ-то такое неосторожное слово, мать Афанасія, страшно опечаленная, спросила у Маріи, что такое онѣ говорятъ о веригахъ?

— Не ношу я ихъ... вонъ, тамъ лежатъ въ ящикѣ, въ гробъ положите ихъ со мною; была молода—носила, но и это тайна, смотри, Марія! носила отъ помысловъ, охраняя душу, чтобы не давало забыться желѣзо холодное, тяжестью своей тяжесть грѣховъ мнѣ напоминая. Онѣ мнѣ легки стали грѣшной: привыкла я къ нимъ: и полевые работы исполняла съ ними. Но потомъ, когда я изъ Іерусалима вернулась и болѣла сильно, увидали врачи земные вериги мои и велѣли ихъ снять, и съ того времени не надѣвала я ихъ, грѣшная. Скажи же, Марія, имъ, что никакихъ веригъ нѣтъ у меня!

И поникла опечаленная надъ книгою, которую держала въ рукахъ.

Осенью, когда умирала природа, ея овладѣвала тоска.

— О небѣ тоскую, недоступномъ по грѣхамъ моимъ. Вдругъ закроютъ отъ меня райскія обители ангелы Божіи такъ же, какъ небо закрыли облака туманные? Ахъ, какъ тоскливо и грустно мнѣ, какъ я подумаю, что не услышу небснаго пѣнія!

И въ трепетѣ молила Марію:

— Когда будете читать псалтирь, по смерти моей, и дойдете до молитвы, послѣ четвертой кафизмы положенной, пожалѣйте и помолитесь обо мнѣ.

Маріи запомнились ея слова, сказанныя ей однажды въ назиданіе передъ тѣмъ, какъ она приняла схиму, въ такіе осенніе дни.

— Какіе помыслы грѣшные приходятъ на умъ. Послушай

меня, Марія. Разъ весною, наканунѣ Благовѣщенія, днемъ я подумала: „завтра ѣдятъ рыбу... еслибы была свѣжая, я бы поѣла, а старую рыбу не буду ѣсть!“ И вышло изъ моего грѣшнаго помысла плохое дѣло. Не говори сестрамъ о томъ, что услышишь: это мнѣ вразумленіе Божіе за чревоугодничество было. Сѣла я послѣ всенощной передъ сномъ, чтобы молиться, лампадка въ темнотѣ иконы озаряла, и вижу: какія то темныя тѣни наполнили келью: странныя, страшныя, отвратительныя. Мнѣ казалось, что вы должны были слышать ихъ шумъ... и чудилось мнѣ—въ рукахъ ихъ туяся и чашки, и что-то ѣли онѣ и спорили между собою, а одинъ, уродливый и ужасный, носилъ большую свѣжую рыбу и сказалъ мнѣ, приближаясь: „не поѣшь ли ты этой рыбы?“ Пойми ты, Марія, испугъ могъ: я сознавала, что темные духи это, и, собравъ силы свои, прокляла ихъ, говоря: провалитесь вы въ бездну и тьму! Не помню: крестилась ли я,—мнѣ казалось, что крестилась,—я вся трепетала отъ ужаса, и слезы лились изъ моихъ глазъ, а вы не шли, и ни звука не слышала я кругомъ. Свѣтлыя пятна только родились въ ночной тьмѣ, наполнившей келью, и изъ нихъ слагались образы, превращаясь въ людей, въ свѣтлыхъ людей въ облаченіяхъ діаконѣвъ и священниковъ, съ свѣчами и кадилами, запѣввшихъ праздничныя пѣснопѣнія. Еслибы ты ихъ слышала, Марія! никогда я такого не слыхала пѣнія и не могу тебѣ передать, какъ оно было чудно. Моя душа улетѣла со звуками; они, казалось, уходили въ небо, и сердце мое таяло отъ умиленія, и лились слезы неудержимыя, а мысль родилась въ умѣ: „простилъ Господь... наказалъ и—утѣшилъ!“ а свѣтлые люди исчезли, растаяли, только пѣніе еще звучало долго въ ушахъ, пока ты не пришла. Это вразумленіе, Марія, чему я могу подчиниться, если буду мыслить о житейскомъ, и чего лишусь. Ты не говори никому; съ болѣзни я стала болтлива, но мое сердце боится смерти, и я не хочу дѣлать поступковъ, которые угонятъ меня отъ свѣта; а тебя, моя дочь, должна я учить.

И среди текущихъ дней она опять говорила послушницѣ:

— Ангелъ мой хранитель гнѣвается на меня, Марія, упрекаетъ, что я постъ оставила и Богу, какъ слѣдуетъ, не молюсь, а ты останавливаешь еще ночную молитву мою, на немощь указывая. Нѣтъ, съ тѣхъ поръ я рѣшила вставать въ полночь

и псалтирь читать, не простить ли мнѣ Господь этотъ грѣхъ мой; и ты не лѣнись молиться, Марія.

И молилась ночами мать Аѳанасія, вставая съ трудомъ и кладя поклоны, а сестра Марія дивилась ея терпѣнію, зная, что отъ ревматизма иногда ноютъ ужасно ея больныя ноги.

Послѣ схимы, она рѣдко стала выходить изъ кельи.

— А все солнце люблю и міръ—грѣшница, боюсь не праздность ли это, Марія, на красоту глядѣть полей, украшенныхъ кринами сельными?.. да нѣтъ, это и схимникамъ доступно, потому что красоту эту Господь сотворилъ. Ахъ, Марія, на поля мнѣ захотѣлось, на поля, гдѣ колосья золотистые поднимаются, а отъ лѣса тянетъ запахомъ ароматнымъ. Да дождусь ли? Осень холодная, мгла, и горы затянуло туманами. Замѣняетъ ли кто Таню псалтирницу? Въ ея часы трудно ей: темные духи придутъ къ ней слабой и будутъ шептать ей о здоровыхъ и сильныхъ, не жалѣющихъ ея. Не могу я одной молитвѣ отдать душу, Марія; жаль мнѣ Таню и Варвару жаль—уменьшить нужно работу имъ ласково, чтобы онѣ не замѣтили, что люди часть труда съ нихъ сняли. Ахъ, тяжело обижать, тяжело! лучше быть обиженной много. А весна мнѣ, Марія, кажется началомъ рая: еще въ дѣтствѣ я весну любила, запахъ сладкій черемухи цвѣтущей, ручьи говорливые и зори ясныя. Какое, бывало, умиленіе въ сердцѣ необъяснимое и тогда и сейчасъ, когда солнце весеннее встаетъ утрами ранними, какъ лучи его живительные, первые лучи осыпаютъ землю, какая радость рождается въ душѣ человѣческой, и какая грусть непонятная при багровомъ осеннемъ закатѣ. То—жизни рожденіе вѣчной, а то—смерть печальная. На востокѣ—рай... иначе бы сердце людей не трепетало восхищеніемъ при свѣтѣ утра и лучахъ солнечныхъ, не глядѣли бы радостно глаза на ясныя утреннія зори, и птицы небесныя не славили бы такъ Господа утрами весенними, которыя мнѣ хотѣлось бы увидать еще въ жизни.

И увидала, совсѣмъ ослабѣвшая тѣломъ, своими глазами, любившими Божій свѣтъ и ясное весеннее утро, и ясные солнечные лучи, и колосья полей, но эти колосья принесла и положила на ея убогое ложе послушница Марія. Свѣтлая радость освѣтила лицо схимницы.

— Ахъ, милая моя, спасибо: полемъ на меня пахнуло,

воздухомъ полевымъ... бывало, жну ихъ, и жаль неразумной золотое спѣлое срѣзать, такъ бы и оставила. Если бы меня Господь пожалѣлъ на судѣ Своемъ, и въ часъ мой я лицо моего ангела увидала!

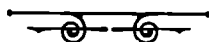
— Матушка, вы видите вашего ангела хранителя?—спросила, принимая къ ея ложу, послушница Марія и поцѣловала руку, лежавшую на колосьяхъ, эту, много трудившуюся въ жизни руку, теперь почти безжизненно лежавшую, бессильную и слабую.

— Нѣтъ!—сказала она тихо.—Я видѣла его разъ и хотѣла бы увидѣть, умирая, его ликъ и свѣтлыя прозрачныя крылья. Но, Марія, ты привыкла молчать; мои слова не—для людей; пока я жива, пусть никто никогда не услышитъ того, о чемъ я говорю съ тобою. Молись, чтобы ко мнѣ пришелъ мой хранитель и увѣрилъ меня, что тамъ меня помилуютъ на Божьемъ небѣ, помилуютъ и примутъ въ свѣтлое царство любви.

И дождалась. Такое было у ней свѣтлое лицо, когда она умирала, и сестры помнятъ, какъ засіяли ея глаза, какъ она приподнялась и затрепетала, словно объятая необъяснимой радостью, а улыбка, свѣтлая и прекрасная, легла на ея уста, и она сама сложила на груди руки, которыя такъ много поднимали труда во время жизни.

Эта жизнь ушла изъ міра, оставивъ Алтаю бренное тѣло и память незамѣтной подвижницы, которую люди обширнаго міра совсѣмъ не знали, но которую знали чистые ангелы и любилъ Самъ Христосъ, Кому принесла она на служеніе свою смиренную и кроткую душу.

Тихая могила на кладбищѣ у новой церкви, скромная, незамѣтная, какъ скромный и незамѣтенъ былъ подвигъ, но простой народъ говоритъ объ исцѣленіяхъ, простой народъ беретъ землю съ этой могилы, какъ святыню, и кто знаетъ, можетъ быть, зазвонятъ торжественно колокола среди алтайскихъ горъ, и скрытые въ скромной могилѣ останки откроются прославленные и возвеличенные, потому что Господь любитъ кроткихъ и возвеличиваетъ смиренныхъ, вознося ихъ славу до небесъ.



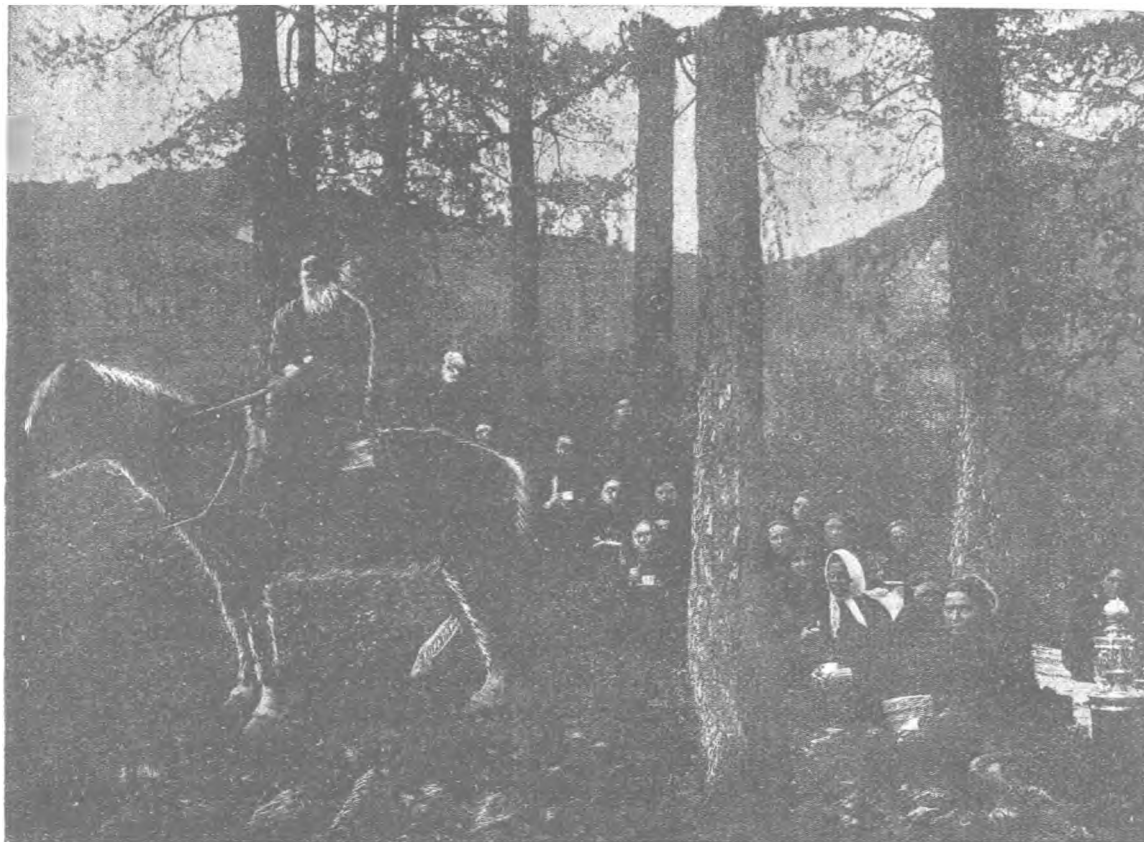


...Сегодня Васъ тамъ, на Алтаѣ, вспомнѣтъ; пройдесть по Алтаю молитва
за Васъ...

„Владыка! про Вашъ юбилей мнѣ сказали
Уста тѣхъ немногихъ изъ Вашихъ друзей,
Которымъ такъ близки всѣ Ваши печали
И радости, рѣдкія между скорбей.
И съ искреннимъ чувствомъ мы шлемъ Вамъ, Владыка,
Нашъ теплый, сердечный, душевный привѣтъ,
Отъ имени насъ и страны той великой,
Гдѣ дремлетъ снѣгами засыпанный лѣсъ.
Мы любимъ его, этотъ край отдаленный,
Гдѣ подвигъ вершили Вы долгій, святой,
И Вашъ юбилей, для Алтая священный,
Мы чтимъ, поздравляя Васъ всею душой.
И я, сарынчі дорогого Алтая,
И мужъ мой, помощникъ въ трудѣ для него,
Желаемъ Вамъ долгіе годы для края
На радость и свѣтлое благо его.
Сегодня Васъ тамъ, на Алтаѣ, вспомнѣтъ:
Пройдесть по Алтаю молитва за Васъ,
И старшіе младшимъ рассказывать станутъ:
— „Онъ много и скромно трудился для насъ“...
— „Трудился, лѣчилъ насъ, любилъ и молился“...
— „Теперь Онъ далеко, но помнитъ о насъ“...
— „Я, старый, въ Чемалѣ при немъ окрестился“...
— „А я въ Чолушманѣ былъ съ нимъ и не разъ“...
— „Дай, Боже, Ему и здоровья и силы:

Онъ много въ Чемалѣ сиротъ пріютилъ,
Ему всѣ алтайцы и близки, и милы,
Онъ мало-ли силы на насъ положилъ?!...
Владыка, въ Алтаѣ о Васъ не забыли:
Тамъ помнятъ и любятъ Васъ, любятъ и чтутъ.
Недаромъ въ огромной Россіи и мірѣ
Васъ люди „Апостолъ Алтая“ зовутъ.
И Вамъ сарынчі написалъ эти строки,
Жалѣя, что слабо владѣетъ перомъ,
Онъ искренно любитъ и чтитъ Васъ глубоко,
И проситъ молитвъ за своихъ и о немъ.





Архієпископъ Макарій (нынѣ митрополитъ московскій) на „Крестовой“ горѣ въ
лѣто 1912 года...

Изъ прошлаго.

(Къ пятидесятилѣтнему юбилею служенія въ священномъ санѣ Макарія, Архі-
епископа Томскаго и Алтайскаго—19 Марта 1861—19 Марта 1911 г.

„Сей вѣрный рабъ Господа жизнью своею
Былъ дивенъ, намъ ангелъ во плоти;
Смиреньемъ сердечнымъ плѣнилъ дикарей,
Онъ кроткими сдѣлалъ невѣрныхъ людей,
У дѣмона бывшихъ въ работѣ“.

(Изъ стихотв. свящ. Іоанна Ландышева).

— Вотъ онъ, Чемаль нашъ!—слабымъ голосомъ сказалъ больной миссіонеръ.—Люблю я красоту эту горную: тутъ каждая тропа знакома мнѣ вверхъ по Катунѣ до восьмидесяти верстъ и внизъ до пятидесяти по Чемалу, Куюмэ и Эликмонару; вездѣ красота Божія. Если у васъ душа природу любитъ, эту книгу Божию, то вамъ тутъ будетъ хорошо, братъ мой.

Тихо кашляя, больной внимательно вглядывался въ мо-

лодое красивое лицо, читая свѣтлую думу въ глазахъ юнаго монаха, заглядѣвшагося на далекія горы,

— Правда, жутко бываетъ иногда въ ночи ненастные: боръ шумить уныло въ лошинѣ за домомъ этимъ, гулъ поднимается, точно грохочетъ бубенъ, завыванья слышутся дикія... въ Чемалѣ вѣрятъ люди, что это—камы поднимаются, и моему взору иногда представлялись смутныя тѣни, окружающія домъ... а вы такъ молоды.

— Вамъ, навѣрно, некогда было думать много объ ужасахъ этихъ?—улыбнулся мягкой улыбкой юный іеромонахъ.

Но старшій покачалъ головою.

— Я ко всему долженъ приготовить васъ: зимою, когда снѣга засыпаютъ Алтай, здѣсь мертвая тишина стоитъ, даже Катунь замираетъ и бьется только въ полыньяхъ... жутко человѣку привычному... а вы—такъ молоды.

Но его пытливый взглядъ, устремленный на молодое лицо, освѣтился довольствомъ, когда его преемникъ произнесъ:

— Со мною Господь,—вѣдь я желалъ сюда ради любви и подвига... не бойтесь за меня: Господь мой помощникъ.

— Такъ... такъ... вы правы: Онъ—помощникъ... а люди, братъ мой, тутъ добрые, кроткіе, суевѣрные только до страсти; всего невидимаго трепещутъ, бѣдные, темные люди... „Патмосъ“ мой посѣтитъ не забывайте; хорошо на немъ; тамъ кромѣ ропота Катуни голоса человѣческаго не услышишь: о камни она бьется мятежная, одна нарушая молчаніе пустыни... Придется вамъ бороться тутъ съ невѣжествомъ, лѣчить немощи тѣлесныя и духовныя... труда—сколько хотите будетъ, болѣзней—тъма: вѣдь, вы уже не первый годъ въ миссіи, знаете, какой они народъ нечистоплотный... особенно болѣзни глазныя развиты... а чѣмъ лѣчутся, тоже, поди, извѣстно?... я силы полагалъ тутъ тринадцать лѣтъ,—за что зачтетъ Господь эти годы, Имъ однимъ зримые.. мала еще паства моя... пока я лѣчусь ѣду, тутъ Іосифъ Александровскій будетъ, укажетъ вамъ оглашенныхъ: не много ихъ; вотъ бы надо вамъ съѣздить въ аилъ за Тельдекменемъ; тамъ одна душа крещенія проситъ давно, вырваться сюда не можетъ, а я—слабъ и тоже не могъ ѣхать туда.

Онъ назвалъ аилъ и сказалъ, что инородецъ Василій покажетъ о. Макарію путь.

— Это, пожалуй, сегодня нужно сдѣлать,—сказалъ тотъ живо.—Здѣсь пока требъ нѣтъ. Вы еще, о. Іоаннъ, соберетесь уѣзжать не завтра, и время мнѣ удобное... пойду я, отыщу Василю, лошадей, и скажите мнѣ имя этой души, спасенія ищущей.

— Тортошъ Манышевъ... слабый человѣкъ, болѣзненный: надъ нимъ его младшій братъ, двѣ жены и дядя стоятъ, какъ темные духи... зимой онъ еще мнѣ сказалъ: „пріѣзжай за мной, абызъ, моя душа устала вѣрить богамъ, уши не могутъ слушать камланья, мнѣ противны камы, но они меня не выпускаютъ; пріѣзжай, увези меня и окрестить“.

— Вотъ видите, стало быть нужно, чтобы я поѣхалъ не медля... сколько времени нужно ѣхать туда?

— До Тельдекмена отсюда верстъ сорокъ, потомъ еще верстъ двадцать до бома Кызыл-отру, и у Пельтыр-оэка, который впадаетъ въ Катунь, въ сторону немного, стоитъ аилъ Манышева... красивыя мѣста: они любятъ селиться далеко и выбираютъ такіе уголки, что любоваться надо, другъ мой... вотъ и Василій, кстати.

Небольшой сухощавый скуластый инородецъ, привѣтливо поклонился миссіонерамъ и, поговоривъ съ ними, пошелъ за лошадьми.

— Смотрите, осторожныѣ, отецъ Макарій,—спустя часъ напутствовалъ ихъ больной миссіонеръ.—Они въ гнѣвѣ могутъ причинить вамъ зло; темныя, невѣжественныя дѣти; и ночевать придется на дорогѣ: она пустынна, тутъ аиловъ нѣтъ... развѣ послать съ вами Александровскаго?..

— Не заботьтесь, пожалуйста, никого не нужно; мы одни.

И береговою тропой по Катунѣ они поѣхали вверхъ, все далѣе и далѣе стремясь отъ Чемала.

Сперва они говорили, а потомъ замолкли, потому что приходилось напрягать голосъ: такъ грохотала рѣка. До самыхъ сумерекъ, не останавливаясь, они продолжали путь, слушая ея пѣсни, и, немного свернувъ съ дороги, ночевали на какой-то рѣчущкѣ—подъ камнями скалистаго и лѣсистаго берега, безъ палатки, и утренній разсвѣтъ рано поднималъ ихъ.

— Скоро Тельдекмень будетъ... то мѣсто, гдѣ богатыри когда-то мостъ строили,—говорилъ Василій, кипятя въ котелкѣ чай.—Много разныхъ разсказовъ про это мѣсто говорятъ.

— А отецъ Тортоша Манышева давно умеръ?—перебилъ его отецъ Макарій.—Ты знаешь ихъ?

— Знаю. Сапырь, его младшій братъ—охотникъ, сердитый такой, а дядя—камъ. Они всѣ живутъ вмѣстѣ, и въ аилѣ у нихъ всей родни человѣкъ двадцать... не обрадуются они намъ.

Онъ говорилъ это съ глубокимъ спокойствіемъ, присутствующимъ алтайцамъ.

— Насъ съ тобой, пожалуй, побьютъ, какъ обозлятся: въ прошлый разъ они на абыза грозились: Сапырь даже ружье вытащилъ; а дядя камъ—совсѣмъ страшный, глаза дикіе, и всегда точно зябнетъ, зѣваетъ, трясется... говорятъ, его духи одолѣли.

Когда они двинулись въ туманѣ, гремѣла и билась въ узкихъ берегахъ р. Тельдекмень, и они ѣхали медленно, часъ за часомъ, приближаясь къ цѣли.

— Скоро и Пельтыр-оэкъ,—сказалъ Василій.—Ты не былъ ранѣе въ этихъ мѣстахъ, отецъ Макарій?

— Не былъ!—откликнулся тотъ... Какая дорога трудная: уже вечерѣетъ.

Но только когда начало смеркаться, они достигли тихаго аила, миновавъ Пельтыр-оэкъ, глубокое ущелье котораго осталось въ сторонѣ. Женщины аила скликали коровъ, ихъ странные крики летѣли въ тишинѣ. На лай собакъ при приближеніи путниковъ выскочили полутолыя дѣти, и на порогѣ одной изъ трехъ юртъ показался изможденный болѣзнью сгорбленный инородецъ.

— Вотъ онъ самъ, Тортошъ Манышевъ, абызь... какой худой!.. въ чемъ душа!!

Отецъ Макарій поспѣшно спустился съ лошади.

— Здравствуй!—сказалъ онъ по-алтайски.—Вотъ я пріѣхалъ къ тебѣ, Тортошъ: меня послалъ абызь изъ Чемала... у тебя болить душа, а я могу вылѣчить ее и привести къ свѣту изъ темноты.

— Ты абызь?—обрадовался хозяинъ, оглядываясь пугливо.—Тише, тише... дядю затрясла лихорадка: кара-немэ мучаютъ его... я не хочу, чтобы меня такъ мучили, я только боюсь, что Сапырь озлится... охъ, какъ онъ не любитъ васъ, абызовъ! а мнѣ охота тихо жить и слушать, какъ колокола

звонить будутъ... въ Чемалѣ я люблю колоколъ: онъ ровно зоветъ: „къ намъ... къ намъ“... вонъ, абагая затрясли каранемъ за то, что онъ имъ камлалъ: они добра не помнятъ, проклятые.

И вдругъ сжался весь, пугливо глядя въ сторону третьей юрты, изъ которой вышелъ высокій плечистый инородецъ.

— Сапырь—прошепталъ онъ.—Ой, калак... Сапырь!..

— Ну, и что же? что тебѣ бояться его?—сказалъ мягко отецъ Макарій:—это—тоже темная сила, и ты уйдешь отъ нея, какъ только я тебя увезу... убить онъ насъ не можетъ... иди туда, въ юрту, я тоже приду. а пока я поговорю съ нимъ.

И самъ пошелъ на-встрѣчу мрачному человѣку.

— Ты зачѣмъ пріѣхалъ? Кто ты?—сказалъ тотъ.

— Я тебя тоже спрошу объ этомъ—съ спокойной кротостью обратился къ нему отецъ Макарій.—Я пріѣхалъ сюда спасти душу Тортоша Манышева.

— А я—его братъ, Сапырь Манышевъ, и не пушу его съ тобою: онъ потерялъ умъ: у насъ такъ бываетъ въ роду... вонъ абагай совсѣмъ рѣшился ума, и его затрясли темные духи, и Тортошъ полоумный: онъ не смѣетъ креститься, никакъ этого нельзя... я не дамъ ему этого сдѣлать.

— Онъ—не дитя, и твой старшій братъ; не поднимай кулаки, или я подумаю, что настоящій безумецъ ты, Сапырь... никогда въ аилахъ такъ не принимаютъ гостей, какъ принимаешь ты... слава бы пошла по Алтаю, если бы узнали, что можно найти въ аилѣ Манышева вмѣсто гостепріимства!.. лучше покажите мнѣ больного кама: у меня есть лѣкарства, и я помогу ему, можетъ быть, немного... завтра сюда пріѣдетъ другой абызъ и съ нимъ чиновникъ, бій... къ вечеру они будутъ въ аилѣ. Въ Чемалѣ знаютъ, что я поѣхалъ за Тортошемъ и, если ты тронешь Василія, тебѣ будетъ нехорошо; будетъ тебѣ плохо и тогда, когда ты тронешь своего брата.

Глаза Сапыра угрюмо впились въ молодое спокойное лицо; онъ прошепталъ какое то проклятіе и пошелъ за миссіонеромъ къ отверстію ближайшей юрты. Женщины и дѣти съ любопытствомъ глядѣли на миссіонера, а на ложѣ въ юртѣ зашевелился покрытый шубами камъ и что-то забормо-

талъ невнятное, поднявъ на вошедшихъ воспаленные бѣгающіе глаза...

Пока Тортошъ суетливо усаживалъ гостя, Сапыръ что-то шепталъ женщинамъ, и тѣ насупились, отведя глаза отъ миссіонера.

— Проклятый такой... проклятый... изъ-за него Ульгень и Эрликъ накажутъ насъ всѣхъ, а Тортошу зададутъ... а ты зачѣмъ тутъ, боламъ? — крикнулъ онъ, увидавъ славнаго крѣпкаго мальчика, своего любимаго девятилѣтняго сынишку. — Пошелъ, пошелъ... нечего тебѣ смотрѣть и глаза пялить, бѣги-ка, ищи козъ: онѣ разбѣжались, подите къ Пельтыр-оэку, а то этотъ, — понизилъ онъ голосъ, — околдуетъ васъ такъ, что у васъ вмѣсто головъ вырастутъ шишки... онъ пріѣхалъ колдовать сюда, проклятый; бѣги, мальчикъ.

И дѣти испуганно отошли отъ юрты, въ отверстіе которой глядѣли на молодого русскаго абыза ихъ любопытные глаза.

Василій принесъ суму. Изъ нея юный миссіонеръ вынулъ лѣкарства, которыя хотѣлъ дать больному, но камъ сдѣлалъ видъ, что уснулъ, и отецъ Макарій сталъ говорить Тортошу о Богѣ, пока Василій кипятилъ чайникъ.

— Вотъ, если бы душу эту темную тронуть можно было, — говорилъ онъ, указывая на кама, — онъ бы могъ исцѣлиться и безъ лѣкарствъ, которымъ не довѣряетъ... у нашего Господа есть много святыхъ, они жили ранѣе на землѣ и знакомы имъ всѣ скорби и печали мірскія, а когда Господь ихъ за свѣтлую жизнь взялъ на небо, они у Него въ награду попросили даръ цѣлить болѣзни людей, и кто имъ молится, тому они помогаютъ, исцѣляя отъ болѣзней тѣла и души. Твоего абагая зовутъ Тискинекъ?

— Да.

— Слушай, Тискинекъ, я, вѣдь, знаю, что ты не спишь и слушаешь; видишь, закатъ догораетъ, и день тухнетъ, здѣсь въ долинѣ уже сумерки, такъ догораетъ и твоя жизнь; какъ день умираетъ вечеромъ и воскресаетъ утромъ, такъ и твоя душа потомъ воскреснетъ, и какъ ей будетъ страшно тамъ, куда попадетъ она, служившая въ мірѣ демонамъ и незнающая Христа! И сейчасъ къ тебѣ, Тискинекъ, приходятъ они, черные, страшные, душа кошмарами, леденя твою душу холодомъ ужаса.

Камъ сѣлъ на свое ложе; его трясущіяся руки протянулись къ миссіонеру, и все зло темной души засвѣтилось въ глазахъ,

— Замолчи!—захрипѣлъ онъ,—замолчи!

— Нѣтъ, я не замолчу,—сказалъ тотъ, поднимаясь съ сидѣнья.—Призывай ихъ, проклинай, они мнѣ ничего не сдѣлаютъ, ни мнѣ, ни Василию, ни Тортошу, потому что въ его душѣ живетъ имя Христа. Бѣдный человѣкъ! почему ты отталкиваешь меня?—да потому, что они тебѣ внушаютъ это, тѣ черные духи, которые овладѣли твоимъ тѣломъ и душой, а Христосъ, жалѣя тебя, послалъ меня и велѣлъ говорить тебѣ о Своей великой любви, о томъ, что ты Его дитя заблудшее, что тебя, который ужасаетъ глаза человѣка видомъ, Онъ любитъ, какъ отецъ... послушай меня...

Но камъ, собирая силы, поднялся и замахалъ, какъ бѣшеный, руками.

— Уйди, уйди... мое сердце горитъ огнемъ; если ты не уйдешь, я кинусь на тебя и вцѣплюсь въ твое горло, перекушу его и стану пить твою кровь... уходи... уходи...

Страшная зѣвота овладѣла камомъ, его тянуло всего, и онъ корчился передъ блѣднымъ отъ ужаса Тортошемъ и Василиемъ, а отецъ Макарій своимъ мягкимъ голосомъ читалъ молитвы, поднявъ глаза къ темному прокопченному потолку юрты, въ отверстіе которой заглянула трепещущая звѣздочка, первая заблестѣвшая на небѣ, а камъ все трепеталъ на одномъ мѣстѣ: ему дергало глаза, ротъ, руки, и вдругъ изъ перекошеннаго рта хлынула кровь, и онъ, зашатавшись, рухнулъ на ложе.

О. Макарій подошелъ къ каму. Онъ, Василій и Тортошъ уложили его на ложе и прикрыли шкурами, потомъ отецъ Макарій, оградивъ крестомъ разведенное лѣкарство, хотѣлъ влить его въ полуоткрытый ротъ, но рука Сапыра, неожиданно появившагося около нихъ, ударила по его рукѣ, и чашечка съ лѣкарствомъ, выбитая изъ нея, полетѣла на полъ.

— Посмѣй!—прошипѣлъ онъ.—Посмѣй! мы тебя и этого дурака,—плюнулъ онъ на брата,—изъ аила выбросимъ... пой его своимъ пойломъ, а абагая не тронь.

— Ты приносишь ему зло непоправимое... если его не лѣчить, онъ умретъ: припадки ослабляютъ его... я думалъ,

что у большихъ людей есть разумъ, а вижу, что его нѣтъ,—съ горечью сказалъ отецъ Макарій.—Ты боишься, чтобы сила Господня не проявилась на немъ, темная душа... зачѣмъ ты угналъ женщинъ и дѣтей? они бы могли послушать нашу бесѣду.

— Намъ некогда тебя слушать,—съ ненавистью воскликнулъ Сапырь,—убирайся въ юрту этого дурака изъ юрты абагая... я тебѣ говорю: бери свой чай...

— Ступай, веди его,—кричалъ онъ Тортошу,—не то я возьму камчи и отпорю васъ; можете жаловаться бію вашему... хоть кому... а тутъ не оставайтесь.

— Ты не хозяинъ этой юрты,—сказалъ ему братъ.—Зачѣмъ гонишь?

Но плеть, которую моментально схватилъ Сапырь, заставила его замолчать.

Отецъ Макарій схватилъ руку обидчика.

— Не тронь... уйдемъ мы... ты—безсердечный и злой человѣкъ,—кинулъ онъ и ушелъ въ юрту Тортоша.

Туда пришла жена того и сынъ; они долго говорили. Тортошъ рѣшилъ ѣхать въ Чемаль, хотя жена и сынъ прекословили ему.

— Поѣду, поживу—успокаивалъ онъ ихъ.—Я, вѣдь, еще не креститься.

А самъ наивно подмигивалъ миссіонеру, возбуждая въ томъ невольно грусть.

Въ аилѣ не засыпали. Давно уже была ночь, теплая и ясная, и въ ея тишинѣ слышно было, какъ пѣла вода Пельтыр-оэка.

— Что-то замышляютъ,—вышелъ и вернулся Василій.—Коней осѣдлали, женщина плачетъ тамъ...

— Ужъ не померъ ли твой абагай, Тортошъ?

— Не знаю,—покачалъ тотъ головой.—Я теперь выходить боюсь: Сапырь злой... ой, какой злой!.. можетъ, онъ поѣхалъ въ аилъ за людьми, можетъ онъ насъ бить будетъ съ ними вмѣстѣ.

Лицо Василія немного поблѣднѣло: этотъ спокойный покорный тонъ сородича пугалъ его, а отецъ Макарій сидѣлъ, глядя задумчивымъ взглядомъ въ тишину ночи; у него было грустно на душѣ. Въ отдаленіи прозвучалъ топотъ лошади,

голоса, и его глаза невольно обратились на лица хозяина и его семьи и примѣтили мертвенно-блѣдное теперь лицо Василя.

— Что это они? почему не спать?—спросилъ тотъ.

— Не бойся ничего—спокойно сказалъ миссіонеръ—успокойся и лягъ: у нихъ, видимо, что-то случилось... вонъ, ближе голоса... слушайте, они сами чѣмъ то испуганы, и женщины плачутъ... вонъ, хозяйка идетъ узнать... иди съ миромъ и я съ тобою: можетъ быть, тамъ нужна помощь.

И всѣ потянулись за нимъ и хозяйкой къ полянѣ среди аила, гдѣ женщины и дѣти поспѣшно раскладывали костеръ.

— Рыбу надо запечь—слышался слабый голосъ кама.

А женскій голосъ, рыдая, повторялъ:

— Болам, болам! мой Татиръ... о, колак... колак... зачѣмъ ты его услалъ, Сапырь? теперь смерть возьметъ его: ок-ділан укусила его ногу... не поможетъ ваша рыба и ядно... ничего не поможетъ... смотри, какъ пухнетъ она...

— Не плачь, Татир... о, колак... колак...

Отецъ Макарій спѣшно приблизился къ толпѣ, онъ раздвинулъ кругъ и увидѣлъ на рукахъ Сапыра, беспомощно сидѣвшаго на камнѣ, тихо плакавшаго мальчика съ поблѣднѣвшимъ личикомъ. Передъ ними, сидя у ногъ мужа, рыдала еще не старая женщина.

— Почему вы думаете, что его укусила ок-ділан?—спросилъ миссіонеръ торопливо.—Можетъ быть, простая змѣя?

Сапырь поднялъ на него суровые, теперь полные скорби глаза, и молча пихнулъ къ нему небольшую бурю змѣйку.

— Татиръ убилъ ее,—сказалъ онъ глухо.

Тогда миссіонеръ быстро обернулся къ Василю.

— Воды и мыло скорѣе.

— А ты, Тортошъ, неси суму мою сюда...

— Подкиньте хворосту въ костеръ, чтобы онъ былъ свѣтлѣе...

— Не бойся, Татиръ, я тебѣ не сдѣлаю больно—засучилъ онъ рукава,—не бойся, маленькій уулчакъ: ты не умрешь... нѣтъ... нѣтъ...

— Скорѣе, скорѣе, Василій.

Платкомъ онъ накрѣпко перетянулъ смуглую ножку выше колѣна, до котораго почти дошла уже опухоль, поспѣшно вымылъ руки и осторожно обмылъ ранку, потомъ, на глазахъ

изумленныхъ и насторожившихся людей припаль къ ней губами.

— Абызь!—сказалъ Василій предостерегающе.—Если тебѣ попадетъ ядъ, ты умрешь.

Но абызь ничего ему не отвѣтилъ.

Глаза Сапыра и матери Татира впились въ эту кудрявую голову, припавшую къ дѣтскому тѣлу.

Отецъ Макарій выплевывалъ слюну и говорилъ, ободряя мальчика:

— Чутьочку больно... потерпи... вотъ и кровь пошла, слава Богу!.. еще немного потерпи, дитя.

Кама, приплевавшегося сюда, опять охватилъ ознобъ, и онъ пошелъ въ юрту, но остановился въ раздумьи, глядя на миссіонера. Можетъ быть, онъ сравнивалъ этого юнаго кама русскихъ съ собою, кама-абыза, который служилъ невѣдомому для него Богу, безконечно милосердному, у Котораго онъ съ юныхъ лѣтъ научился тоже быть милосерднымъ къ тѣмъ, кто творилъ ему зло.

— Теперь масло, Василій... такъ... прибавь его каплю въ камфарное... слава Богу... повязки? онѣ влѣво лежатъ... хорошо... теперь положи сахару въ воду больше и такъ мнѣ дай куска два... постой я забинтую впередъ ножку и руки вымою.

— Вотъ теперь, Татиръ, ты выпьешь горькую воду, это такъ нужно, но за то я дамъ тебѣ сладкаго... вотъ видишь?—подалъ онъ сахаръ.

Черные глаза ребенка заблестѣли восхищеніемъ, и онъ довѣрчиво протянулъ руку за сахаромъ.

— Теперь унесите его,—давъ лѣкарство мальчику, сказалъ миссіонеръ,—и положите въ тепло, укройте... я пришлю ему чаю; пусть онъ напьется и вспотѣетъ. Господь поможетъ: не заботьтесь и не скорбите.

Онъ ушелъ въ юрту, чтобы предаться короткому отдыху, но долго не могъ заснуть, а въ юртѣ Сапыра не спали тоже, и самъ онъ, полный глубокой думы, сидѣлъ подлѣ спящаго мальчика и его робкая жена.

Полоса зари разгорѣлась на востокѣ, и птицы начали просыпаться, издали слышался ропотъ Пельтыр-оэка, впадающаго въ Катунь, но онъ не видалъ и не слышалъ ничего: его глаза не отрывались отъ дѣтскаго личика.

Ребенокъ вспотѣлъ и сладко спалъ, а между тѣмъ его укусила ок-ділан, укусъ которой причиняетъ смерть. Сапыръ сдвигалъ брови: въ его глазахъ стояла кудрявая голова, приникшая къ тѣлу ребенка, голова того, кого онъ обидѣлъ, и гналъ отъ себя; даже минутная дремота не одолѣла его: такъ глубока была его дума.

Утромъ абызь пришелъ къ ребенку; мальчикъ проснулся, былъ веселъ и встрѣтилъ его радостно.

— Спасибо, абызь: не больно ногъ, а гляди, какая большая ок-ділан, самая настоящая!—показалъ онъ на мертвую змѣю.

Отецъ Макарій развязалъ его ногу и перекрестился: опухоль спала совсѣмъ и ранка не была вовсе воспаленной и засыхала: онъ перемѣнилъ перевязку и сказалъ, обращаясь къ Сапыру:

— Я оставляю тебѣ масла и бинтовъ... видишь, какъ я это дѣлалъ? теперь только нужно, чтобы ранка не засорилась... вчера я, чтобы не дать тебѣ сдѣлать зла, сказалъ, что сюда пріѣдетъ бій: бій не пріѣдетъ сегодня. Я уже отправилъ въ Чемаль Тортоша и Василия, и ты можешь сердиться и кричать на меня.

Сапыръ поднялъ суровые глаза на миссіонера, они встрѣтились съ спокойнымъ взглядомъ кроткихъ и ясныхъ глазъ, но развѣ могло подняться зло въ душѣ Сапыра?

Онъ бросилъ невольный взглядъ на змѣю, валявшуюся на полу, на веселое личико мальчика и полное боязни лицо жены, съ мольбою смотрѣвшей на него, перевелъ опять глаза на молодое лицо и вдругъ поднялся передъ отцомъ Макаріемъ, большой и сильный; его губы передернуло: такъ тяжело ему было говорить слова, которые родились и трепетали въ сердцѣ, но онъ пересилилъ себя.

— Спасибо тебѣ, абызь,—неувѣренно началъ онъ,—за мальчика, за Татира... я злой... прости меня... я потомъ съ нимъ пріѣду къ тебѣ, скоро пріѣду... прости меня, абызь.

И поклонился низко, скрывая взволнованное лицо,

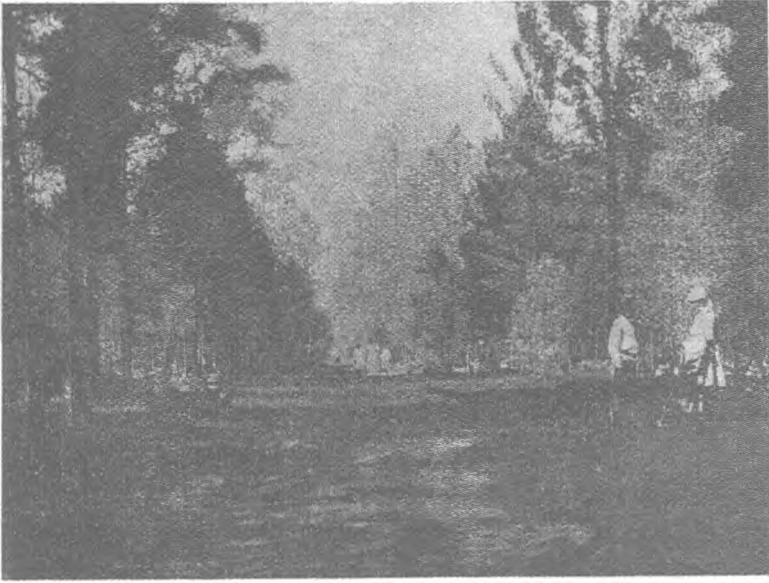
Отецъ Макарій понялъ, чего стоили гордому человѣку эти слова; дружески взявъ его за руку, онъ ясно и ласково улыбнулся.

— Спасибо и тебѣ, Сапыръ, за ласковое слово,—сказалъ

онъ кротко, за то, что ты позволилъ мнѣ помочь ребенку: я буду ждать васъ всѣхъ въ Чемалѣ... милости просимъ ко мнѣ, въ мой домъ.

И они оба уже спокойно и довѣрчиво взглянули въ глаза другъ другу.

Катунь обдавала брызгами каменистую дорожку бома Ка-



Аллея въ Чемальскомъ бору

зыл-отру, по которой осторожно шла лошадь отца Макарія. Сегодня угрюмыя скалы и быстрыя струи Катунь казались ему особенно красивыми и особенно яснымъ и теплымъ день; иногда онъ взглядывалъ на небо, безъ отмѣтинки синее и глубокое: одиночество не томило его; съ нимъ былъ его Господь, для Котораго онъ приобрѣлъ душу Тортоса и надѣялся приобрести Сапыра и его семью, и свѣтлая радость исполненнаго долга заставляла зажигаться теплой любовью его глаза, которыми онъ глядѣлъ на Алтай, на эту страну, въ которую принесъ свои готовыя для подвига душу и силы.





Алтайцы изъ далей спѣшаютъ вереницей, узнавъ, что Макарій плыветъ...

(Post scriptum).

На миломъ Алтаѣ могилы родныя,
Облитыя солнцемъ, стоятъ,
Надъ ними, какъ стражи, гиганты лѣсные
Привѣтно вѣтвями шумятъ.

— ♦ —
И горы кругомъ поднялись, исполины,—
Вершины ихъ въ небо ушли;
Прекрасны Алтая озера, долины,
Гдѣ подвигъ когда-то несли
Всѣ тѣ, что лежатъ подъ родною землею
Въ долинахъ Алтая вездѣ,
Всѣ тѣ, что несли ему слово святое
И жизнь проводили въ трудѣ...
Не всѣ они тутъ, потрудившіся въ мірѣ,
Почившіе, нѣту иныхъ,
Но сердцемъ Алтай они крѣпко любили,
И духъ ихъ средь горъ дорогихъ.

Макарій, смиренный апостолъ Алтая,
 Спитъ въ Болговѣ, тамъ, подъ Москвой;
 Владимиръ, ушедшій изъ милого края,
 Въ Казани нашелъ свой покой;
 У церкви Стефанъ ¹⁾ и Василиій ²⁾ почили,—
 Въ Алтаѣ ихъ чтутъ имена,
 Они его тоже всѣмъ сердцемъ любили,
 И ихъ не забудетъ страна...
 Да, много могилъ полагавшихъ за брата
 Всю душу... легка имъ земля:
 Они тутъ ходили, любя ее свято,
 И горы, и лѣсъ, и поля...
 Есть много живыхъ, но далекихъ отсюда,
 Отъ края до края земли
 Они, по велѣнію Божію, всюду
 Изъ горъ своихъ милыхъ ушли...
 Епископовъ сколько Алтай далъ Россіи!
 Мефодій ³⁾, Макарій второй ⁴⁾,
 Владиміръ Сеньковский ⁵⁾, отецъ Иннокентій ⁶⁾
 И Сергій ⁷⁾ Алтаю родной,
 Милетій ⁸⁾, другой Иннокентій ⁹⁾ есть нынѣ,
 Но душу свою отдаетъ
 Одинъ, Кто Алтай не покинулъ донинѣ,
 Кого почитаетъ народъ,—
 Макарій-печальникъ, и въ санъ облеченный,
 Алтай свой родной не забылъ:
 Какъ прежде, такъ нынѣ онъ, сердцемъ смиренный,
 Его такъ же нѣжно любилъ,
 Паломникъ всегдашній туда: только лѣто
 Растопитъ снѣга, онъ спѣшитъ
 И взглядомъ, любовію полнымъ, съ привѣтомъ
 Изъ Бійска на горы глядитъ.

¹⁾ о. Стефанъ Ландышевъ.

²⁾ о. Василиій Вербицкій.

³⁾ Еп. Читинскій.

⁴⁾ Еп. Якутскій.

⁵⁾ Архіеп. Новочеркасскій.

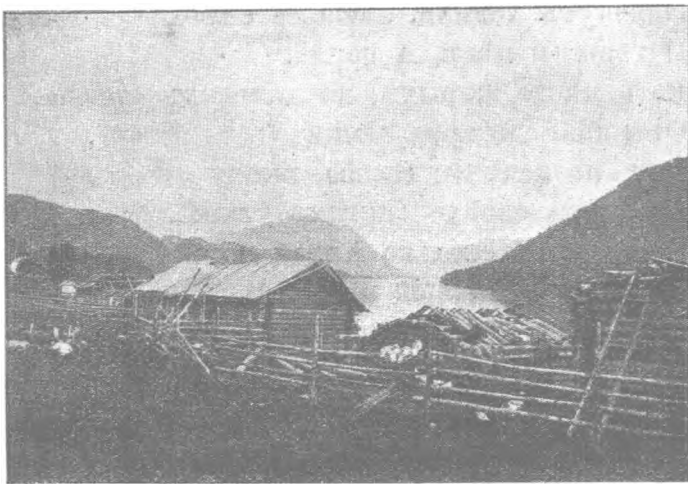
⁶⁾ Еп. Благовѣщенскій.

⁷⁾ Еп. Херсонскій.

⁸⁾ Еп. Барнаульскій.

⁹⁾ Еп. Бійскій.

Повиты туманомъ чуть видныя дали,
 Но ясны для сердца Того,
 Кого онѣ юношей кроткимъ видали
 И помнили свято Кого.
 Теперь голова Его вся посѣдѣла
 Подъ бременемъ лѣтъ и труда,
 Но такъ же Онъ скоръ на Господнее дѣло,
 Какъ былъ въ томъ далекомъ... тогда.
 И только изъ дымки неясной тумана



... вотъ онѣ—Артыбашъ и Телецкаго волны

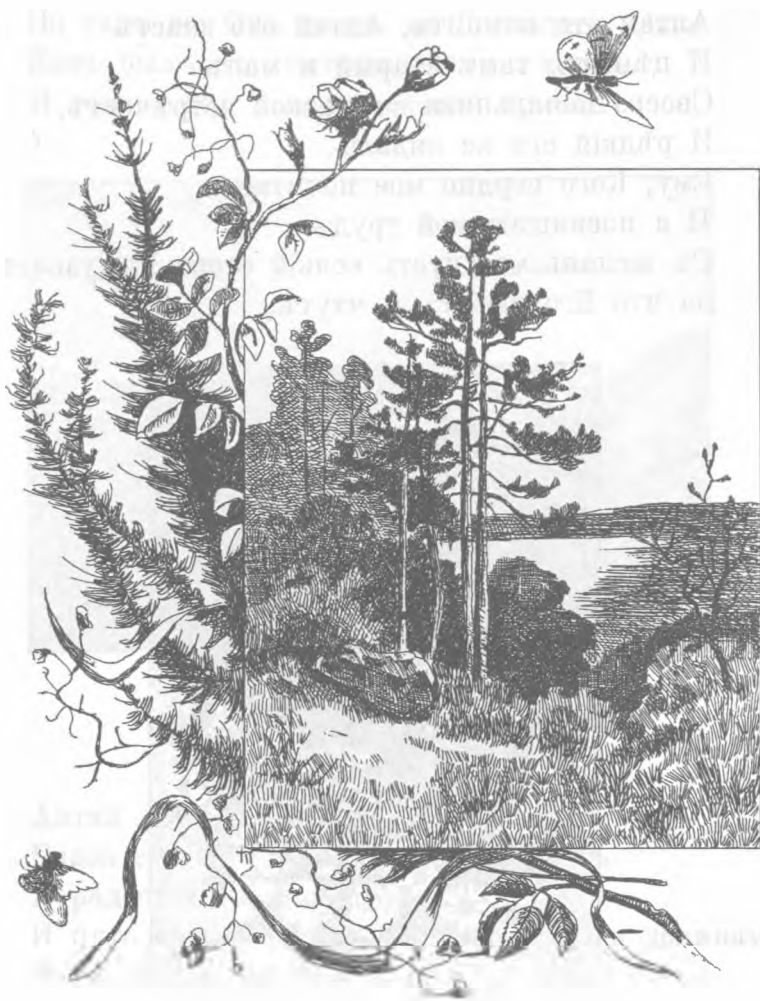
Алтай свой Его схватилъ взглядъ,
 Глаза его влажными кроткіе станутъ
 И радостью нѣжной горять,
 И путь свой вершить Онъ по тихимъ долинамъ,
 И ѣдетъ изъ края и въ край,
 Какъ въ юные годы; какъ прежде, такъ нынѣ
 Привѣтствуетъ старца Алтай.
 Вотъ онѣ, Артыбашъ и Телецкаго волны!
 И горныхъ массивы громадъ,
 Какъ прежде, такъ нынѣ, величія полны,
 Надъ озеромъ гордо царятъ.
 Привѣтливы, ясны алтайскія лица,
 Встрѣчаетъ съ любовью народъ,

Алтайцы изъ далей спѣшатъ вереницей,
 Узнавъ, что Макарій плыветъ.
 Всю жизнь Онъ отдалъ имъ, какъ жертву для края,
 Принесъ имъ всѣ силы свои,
 Для блага своего родного Алтая
 Во имя Господней любви.
 Алтай это помнитъ, Алтай это знаетъ
 И цѣнитъ, тамъ старый и малъ
 Своего печальника съ лаской встрѣчаетъ,
 И рѣдкій его не видалъ.
 Ему, Кого сердце мое почитаетъ,
 И я посвящаю мой трудъ.
 Съ желаньемъ: пусть всякій сторонній узнаетъ,
 За что Его любятъ и чтутъ.



Александра Ивановна Макарова-Мирская,
 урожденная Ландышева.





АЛТАЙСКІЯ СЛОВА,

ВСТРѢЧАЮЩІЯСЯ ВЪ КНИГѢ „АПОСТОЛЫ АЛТАЯ“,
ИХЪ ПЕРЕВОДЪ И ЗНАЧЕНІЕ.

Аба—отецъ.
абам—отецъ мой.
абшіяк—старикъ.
абыз—священникъ,
Аг-эне—Бѣлая мать.
аил—алтайская деревня.
Ак-немэ—чистые духи.
алас-ару—иволга.
Алтын-нор—Телецкое озеро.
амру—молочница.
аржан-элен—верескъ.
Бадан—травя, употребляемая алтайцами
вмѣсто чая.
байга—свадебный пиръ.
балам—сынъ мой, дитя мое.
басмак—камень для растиранія соли, ячме-
ня и т. п.
бом—береговая скала.
діміча—помощникъ зайсана-князя волости.
Кагыр—слуга Ерліка.
каін—береза.
Калак—Ахъ... О, горе!
кара-немэ—нечистые духи.
карлагаш—ласточка.
кой-чечек—бѣлая вѣтренница.
кол-курэзгі—алт. пиво.
кочкор—камен. баранъ.
крут—сыръ.
Кудай—Богъ.
кузук-агаш—кедръ.
курмач—поджар. ячень.
Курюк-ай—мартъ.

курюмесь—дѣволъ.
куръміжек—идолъ, божокъ.
куу—лебедь.
марал—алт. роза.
пертык-сынык—переломъ кости.
позучак—теленокъ.
прют-аркыш—папоротникъ.
пыштак—сыръ.
сарынчі—пѣвецъ.
сомо—семь разноцвѣтныхъ тряпочекъ, ви-
сящихъ передъ идолами.
Сыгын-ай—сентябрь.
тегенэк—шиповникъ.
терек—тополь.
тімырыт—черемуха.
толкан—толчен. поджаренный ячень.
толоно—боярка.
торбок—бычекъ.
торчік—соловей.
Ульгэнь—Доброе Начало.
уулчак—мальчикъ.
Чан-ай—октябрь.
чегедек—женск. головн. уборъ.
чегэнь—кислое молоко.
эзень-болзын—прощай.
элік—козочка.
эрлік—злое начало.
якші—хорошій.
яламбашки—іраковинки, вплетенныя въ
косу.
яман паалу—венерич. болѣзнь.



ПЕРЕЧЕНЬ

ПОРТРЕТОВЪ, РИСУНКОВЪ, ВИДОВЪ И ВИНЬЕТОКЪ СЪ ФОТОГРАФІЙ И. Р. ТОМАШКЕВИЧА, С. И. БОРИСОВА, СВЯЩ. К. СОКОЛОВА, И. А. ЛАНДЫШЕВА, СТ. И. ГУРКИНА, И СЪ КАРТИНЪ ИЗВѢСТНАГО ХУДОЖНИКА-АЛТАЙЦА Г. И. ГУРКИНА.

<p>1. Виньетка IX</p> <p>2. Сосны у р. Катуня X</p> <p>3. Колосья (виньетка) 1</p> <p>4. Капчальскій ледникъ 2</p> <p>5. Камъ-алтаецъ жрецъ 6</p> <p>6. Еп. Бійскій Макарій 7</p> <p>7. Село Улала—главный станъ Алтайской миссіи 10</p> <p>8. Прот. Ст. Ландышевъ 11</p> <p>9. А. И. Ландышева 13</p> <p>10. Схимонахъ Евдокія 16</p> <p>11. Устье рѣки Чемала, выпада- ющаго въ р. Катунь 17</p> <p>12. Р. Иедыгемъ 19</p> <p>13. Ущелье близъ с. Паспаула 24</p> <p>14. Бомъ Итык-кал. 27</p> <p>15. Алт. бревенчатаяюртавиньет. 35</p> <p>16. Долина р. Курагана 35</p> <p>17. Типы алтайск. инородцевъ 44</p> <p>18. Архіепископъ Макарій (нынѣ митрополитъ). 45</p> <p>19. Часовня въ с. Улала 53</p> <p>20. Иеромонахъ Макарій (нынѣ митрополитъ) 54</p> <p>21. Катунь близъ Чемала 55</p> <p>22. Мисс. станъ Чемаль 58</p> <p>23. Иеромонахъ Макарій и</p>	<p>алтаецъ Василій 60</p> <p>24. Видъ мис. стана Чемаль 63</p> <p>25. Еп. Макарій (нынѣ митроп.) 64</p> <p>26. Телец. озеро близъ Артыбаша 67</p> <p>27. Телецкое озеро близъ Чолуш- манскаго монастыря 68</p> <p>28. Телецкое озеро близъ М. Чобдора 69</p> <p>29. Св. ворота Чолушманскаго монастыря 70</p> <p>30. Церковь въ Чолушманскомъ монастырѣ 80</p> <p>31. Водосвятіе на Белѣ 1 авг., соверш. Преоев. Макаріемъ 81</p> <p>32. Архіепископъ Макарій въ ва- гонѣ церкви на ст. Томскъ 83</p> <p>33. Озеро Кара-Кол. 88</p> <p>34. Ирисы (виньетка) 89</p> <p>35. Кедръ у р. Катуня 90</p> <p>36. Маки-ромашка (виньетка). 91</p> <p>37. Митроп. Филаретъ 92</p> <p>38. Автогр. письма архим. Ма- карія (Глухарева). 93</p> <p>39. Архимандритъ Макарій (Глу- харевъ). 94</p> <p>40. Мостъ черезъ р. Майму близъ с. Улала 98</p>
--	--

41. Прот. М. Чевалковъ	106	72. Р. Катунь около „Бичик-ту-кая“	222
42. Мараль пѣтеть	111	73. Оз. Кара-Кол.	223
43. Ущелье Пельтыр-туюк.	113	74. Еп. Томскій Макарій (нынѣ	
44. Прот. С. Ландышевъ съ дѣтьми	117	митроп.)	228
45. Р. Кураганъ	122	75. Липовая роща	230
46. Р. Майма, близъ Улалы	123	76. Прот. В. Вербицкій	231
47. Телецкое озеро.	130	77. Колокольчики, (виньетка).	236
48. Камъ	131	78. Свящ. В. Ландышевъ	242
49. Цѣпь Катунскихъ бѣлковъ	141	79. Верховья р. Бии	244
50. Долина р. Нижняго Курагана	146	80. О. К. Соколовъ	257
51. Цикламенъ (виньетка).	146	81. Чикетаманскій перевалъ.	259
52. Водопадъ Кимышла	147	82. Переправа черезъ Катунь	
53. Владимиръ, архіеп. Казанск.	148	близъ с. Онгудай	260
54. Владимиръ, еп. Бійскій	159	83. Чуйская долина близъ устья	261
55. Чолушманскій монастырь	160	84. Бомъ на чуйской долині	263
56. Станокъ на берегу Телец-		85. То же	264
каго озера.	165	86. Ст. Айгуланъ на Чуйскомъ	
57. Водяныя лиліи (виньетка).	165	трактѣ	265
58. Ледникъ Геблера.	170	87. Мисс. станъ Чибитъ	266
59. Мисс. станъ Кумуртукъ	175	88. Долина Чолушмана зимою	269
60. Долина р. Чолушмана	188	89. С. Онгудай (Урскульск. мисс .	
61. Лиліи (виньетка).	190	станъ)	271
62. Р. Коргонъ	192	90. Штокъ-розы, (виньетка).	272
63. Иннокентій, еп. Бійскій	193	91. Игуменія Афанасія	275
64. Дорога изъ Онгудая въ улусть		92. Чемальскій миссіон. станъ	280
Іедыгемъ.	196	93. Архіепископъ Макарій на	
65. Вершины р. Яломана	198	„Крестовой“ горѣ	282
66. Р. Катунь, близъ с. Эликмо-		94. Аллея въ с. Чемальскомъ.	293
наръ	201	95. Привалъ на берегу Телец-	
67. Р. Аргутъ	204	каго озера.	294
68. Осыпи по Аргутской тропѣ	206	96. Видъ Телецкаго озера вблизи	
69. Сергій, еп. Херсонскій	210	Артыбаша	296
70. Киргизское семейство у юрты	214	97. А. И. Макарова-Мирская,	
71. Ели, (виньетка)	221	(урожденная Ландышева).	297





ВЫШЛИ В СВЕТ

1. Творения святителя Тихона Задонского. (В 5 томах.)
2. Творения святителя Игнатия Брянчанинова. (В 7 томах.)
3. Творения святителя Феофана Затворника:

Собрание писем в 8 выпусках; Начертание христианского правоучения; Толкование посланий апостола Павла; Мысли на каждый день года; Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться; Письма о духовной жизни.

4. Жизнь и труды святого апостола Павла с последовательным комментарием апостольских посланий святителем Феофаном Затворником.
5. Аскетическая проповедь святителя Игнатия Брянчанинова.
6. Отечник, составленный святителем Игнатием.
7. Поучения Аввы Дорофея.
8. Лестница, возводящая на небо.
9. Слова подвижнические Аввы Исаака Сирина.
10. Руководство к духовной жизни преподобных Варсануфия Великого и Иоанна.
11. Слова духовно-нравственные преподобных отцов Марка подвижника, Исаии отшельника и Симеона Нового Богослова.
12. Невидимая брань.
13. Советы и наставления духовного отца.
14. Творения Георгия, затворника Задонского.
15. Указание пути к спасению. Епископ Петр.
16. Книга о стяжании духовных добродетелей, вводящих в жизнь вечную.
17. Свет Христов просвещает всех.
18. Страсти Христовы. (Книга для семейного чтения.)
19. Нравственное богословие для мирян (В 2 томах.)
20. Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 560 стр.
21. Опыт построения исповеди. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
22. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.
23. Афонский патерик.
24. Учебный устав богослужения. Протоиерей К. Никольский.
25. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий просветители славян. Со службой и акафистом на церковно-славянском языке.
26. Последование Пасхи и Светлой седмицы. Пасхальные песнопения.

Богослужебная литература на церковно-славянском языке

27. Минен большого формата. (Комплект 12 томов.)
28. Минен среднего формата.
(Репринтное издание, дополненное службами новопрославленным святым). (Комплект 12 томов.)
29. Служба Успения Божией Матери. Чин погребения.
30. Православный богослужебный сборник.
31. Требник.
32. Чин молебных пений. Требник дополнительный.





О НАШИХ ИЗДАНИЯХ

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН

со службой и акафистом
на церковно-славянском языке

“Аз, буки, веде...” — на протяжении нескольких веков с этих букв начиналось первое знакомство русского человека с книгой. И тысяча лет тому назад эта богодухновенная азбука, названная позднее в честь своего создателя *кириллицей*, стала основой письменности, донесшей до славянских народов Слово Христово: благодаря переводу богослужебных книг славяне получили возможность славить Господа на родном языке.

Книга “Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян” — скромное приношение памяти святых солунских братьев, давших нам поистине священное сокровище — мощный, образный и величавый язык, на котором совершается таинственное общение православного христианина с Богом. Она ярко и подробно повествует о святых просветителях славян, их равноапостольных трудах и подвигах...

Пусть и публикуемые в этом издании служба и акафист святым Кириллу и Мефодию будут в помощь всем верным, призывающим их в своих молитвах.

ЛЕТОПИСЬ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

В “Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря” воедино собраны повествование о зарождении Дивеевской обители — четвертого удела Божией Матери на земле, ее становлении и жизни; наиболее полное жизнеописание преподобного Серафима, воспоминания и рассказы людей, знавших его и с любовью передавших беседы, наставления и пророчества дивного старца, многие из которых уже сбылись, а другие совершаются на

наших глазах; свидетельства о чудотворениях угодника Божия как при жизни, так и после его смерти.

Читая эту книгу, мы словно переносимся в начало XIX века, в благодатную тишину пустыньки преподобного, видим людей, приходящих к нему за советом и утешением, слышим слова дивного старца, указывающие и нам удобнейший путь к очищению души, стяжанию благодати Духа Святого и ко спасению. Мы видим, как простые люди, всей душой желавшие спасения, жизнью своей благоугождали Господу и становились причастниками вечной радости. И мы понимаем, что Святая Русь — это не отвлеченное понятие, а реальная, но скрытая от мира жизнь, которая была и прежде, которая, быть может более сокровенно, есть и сейчас, в наши дни, и сердцем ощущаем, что только эта жизнь — для Бога и с Богом — и есть единственно истинная и настоящая.

Чтение “Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря” доставит вам истинную радость и поможет прикоснуться к той небесной радости, которой была преисполнена душа преподобного Серафима, встречавшего приходящих к нему словами: “Радость моя, Христос Воскрес!”

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ **Беседы о страданиях** **Господа нашего Иисуса Христа** *(Книга для семейного чтения)*

Книга “Страсти Христовы” рассказывает о последних днях земной жизни Спасителя, о Его распятии и смерти, и о Его славном Воскресении. Читая эту книгу, мы сможем неотступно следовать за Господом в святые и великие дни, предшествующие Его крестному подвигу, великой крестной жертве, которой искуплены мы от вечной смерти.

Каждый год Святая Церковь с особым благоговением и трепетом почитает эти дни, именуя их Страстной седмицей, то есть седмицей воспоминания спасительных Страстей Христовых, и призывает нас сопутствовать, сострадать и сораспяться с Господом, чтобы и совоскреснуть с Ним. К святым и великим дням Страстной седмицы Церковь приготавливает нас в продолжении всего Великого поста. Среди великопостных богослужений есть службы, особо посвященные воспоминанию Страстей Христовых — Пассии. На Пассии читается Евангелие о крестных страданиях Спасителя, акафист Страстям Христовым. Эти умирительные службы написанием о Страстях Христовых помогают нам умягчить наше окаменевшее от греховных

страстей сердце, приблизиться в покаянии к подножию Креста и как можно глубже осознать, какой великой ценой совершено наше искупление. Ту же цель преследует и эта книга.

Написанная простым и доступным языком, с многочисленными иллюстрациями, книга **“Страсти Христовы”**, будет интересна и полезна всем православным христианам и особенно необходима для чтения в семье, с детьми.

НЕВИДИМАЯ БРАНЬ

Книга **“Невидимая брань”** раскрывает перед нами этапы внутренней, духовной жизни, путь к спасению, который, начинаясь со Святого Крещения здесь, на земле, заканчивается в Царствии Небесном. При Крещении каждый православный христианин отрекается от диавола и всех дел его. Но затем, по собственной немощи и по причине непрестанного нападения на нас врагов нашего спасения, вновь впадает в различные прегрешения. Эту брань против **“миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных”** должно вести каждому человеку с момента Крещения.

В книге **“Невидимая брань”** подробно говорится о многообразных кознях бесовских, различных их лукавствах и способах нападения на нас. Книга научит распознавать эти козни и определять, как и чем надо противоборствовать различным видам нападений. По словам самого преподобного Никодима Святогорца, **“этою книгою всякий человек, желающий спасения, научается как побеждать невидимых врагов своих, чтоб стяжать сокровища истинных и божественных добродетелей, и за то получить нетленный венец и залог вечный, который есть единение с Богом и в нынешнем веке и в будущем”**.

Книга **“Невидимая брань”** может стать помощником и руководителем в духовной жизни для всех православных христиан, независимо от меры их духовного роста.

СЛОВА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦЕВ НАШИХ МАРКА ПОДВИЖНИКА, ИСАИИ ОТШЕЛЬНИКА, СИМЕОНА НОВАГО БОГОСЛОВА

Сборник **“Духовно-нравственные слова”** включает творения великих древних отцов — преподобных Марка подвижника, Исаии отшельника и Симеона Нового Богослова. Эти творения были переведены на славянский

язык преподобным старцем Паисием Величковским и неоднократно (уже в русском переводе) издавались Оптиной пустынью, что само по себе свидетельствует о великом значении этих книг для духовного делания христианина, которое придавали им оптинские старцы.

Книга, мы надеемся, поможет благочестивому читателю узнать духовные законы, не изменяемые ни временем, ни внешними обстоятельствами жизни, следование которым очистит душу и уберезет ее от греха, причем узнать от самих святых, познавших и исполнивших эти законы своей жизнью.

Эта книга необходима всем православным христианам — и тем, кто только собирается приступить к духовному деланию, и тем, кто уже трудится над спасением своей души. Чтение творений преподобных отцов, столпов подвижничества, даст возможность не только прикоснуться к их святости, истинной духовной мудрости и рассудительности, но и направит душу на единственно верный, царский путь, ведущий в жизнь вечную.



АПОСТОЛЫ АЛТАЯ

Репринтное издание.

Качество печати обусловлено недостатками оригинала.

ЛР 030613 от 25.07.94

Московский Сретенский монастырь.

Адрес московского Сретенского монастыря: 103045, Б. Лубянка, 19.

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства "Правило веры".

© Издательство "Правило веры".

Об оптовой и розничной продаже книг обращаться по телефонам:

432-19-16, 169-47-76.

Формат 70x108 ¹/₁₆. Объем 20 печ. л. Заказ 1573.

Отпечатано в Московской типографии №2 Комитета РФ по печати.

129164, Москва, пр. Мира, 105.

ISBN 5-7533-0038-3